

Тоска и осень

*СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК*

**ПАМЯТИ ПОЭТА  
ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА**

**2015**

*Гасбля и Яссыч*

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ,  
ИЗДАВАЕМЫЙ  
СЕРГЕЕМ ЯКОВЛЕВЫМ

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  
ПО ИНИЦИАТИВЕ И ПРИ УЧАСТИИ  
НИКОЛАЯ ГЕРАСИМОВА**

**ПАМЯТИ ПОЭТА  
ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА**

МОСКВА  
«Знак»  
2015

Журнал «Письма из России»  
выпускается на благотворительные  
пожертвования.  
Авторы и постоянные сотрудники  
денежного вознаграждения не получают.

Консультант издания: Алла Калмыкова

Макет: Александр Архутик

Художественные автографы:

Владимир Леонович

Верстка: Марина Кузнецова

Корректор: Светлана Терещенкова

При перепечатке ссылка на журнал  
«Письма из России» обязательна.

© С.А. Яковлев, 2015

**Адрес редакции для писем и сообщений:**

**[sayakovlev@yandex.ru](mailto:sayakovlev@yandex.ru)**

(Сергей Ананьевич Яковлев)

**Отзывы и предложения, связанные  
с судьбой творческого наследия  
В.Н. Леоновича и увековечением его  
памяти, принимаются в электронном виде  
по адресу: [gernika56@gmail.com](mailto:gernika56@gmail.com)  
(Николай Николаевич Герасимов)**

Издательство «Знак»  
101000, Москва, а/я 648  
тел.: (495) 361-93-77  
e-mail: [znack1993@rambler.ru](mailto:znack1993@rambler.ru)

Отпечатано в ПЦ МЭИ,  
Москва, Красноказарменная ул., 13  
тираж 500 экз.  
заказ №

# Содержание

## ПРЯМОЕ СЛОВО

- 5 **Владимир Леонович**  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИАЛОГА  
(Памяти Игоря Дедкова)

## ПРИКОСНОВЕНИЕ

- 14 **Николай Герасимов**  
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОЩАЯ ШКУРА СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ...»
- 21 **Владимир Леонович**  
ПРИЗНАКИ ДУШИ РАСТУЩЕЙ  
Характеристики на выпускников Петрецовской средней школы

## ПРОСТЫЕ ПИСЬМА

- 31 **Владимир Леонович – Игорю Дедкову**  
«Я ДУМАЮ ПОСТУПКАМИ, И БУДУЩЕЕ РАЗЪЯСНИТ МОЮ МЫСЛЬ»  
(Публикация, предисловие и примечания Т.Ф. Дедковой)

## ПРИМЕТЫ

- 92 **Лидия Чуковская**  
«ЖИВОЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ, СМЕЛЫЙ»  
Из дневника

## ПОВЕСТЬ

- 93 **Алла Калмыкова**  
«ОСТАВЬ ГЕРОЮ СЕРДЦЕ»

## ПОЭЗИЯ

- 118 **Алла Калмыкова**  
ЛЮБОВЬЮ ОТРЕЧЕННОЙ

## ПРОШУ ПРИНЯТЬ

- 127 **Наталья Генина**  
ГРУЗИНСКИЕ ЗАПИСКИ

- 136 **Марина Кудимова**  
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

- 140 **Вера Арямнова**  
ЖИВОЙ ЛЕОНОВИЧ

- 148 **Григорий Зобин**  
ЧТО Я ПОМНЮ О НЁМ

- 151 **Николай Муренин**  
ДОЛГ И ДЕЛО

- 153 **Александр Зорин**  
ВО ИМЯ...

- 157 **Сергей Кузнечихин**  
ПИСЬМУШКО О ЛЕОНОВИЧЕ  
  
ПРЕМЬЕРА
- 162 **Владимир Леонович**  
ТЁПЛОЕ  
Поэма  
(Предисловие А. Калмыковой)  
  
ПЕРЕПИСКА РЕДАКТОРА
- 169 **Владимир Леонович – Сергей Яковлев**  
БУДЕМ ЖИВЫ!  
  
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
- 188 **Тамара Жирмунская**  
«ОСНОВА ПРОСТЫМ-ПРОСТАЯ»
- 195 **Виталий Шенталинский**  
СТРАДНИК
- 203 **Владимир Сморгчов**  
«КАК РАД, ЧТО УСПЕЛ – ЧТО НЕСМЕТНО ПОРВАЛ  
РУКАВИЦ...»  
  
ПОСАД
- 211 **Ольга Колова**  
УЧИТЕЛЬ И ДРУГ  
  
ПРОКАЗЫ
- 224 **Дмитрий Тишинков**  
ВЛАДИМИРУ ЛЕОНОВИЧУ
- 225 **Сергей Кузнечихин**  
УХА  
  
ПЕЧАЛЬНОЕ
- 226 **Алексей Зябликов**  
ЧЕЛОВЕК ПОЕДИНКА
- 229 **Павел Корнилов**  
ПОЗДНИЙ ЛЕОНОВИЧ
- 232 **Виктория Нерсесян**  
ИЗ КОЛОГРИВА С ЛЮБОВЬЮ

Владимир Леонович

## Продолжение диалога

(Памяти Игоря Дедкова)<sup>1</sup>

*Долг погоняет нас, долг!*

*«И долг русский долг», как писал Владимир Леонович.*

*И тридцать костромских лет прошло, и ещё сколько-то московских,  
может, жизнь прошла, – и всё погоняет.*

*Там погонял, тут погоняет...*

*Поистине долг. И неустрашим. И прекрасен.*

Мы дружили. В Москве в последние его годы виделись редко. Гораздо чаще – в начале семидесятых, когда они с Тamarой и детьми жили в Костроме, а я работал в сельской школе в дальнем Вохомском районе, потом в плотницких бригадах – восполняя недостаток филологического образования и вылезая из инвалидности послеармейской... Видясь и переписываясь или не видясь и не переписываясь, мы были с Игорем в состоянии диалога и неперемнной оглядки, так сказать. Для меня это было благотворно.

Приведенный курсив – зачин его последней, так и не увиденной им книги «Любить? Ненавидеть? Что ещё?...» Я стараюсь это состояние диалога длить, а потому, вообразив, что сию минуту под востряковским холмиком он шепчет: «... там погонял, тут погоняет», – и, уверившись, что так оно и есть, переписываю взволновавшие его стихи.

У двух могильных ям я мёрз два года кряду.

Неправда, что друзьям т а м ничего не надо.

Висит мусеничок из капельных пылинок.

Осенний паучок настроил паутинок.

И, в сапоги обут, плетёшься ты по грязи

среди алмазных пут вот этой смертной связи.

---

<sup>1</sup> Печатается в сокращении по тексту, опубликованному в журнале «Дружба народов», 1999, № 4. (Здесь и далее – примеч. ред.)

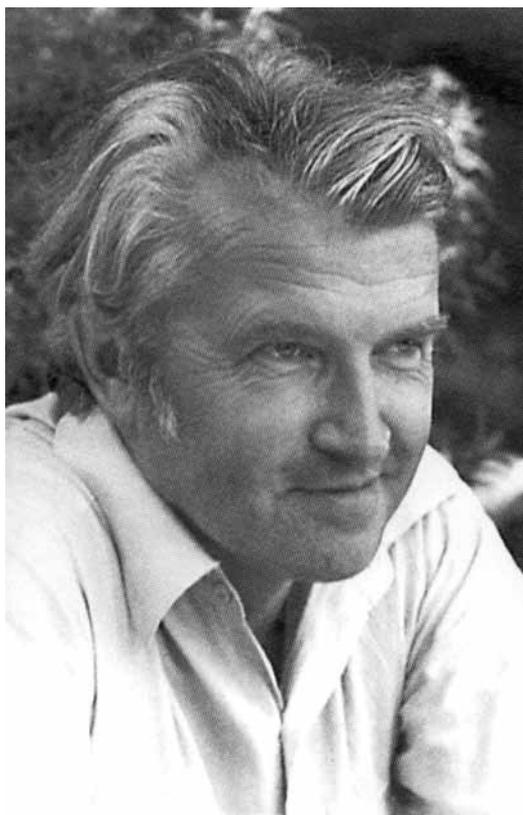
И каждый божий день – поднимешься зарёю –  
встречаешь не один: вас двое или трое...

И мил и близок свет, которого не видел...  
И вот тебе завет и жизни лишней выдел.

Вошла судьба в судьбу, и долг российский долог –  
и ноша на горбу, и дождик, и просёлок...

В нас сидело недоосуществлённое народничество, поэтому ироничный Дедков – факультетская ирония журналистов – всё же находил какие-то высокие слова, отзываясь о моём учительстве. Я же помалкивал о том, что это было бегство, и не первое, от любви, и подвига в этом двухлетнем затворе не было никакого. Подвигам поневоле не бывает. Если и было что – то в области лирики: бежать было труднее, чем оставаться и «победить».

При последнем побеге я оставил в беспорядке свои бумаги; среди того, что захватил, оказалось несколько писем Дедкова. Моих у него много, но Тамара ещё не весь архив мужа успела разобрать<sup>2</sup>.



И. А. Дедков

16.6.72

Володя,

*я виноват перед Вами. На то письмо Ваше просто так, обычно – отвечать было нельзя, да и отучили меня некие люди доверяться письмам. А потом я так и не написал о книжке, хотя всё надеюсь это сделать. Про Шапошниковых, скажем, много легче писать, чем про Вас. А не написав про книжку, не смог написать и письма. Нескладно и суетно. Книжка Серёжи у Вас, конечно, есть. Но на всякий случай высылаю. М. б. подарите кому – хотя бы подательнице сего – вестнице от Вас. Как Вы там задержались так долго и, говорят, думаете задержаться ещё? Доброго Вам здоровья и – не сильно ругайте меня.*

Игорь.

Письмо это – из Костромы в Николу Вохомского р-на. Душное лето пожаров. Да, я остался в школе, после того как мои девятиклассницы повисели у меня на шее, а уж совсем было собрался покинуть светёлку окном на

руину великолепного когда-то Николо-Вознесенского храма. «Некие люди», возможно, раньше Игоря читали мои письма к нему, как читали они мои письма и

<sup>2</sup> Теперь архив разобран. Письма В. Леоновича к И. Дедкову см. в настоящем издании, с. 31–91.

ещё в 55-м году арестовали их адресата: он был «антисоветчик» вполне – я ещё нет. Но слежка началась ещё тогда. В 57-м году на факультетской вечеринке мой следопыт, а их «источник» пьяно и покаянно рыдал у меня на груди: «Вовка, я за тобой слежу!..» О моей книжке «Во имя» Дедков вот-вот напишет, одна строка понадобится ему для названия собственной первой книги: «Во все концы дорога далека». Книга Сергея Дрофенко у меня была, мы с Леночкой Аксельрод, стараясь не реветь, составляли её вскоре после страшной Серёжиной смерти...

19.2.73

*Дорогой Володя,*

*очень благодарен Вам за стихи и за портрет Серёжи. Я рад, что Вам иногда приходит в голову написать мне. В стихах Ваших*

*я нахожу очень много близкого, хотя не всегда я понимаю их до слова сразу. Может быть, это и хорошо; я возвращаюсь к ним и делаю это без насилия над собой.*

*Вашей сосредоточенности я завидую. Ваша жизнь будто не в миру, хотя знаю, что и не без обмирщения. Во всяком случае, у Вас будто (будто! – как точно! – В.Л.) больше свободы. Я же очень дорожу Домом и Семьёй. Прямо-таки с Большой Буквы.*

*В ноябре-декабре долго был в Москве. Из новомиргев видел (и был у него) И. Виноградова. И разных других видел. Я ведь кое-что пописываю; для газеты – редко. М. б. как-нибудь отвечу тем же – рукописью.*

*То, что Вы вернулись в эту Ницолу, поразительно и прекрасно.*

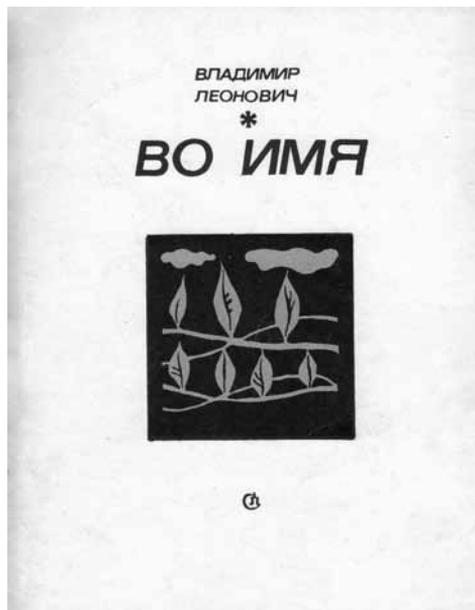
*«Напишут наши имена...»*

*Даже если не напишут...*

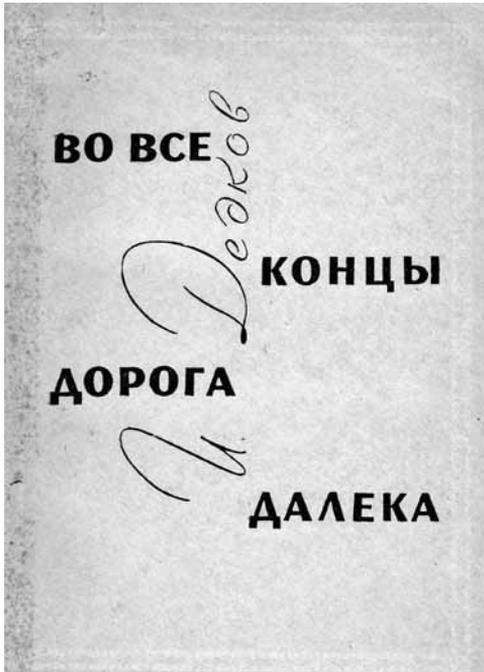
*Хочется верить, что человек живёт сейчас. И то, что он делает сейчас, важно в абсолютном смысле. Ни для кого, ни для чего – для неба и огромного мира.*

*Наверное, и у Вас утрами такое солнце, и так хорошо жить. И ни о чём не жалейте, Володя. Но что думает Ваша мама? У мамы болит сердце? За сына.*

*Всегда Ваш Игорь Д.*



Февраль, первые насты, свет. Ещё до света я бегу к Вохме, достаю пешню из-под снега, обновляю пролубу – польнья откроется потом – ныряю – где мыло? Ага... – снова ныряю... «До полудня – вспомнишь – и хватает / оторопи этой ледяной! / Еле-еле край мой рассветает – / низкорослый, северный, лесной». Портрет Серёжи помню, красивый. Его мама Раиса Антоновна и моя дружили, мама лечила Серёжу. С ним мы работали в газете «Металлургстрой» на Запсибе... «Много близкого»? – весь XIX век, у меня выборочно и многое поверху, у Игоря основательно. Но мои спецкурсы – Белинский, Герцен, Некрасов – наизусть. «Еду ли ночью по улице тёмной...» Да, близкое, больше того: родное. Со статьи про Акакия Акакиевича, мне подаренной, начинался, кажется, Игорь как критик. «Напишут наши имена!» – такой пафос редкая вещь у Игоря, тут, правда, улыбка. Но понадобился пафос... Моя свобода с маленькой буквы и его Семья с большой –



есть о чём подумать, но эта мысль уведёт далеко, оставим её...

«Важно в абсолютном смысле». Вот и свет тебе на бумагу. И не говори, что ничего от тебя не зависит, и не повторяй «я человек маленький». Не маленький. Зависит. И кончится единоборством, и другого не будет дано.

А строчка о маме... Его тревога о моей маме – вот Игорь. Вот что важно в абсолютном смысле. И потому мне так важно было тогда получать такие письма, сегодня их напечатать.

27.12.73

*Дорогой Володя, с Новым годом!*

*Продолжения всего хорошего, светлого желая тебе – продолжения Леоновича и Галактиона, с которым ты так славно выглядел и говорил со всех страниц, особенно «Лит. Грузии». Прости, что не отозвался тогда; жена болела, долго лежала в*

*больнице, я крутился с мальчиками и т.п.*

*Спасибо тебе за присланное, хотя мне и не удалось дать ему ход.*

*Но ты, должно быть, доволен таким своим участием в юбилее Галактиона? Правда, хорошо, и я порадовался за тебя, т.е. мы порадовались.*

*Теперь бы тебя издать так и более того.*

*Не удивляйся объему письма. Прошу, почитай этого человека, вроде бы парень неплохой, не дуб; пишет же, никуда, ни в какие двери не тычась. Скажи, что ты думаешь о нём – кратко, пожалуйста. (Он – здешний.)*

*Как твоя негрузинская – русская жизнь? Не попадёшь ли сюда с (нрзб)?*

*Всего тебе самого доброго. Привет тебе от моей жены.*

*Игорь Д.*

Я переводил Галактиона Табидзе, вдохновясь его подвигом:

Чей стыд ты искупил, старик, – и в небо?

Семь лет перевожу твой крик: – ТАВИСУПЛЕБА!

Стыд принадлежал толпе русских писателей, топтавших Бориса Пастернака в октябре 1958 года. В марте 59-го к больному Галактиону пришли мальчики ГБ с бумагой, где уже красовались чьи-то подписи, чтобы и Галактион Табидзе, первый поэт Грузии, потоптал русского гения... Гал выкинулся из окна. В молодые годы так звала его жена, Ольга Окуджава. Он и был молод в тот миг 17 марта 1959 года. Потом эти несчастные приходили плакаться к нашему грузинскому «дядьке» Георгию Маргвелашвили... Уже не 7, а 27 лет я вдалбливаю в родной рабский менталитет то, чего никак он не вместит. То, что сделал Галактион, было просто и прекрасно и так же окончательно и ярко, как его стихи: колокола разбивают колокольни! Просто... «Но сложное понятней им», – очень грустное наблюденье

Пастернака. Была бы понятна и простительна слабость старого, изработавшегося, увядшего человека: подпишу, только отстаньте. И ещё бездна извинительных сложностей. Но тот алмаз главного, откуда и игра вся, тот грузинский жест, который есть истина момента и может оказаться истиной навек, – это неслыханно просто! Как ересь, если продолжать Пастернака. Портрет Бориса Леонидовича висел у Игоря в костромской квартире – висит и сейчас в опустелой московской. Игорь понимал, отчего переводить грузинского гения мне было «легко и приятно», что и услышали по телевизору друзья в Костроме. Я переводил: «Где по мраморному алтарю / жилка мёрзлая – Чёрная речка – / Там тебе только нож да овечка. / Слышишь, чернь? Я тебе говорю. / Я тебе говорю, вороньё! / Весть о жертве, о жесте высокоом / Ты встречаешь желудочным соком. / Ты всегда получаешь своё». Переводы были вольные, так я и писал на форзаце одной из книжек, вышедших в Тбилиси, – в попытке вернуть достоинство этому жанру фантазий или подражаний и проч., что третировалось как отсебятина теми, кто основной добродетелью считал безличность и послушание – директиве ли, подстрочнику ли...

Да, в этом юбилее я участвовал, и это было оправданно, но прочих официальных восторгов чуждался, а их было немало... «Лит. Грузия» была для некоторых из нас дыхательной соломинкой, этому попускала власть – для отчёта перед Западом. А пачка стихов принадлежала Юрию Бекишеву, в котором Дедков не ошибся. Он и Александр Бугров в Костроме, Сергей Потехин в Галиче, Татьяна Иноземцева и Ольга Колова в Парфеньева, Елена Балашова в Чухломе, Леонид Фролов в Вохме... Игорь знал и этих людей, и многих других. «Отправляясь на областное совещание молодых, – пишет Иноземцева, – я молила Бога, чтобы руководителем семинара был Дедков. Мы, начинающие, отличали его среди других. Если прочие учили профессионализму, то Дедков делал дело куда более серьёзное и глубокое: он учил нравственности в литературе... И не только мы, молодые, слушали его, разинув рот»...

17.6.74

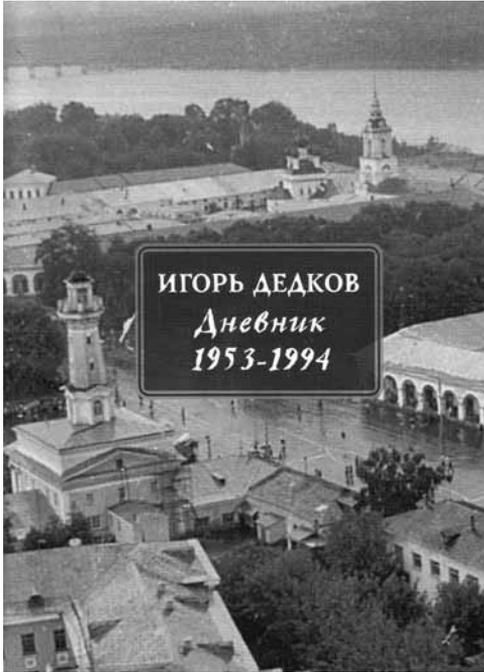
*Дорогой Володя,*

*спасибо большое за книжки, за стихи.*

*Не писал тебе долго, так как сразу после твоего отъезда заболел, и долго было неясно, когда мы отправимся в Щельково. Теперь мы уже здесь. Если у тебя будет возможность, заезжай сюда. (Следует описание пути от Москвы до того дома, где остановились Дедковы. Это дом Виктора Бочкова, зам. директора по научной части. – В.Л.)  
Приезжай...*

*Игорь Д.*

Нет, не было такой возможности. «Свободная профессия» кабалит крепко. Не помню, какие книги я ему посылал, какие стихи. Но, листая солидную библиографию, составленную работниками Костромской библиотеки, где тридцать лет он осваивал славное прошлое края, читал классиков и периодику, я наткнулся на статью о моих грузинских переводах. Тогда понимал и теперь соображаю: культурному читателю надо было знать и в Костроме и в Чухломе, что это за штука – поэтический перевод, кто такие Отар Чиладзе и Отар Челидзе, Анна Каландадзе и Гиви Гегечкори, и о чём такая затейливая книжица «Литературная богема старого Тбилиси». Это теперь ничего никому знать не надо: рухнули национальные редакции в издательствах, порваны тонкие и незаменимые связи талантливых людей России и теперешнего «зарубежья»...



Щельково. Там, окончив пединститут, стала работать моя выпускница Нина Большакова. В классе она была одной из «студенток» – сидела на первой парте, конспектировала мои импровизации и приводила меня в смятение, потом их пересказывая. В первом этаже избы-семи-стенка был интернат – жили дети из обречённых на вымирание деревень, где ни школ, ни магазинов, ни клубов – ничего, а в светёлке жил я. Большеглазая маленькая Нина поднималась ко мне каждый вечер, после первых фраз тихонько начинала фыркать в ладошку, потом уже смеялась во весь рот какой-нибудь моей шутке, сама надо мной подтрунивала на тему повари-хи Веры, что жила в другой светёлке и подкармливала меня. Так и вижу мою ученицу на тропинке через голубое льняное поле, оно ей чуть не по плечи, и представляю в окрестностях Щелькова, описанных Игорем: медленная речка в ивняке,

ромашковый луг, за ним церковь Николы в Бережках, июньское небо...

Тамара Дедкова принесла мне ещё не опубликованные листочки «Дневника»<sup>3</sup>. Ага, это для диалога!

*«Я – московский муравей», – это, кажется, из песенки Окуджавы. Приятная песенка. Если бы стали петь «Я – муравей...» или, вообразим, «Я – провинциальный муравей...», то, разумеется, почудилась бы какая-нибудь неприличность и пришло бы в голову, что тут умаляют человеческое достоинство. А вот «московский муравей» – звучит почти гордо.*

Окуджаву Игорь любил, ирония – не ему и напоминает мне иронию Чернышевского: как чихнул да как крякнул великий человек Лев Толстой. Ирония брошена как пригоршня меди – в толпу. И только.

«Осенний муравей олонецких кровей / куда-то волочёт бревно по кой-то чёрт, / тропу свою кропя, цедя последний спирт / пока мурашки спит, / поскольку холода и хмурый день как ночь... / Зачем бревно волочь неведомо куда / от общезитья прочь? / Иль выйти просто так, с собой наедине, / не может он, чудак, без ноши на спине?» Это стихи – Игорю. Долг... Погоняет... И ещё были ему стихи – колёсный буксир тащит сплотку вверх по Волге: «Натягивается, провисает / как в прорву уходит канат. / Костёр на откосе мерцает, / светила над Волгой стоят. / Невидимо, бремя какое, / неведомое самому, / он тащит буксуя и воя, / при-ветствуя Кострому».

«Без даты», – пишет Тамара на следующем листочке. Опять место диалоговое... Да разве мне одному тут приглашение к диалогу, и только ли сочувственное? Всё мелькает и всё пролистывается.

*По журналу мод можно одеваться, но – оказывается – можно и жить. Всякий раз ты заново вписываешься в изменчивый интерьер времени, и эта гармония повышает твои*

<sup>3</sup> Знаменитый «Дневник» И.А. Дедкова, цитируемый Леоновичем в 1999 г. по рукописи, был издан позже. (Дедков Игорь. Дневник. 1953–1994. – М.: Прогресс-Плеяда, 2005. – 792 с., илл.)

*шансы на успех. По Костроме водят и возят туристов Люди как люди: есть свободное время, есть любопытство, есть деньги. Сегодня в продаже: иконы ...надцатого века, Россия, деревянные церкви, лапти, горшки и горшочки, святая Русь и белоснежные берёзы, златоглавый Ипатий.*

«Сегодня в продаже Россия» – не слабо сказано?

Это на внешний рынок. А что у нас внутри в аспекте нравственно-историческом?.. Некрасовская Саша сидит в секс-порно-клубе – что-то приключится с ней дальше?

...Поплатится натурой за непотребный мрак  
не тронутый культурой российский молодняк.  
И вот какая тонкость какой иглой блестит:  
сперва убили совесть – теперь изводят стыд.  
Вот замысел программный. За стыд, за совесть – на  
кусочек свободы срамной, несчастная страна!

...На недавнем собрании «шестидесятников», которое устроил Игорь Виноградов, Анатолий Стреляный говорил не без упрёка, что Дедков верил в «хороший социализм» и с этой верой, «расстроенный и ожесточённый, сошёл в могилу». Эти слова я записал, а теперь хочется спросить оратора, верит ли он в «хороший» рынок в России, да и в любую «хорошую» формацию – в монархию, например, с Никитой Михалковым на троне? «Циника я предпочитаю романтику», – ещё и так он сказал, но я не нахожу до сих пор положения, где это преимущество было бы бесспорным. Циник – хам по определению, позволяющий себе топтать чужие верования... Нет, увольте от такого предпочтения. Пушкин вразумлял младшего брата: думай о людях самое худшее, это избавит тебя от тяжёлых разочарований... Подозреваю, что это правило годилось для приготовительного класса: Лёвушка только-только вступал в жизнь «света», и надо было предупредить юношу о черни. Цинический совет исходил от романтика, оставившего нам заповедь доверия к людям. Усилием веры он мог опровергать даже свершившийся факт жизни, ревизуя, по-видимому, обстоятельства сего последнего.

«Оставь герою сердце» – какая русская заповедь! Как без неё прожить в стране воря и жулья сверху донизу? Романтизм тут – прямое милосердие, а уж мастером милосердия Пушкин был отменным!

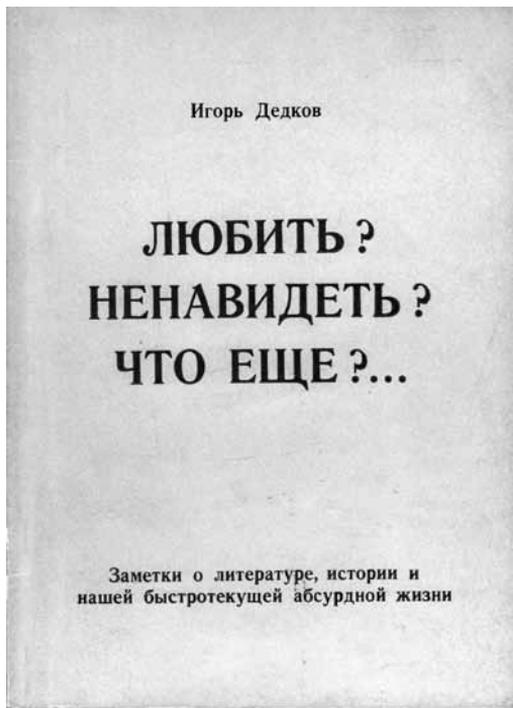
Среди Тамариных листочков – характерным Игоревым почерком с наклоном влево:

*В застольном слове о Пушкине, произнесённом 7 июня 1880 года... Островский, подчеркнув, что будет говорить не как учёный человек, а как человек убеждённый, сказал, в частности:*

*«Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет всё, что может поумнеть...»*

*Пушкин «завещал нам искренность, самобытность, он завещал каждому быть самим собой, он дал всякой оригинальности смелость, дал смелость русскому писателю быть русским».*

Кострома моего детства: с вокзала идёшь через кладбище, где сохранны ещё лежал мой дед, известный далеко по губернии фельдшер Алексей Васильевич Боголюбский, автор двух книг по своей специальности. Потом кладбищенские кости перемешал жилой квартал. Спускаешься к Чёрной речке, оставляя по правую руку расположение 3-го ЛАУ, где мама лечит курсантов, ругает щёголей –



там много было «сынков», форсивших в хrome или в ботиночках, а морозу только того и надо. В чём ходил курсант Солженицын? Заходил ли вообще в санчасть?

Идёшь по Советской мимо тюрьмы – оттуда слышна весёлая песня. Советская, которая становится и всё никак не станет, судя по табличкам, Русиной, была ещё в булыжниках, на булыжниках – слой навоза. «Лошадь – враг социализма». Ну, если так, то мы с Игорем тем более за социализм с лошастью и навозом: много земель поистощилось без него... По правую руку больница, где озорной мой дед пользовал молодух – разные тут недуги и разговоры тут разные. Бабушке нашёптывали: «Погуливает твой-то...» На что полная достоинства многодетная Александра Андреевна отвечала: «Нагуляется Иван, останется и нам». Дальше по правую руку – библиотека

имени Крупской. Под вывеской этой здание живёт до сих пор – несмотря на газетную кампанию, имевшую целью разобраться, кто есть кто, и дать библиотеке имя Дедкова: 30 лет работал он там...

Советская Русина выводит на площадь. Здесь много неба, и за знаменитыми костромскими рядами ничего не торчит возмутительного. Запись Т. Дедковой: «Игорь был среди тех, кто отстоял самый центр Костромы от нелепой застройки. Баландин (секретарь обкома), взяв в пример Ярославль, надумал поставить новое десятиэтажное здание обкома партии. И где? На месте бывшего собора на высоком берегу Волги... Старики костромские – архитекторы, реставраторы – взяли в поддержку свою Дедкова, его тогда уже известное имя. Писали в ЦК, повсюду...» Успенского собора, украшавшего весь берег, давно уж нет. На этом месте парк, а чуть подальше – огромный чугунный Ленин, которого догадливые люди водрузили на чужой постамент: здесь должен был трепетать крыльями двуглавый орел. Гранитное сооружение, весьма помпезное и вычурное, воздвигнуто было к 1913 году, к празднику 300-летия династии. Что же в итоге? Чему памятник?..

Спите, товарищи, спите,  
кто ваш покой отберёт?..

В ещё не опубликованных беседах Флоренского с художницей Н.Я. Симонович-Ефимовой прочёл такую фразу (не ставлю кавычек, не надеясь на память): конечно, не знать – большой грех, но не желать знать – уже преступление.

Прекрасные часы – библиотечные штудии Дедкова. Один только пример. Журналист Михаил Меньшиков, 80 лет назад<sup>4</sup> расстрелянный красными сотру-

<sup>4</sup> В 1918 г.

ник «Нового времени», «верный сторожевой пёс царской чёрной сотни» в оценке Ленина, в оценке Дедкова выглядит иначе. Игорь не поверил, что Меньшиков «выброшен на свалку истории», у Игоря возникло опасение произвола и клеветы. Этот «враг трудящихся» пишет: «У русского простонародья недостаток питания, одежды, топлива и элементарной культуры». В стране «постыдная, нигде в свете не встречаемая детская смертность». «Из трёх парней трудно выбрать одного, вполне годного для армии». «От худо кормленных и плохо работающих, недоедающих и перепивающих мужиков нельзя ждать здорового потомства». «Недоедание внизу, переедание наверху...» Ещё «враг трудящихся» так о них говорит: «Столь огромный, добрый, даровитый народ, каков наш, принося безмерные жертвы, чтобы содержать культуру... имеет право требовать от образованного круга, чтобы он был действительно образованным, чтобы благородство духа, вкус и здравый смысл поддерживались бы неизменно на той высоте, какая доказана как возможная». И следует едкий дедковский абзац:

*Но оставим эту тему как не отвечающую господствующим веяниям дня. В ней запечатлены старые, изживаемые представления об отношениях народа и культуры, народа и интеллигенции. Другой вопрос, удастся ли их изжить, заместив благородство духа благородством коммерции? Или тогда мы станем какой-то другой страной, которая сама себя не узнает?..*

Эти выдержки – из последней книги, это открытая боль Игоря Дедкова, великого гражданина посреди нашей смуты, как совершенно справедливо назвал его Сергей Яковлев.

Входите тесными вратами...

Эти врата называются единоборством. Бесспорные привилегии – знание, совесть, мужество – оставляют человека в конце концов наедине с эпохой и её господствующей векторной силой – равнодействующей множества малых, мелких и мельчайших составляющих сил и силёнок. Одно из любимых слов Дедкова – *главное*. С главной силой времени оказался он наедине и в отношениях немирных. Исход был ясен и предвиден моим прекрасным другом уже давно. Это прочитывается в нескольких местах. И уже в последней книге он повторяет пережитое ещё двадцать с лишним лет назад при чтении сёминского «Нагрудного знака ОСТ». Не любя риторики, Игорь заслоняется цитатой – но какой: «...Даже если бы осуществился самый жуткий бред, и только кто-то один, на самом краю света... ценой жизни победил бы грозные обстоятельства, то это и было бы человеческой мерой».

В 1938 году немцы вступили в притихшую Чехию. На пустынной дороге их встретил чешский офицер, приказавший солдатам уйти в лес. Быть может, он хорошо учился, сидел в библиотеках...

Понесена  
Добрая весть,  
Что спасена  
Чешская честь.

Это Цветаева.

Закончу вопросом Дедкова:

*Так что же возможно и что невозможно? Что по силам человеку в дурных, грозных, калечащих его обстоятельствах?..*

## Николай Герасимов

### О себе:

*Родился в деревне Ключи Костромской области в 1956 году. Учился в Петрецовской средней школе, где в 1971–1973 годах преподавал литературу Владимир Николаевич Леонович. По его настоянию после окончания поступил на геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Получив диплом, на три года уехал в Воркуту и задержался там на всю жизнь, обживая Севера. Прошёл путь от геолога до министра промышленности Республики Коми. Заслуженный геолог Российской Федерации.*

## «Да здравствует тощая шкура сельских учителей...»

В один из полных золота и синевы дней начала октября далёкого семьдесят первого года я возвращался домой из районного центра Вохма. Соседом по полупустому автобусу оказался спортивно подтянутый, аскетичного вида немолодой мужчина в сдвинутом набок тёмно-синем берете, плаще-болонье, с небольшим чемоданом. Всю дорогу молчаливо вглядывался в бегущие мимо холмы, деревни, перелески, убранные поля. Вышел на остановке у Сенькино. Запоздалый гость, отпускник? Но – явно не из местных.

В октябре человек с чемоданом  
появился в селе...<sup>1</sup>

Через несколько дней завуч вводит моего дорожного попутчика в наш девятый класс:

– Знакомьтесь. Владимир Николаевич Леонович. Ваш учитель русского языка и литературы, по совместительству – класный руководитель.

Учёба вяло набирала обороты: осень в жизни одной из лучших в России ученических производственных бригад бывает заполнена заготовкой картофеля, вязанием льна, уборкой зерновых с собственных угодий. За парты школа садилась к первым морозам.

Леонович поселился в мансарде-голубятне над интернатом, в котором на неделю оседали школьники всей лесной округи. Напротив – недобитая церковь («Никола с переломанным хребтом») с интернатовской столовой и мастерскими по труду, паперть, заваленная горами осиновых чушек, которые за зиму раскалывали на дрова, деревянная изба-чайная под тополем, за ними – плавная излучка Вохмыреки и бесконечные таёжные дали.

<sup>1</sup> Начало стихотворения В. Леоновича «Конюх Вася».

*«Семистенок. Сто углов-угощи. Выставив ступенчатый порог, интернет, как старый броненосец, по утрам дымит из четырёх».*

Притирались и вглядывались друг в друга не торопясь: мы – любопытствуя по мере сил (сколько заезжих учителей, с трудом выдерживавших одну-две зимы, прошло через школу за годы учёбы!) – москвич всё-таки, поэт, говорят; он – осмысляя и подбирая планку, которую можно предложить юному племени. Какие они были, первые уроки, когда обязателька переросла в жажду знать предмет, ловить каждое слово, – уже и не вспомню. Нас манила и звала улица, не отталкивала разве что физкультура, а школьные науки многими рассматривались как досадная нагрузка. Класс бойко лавировал, как по слаломной трассе, меж Хлестаковых и Чичиковых, Андреев Болконских и Наташ Ростовых, Раскольниковых и Свидригайловых, предпочитая волю за окном книжной учёности. И что тут было делать Леоновичу?

Вот один из эпизодов школьной жизни, описанный им в «Минуте молчания»:

*«Когда вышло распоряжение (негласное) двоек не ставить, разумеется, и колов, я придумал ставить нули. Два нуля это 00 – ограниченная ответственность безответственного учителя. Таковым я и был, не одолевший ни одной методики и т. п. – не об этом речь. Журнал с нулями пропал. Вызывает меня директор. В кабинете у него стою повинно. Тут не минута – тут долгое молчание всепонимающих людей. Наконец разрешается "Антоньч":*

*– Не знаю, что и сказать....*

*И легонько всплескивает руками, как лапами пингвин. Я делаю то же движение. Говорить не о чём».*

Но говорить было о чём. Рос интерес к литературе, всё больше появлялось в багаже заученных наизусть стихотворений. Наперегонки прочитывались книги, вскользь упомянутые учителем в том или ином разговоре. Всё плотней мы сбивались на перемене у стенной литературной газеты, с завидной периодичностью выпускаемой Леоновичем (помню «простыни» стихов Ярослава Смелякова, Николая Заболоцкого, Леонида Мартынова, Бориса Пастернака, Александра Твардовского, Александра Межирова...). Всё чаще общение выходит далеко за рамки школьного курса: вот целый урок звучат главы – да почти наизусть! – из «Мастера и Маргариты», вот обжигает присмиривших бедолаг горькая проза Андрея Платонова, или вдруг узнаёшь родное село глазами Владимира Тендрякова. Школьная программа не вмещается в сорокапятиминутки уроков, возникает факультатив, где гостят Владимир Маяковский, Лев Толстой, Валентин Распутин, Василь Быков, Дмитрий Кедрин, Марина Цветаева. Вкрапинки евангельских заповедей семенами прорастают на скудной почве наших полужнаний. А Николай Некрасов и Александр Блок – уже не знания, а праздник, которого, как окажется, хватит на жизнь. И – сквозь всё, через все два года – эфиром, воздухом, музыкой – Пушкин, Пушкин, Пушкин!

Для примера. Изучаем поэму «Кому на Руси жить хорошо». Задание: выбрать из текста изюминки народных речений. За выходные при чтении набирается целая тетрадь. Вспоминаю две найденных мною фразы: «Нам с лица не воду пить, и с корявой можно жить»; «И рад бы в рай, да дверь-то где». Пятёрку эту я запомнил навсегда. И поэму в придачу!

Ещё: под одним из сочинений красными чернилами – по-леоновически широко – строфа Винокурова: «Косноязычье мучило меня. Была необходима сила бычьья, Скосив белки и выю наклона, Ворочать маховик косноязычья».

Где те тетрадки?..

В.Н. как раз начинал уроки литературы, когда я сообщил ему о смерти Твардовского (услышал в шесть утра по радио). Он собрал портфель. Молча вышел из класса. Пару дней никто его не видел. Бродил по лесам, несмотря на морозы...

Два года учительства в одном из глухих мест российской провинции. Что это – побег из столицы (вглядишься из сегодняшнего дня – весь Леонович случился как ПОЭТ из таких побегов: Пудож, Кострома, Илешево, Кологрив!), попытка осмыслить 37-летний рубеж, притяжение – ещё смутное – родной земли? Оставим вопрос биографам. А николевские мгновения воплотятся в прекрасные стихи:

*«Да здравствует тощая шкура сельских учителей и русская литература за краем лесов и полей! Я принял почётное бремя и старшие классы повёл, разумное доброе семья кидая в родимый подзол. Конспекты, уроки, тетради, картошка, дрова и поход... И детская чуткость к неправде, и взрослый её обиход. Росли – для колхозов и строек, как будто спешили – росли. Не велено ставить им двоек – я ставил им просто нули. Но это не слишком сурово, к тому же потерял журнал. Герасимовы и Костровы, немало от вас я узнал. Писал Маяковский жестоко, Есенин, обратно, кругло – выходит из первоисточка. Как вышло – да так бы и шло... В оглобли я втянул Пегаса, мне дети являлись во сне. Четыре запущенных класса меня измотали к весне. В шале – долой с голубятни – с сиротского прочь чердака!.. Две девочки в розовом платье – ко мне – словно два мотылька – Колесникова с Гончаровой: – Учить-то нас будете, нет? – А есть у меня уж готовый, мной выстраданный ответ. – Да... Буду. – Понять не умею! И господи, обе и две девочки повисли на шее, стемнело в моей голове. Пудовые сердца удары. Висят – задушили... К тому ж тем летом стояли пожары, давила великая сушь. Вот было мгновенье какое... А был ли ты счастлив? Вполне – в селе Вознесенье-Николе – в моей костромской стороне.»*

Еще:

*«... По коридору, чуть покато, плывущему немного вбок, спешу к любимому 10-му: у нас сегодня праздник – Блок! Гвалт за дверьми секунду слушаю и твёрдо вшагиваю в класс, где пахнет доброю конюшнею и пыль ещё не улеглась.»*

Или такой штрих:

*«Нина Большакова для меня – оправдание двухлетней работы в школе, для которой надо родиться, чего я не сделал в своё время. Нину и ещё двух-трёх учеников я посвятил в Литературу, сообщил им чувство прекрасного и великое чувство свободы – за это я отвечаю.»*

*«Памятник Сельскому Учителю был бы нравственно безупречен», – так время спустя оценит он труд своих собратьев по профессии и подведёт итоги своего непредвиденного учительства.*

Исподволь всё пространство школьной жизни заполняется Леоновичем. Появляется секция гимнастики, в которую выстраивается очередь: шпагаты, стойки, кресты на кольцах, «фляки» в исполнении тренера безупречны. Класс перестаёт сквернословить, однажды гневно высеченный учителем за чужие грехи – оставленные неведомо кем матерные надписи на воскресной лыжне. У нас появляется своя песня – перелад «Бригантины». Для школьной агитбригады пишутся сценки, частушки, интермедии; в Доме культуры проводится вечер поэзии, собравший на сцену местных поэтов, среди которых оказывается начальник облоно Николай Афанасов, родом из малой деревеньки Степачата; новогодний бал разыгрывается по литературному сценарию: в компании Деда Мороза и Снегурочки – Гамлет, Дон Гуан, Офелия, Боян (сам Владимир Николаевич!).

В гости к нему навевались Леонид Тёмин, Ян Гольцман, Валерий Краско. Их приезды, как правило, сопровождаются поэтическими посиделками. (Собирался заглянуть на огонёк Дмитрий Голубков. Не сумел. Книга «Недуг бытия» пришла к нам в рукописи.)

Мы (это чаще всего я, Саша Поляков, Нина Большакова) осваиваем тропку в его светёлку, где продолжают уходящие за полночь уроки литературы. Там опять царят Пушкин, Шекспир, Достоевский. Звучат грузины – Галактион

Табидзе, Важа Пшавела. Там впервые я услышал «Моё магнитное поле» Отара Челидзе (книжка появится спустя три года). И получил бесценный подарок – первую книгу учителя «Во имя» с надписью: «Коле Герасимову – сердечно – перечитаешь через 7 лет. В. Леонович. 20 ноября 72».

И – походы, походы! В них, нам так казалось, проявилось полное совпадение взглядов на жизнь. На них тратятся выходные, каникулы, к этим замыслам присоединяются учителя, в них завязи той дружбы, которой хватит на взрослые тропы. Вот мы идём на устье Вохмы и попадаем среди осени в жестокую пургу, из которой чудом выбираемся. И первый глоток спирта в жарко натопленном интернате – награда от Леоновича за мужество. Через боры отправляемся в соседний район, в село Веденьё, где проводим баскетбольный матч, помнящийся всю жизнь. Два раза класс выезжал в Москву, селился в однокомнатной квартире учителя на Гиляровского, 54 и с крестьянским азартом обживал столицу. Театр, цирк, Третьяковка, Зоологический и Исторический музеи, ВДНХ, десятки километров, протопанных по московским бульварам и проулкам! (Бедная Ольга Алексеевна, мама Леоновича, хваталась за сердце от безумных замыслов В.Н., Лодика, как она его ласково называла, но жизнь ей не предоставляла иных вариантов, кроме как впрягаться в эту упряжку и тянуть воз вместе с сыном).

Отдельного очерка требует поход летом семьдесят второго (через Северные Увалы в Никольск, Великий Устюг, Котлас, Киров), растянувшийся на полмесяца, богатый на приключения и коллизии, распахнувший мир, выкристаллизовавший правила поведения на годы, научивший нас, «что такое хорошо и что такое плохо». Мы прошли по земле Александра Яшина и Николая Рубцова, и они навсегда остались нашими друзьями. Мы срубили плоты, сплавились по Югу и сохранили в памяти свет белых ночей, музыку плясок и песен из окрестных сёл. Не рассчитав скудные средства, оказались в Устюге без копейки денег и зарабатывали на дальнейшую дорогу разгрузкой барж (помог райком комсомола) и наведением порядка на погосте местной церкви (помог батюшка, встретившийся Леоновичу в городской бане), куда шли не без ропота в душе (всё-таки – комсомольцы!). Работу искали тяжело: на голодный желудок поход терял привлекательность, продукты исчезали на глазах, краюха хлеба казалась уже богатством. В спортзале какой-то школы, где жили, затеяли эгоистичный спор: а может ли руководитель вести себя так безответственно, на авось? Вошедший Леонович стал укором нашим развязавшимся языкам. Какие слова были им тогда сказаны – подзабылось, но чувство стыда осталось в каждом вечной занозинкой. Крестьянствовать, коней на скаку останавливать, в горящую избу входить мы уже умели, а вот уроки правды, нравственности давались куда тяжелее – и учитель вёл их безупречно.

От каждого похода оставались настенные дневники-репортажи, фотоотчёты, статейки в местной газете (вроде «Я иду, шагаю по Москве»), а фолиант похода на вологодчину, вырисованный руками Владимира Леоновича и Яна Гольцмана, до сего дня хранится в музее Петрецовской средней школы.

Но жизнь Владимира Николаевича в Николе не ограничивалась учительством: он, знавший страшную судьбу крестьянства, видящий окружающие разор, пьянство и беспамятство, вглядывался в лица, вслушивался в горькие истории сельчан, ловил и запоминал всякое живое слово, сострадал каждой беде («Мне страшно и помыслить о вине – мне только принимать её возмездье»). Вася Тихонов, колхозный конюх («известный кругом "анкагоник", персонаж наших вздохов, судебных листов и больниц»), солдатка Агриппина из Осанихи («Иду – боле не могу! А темно – нали что глухо. Ноцеваем во снегу в обхватоуку с козлухой. Снег-от

ОДОК ?  
М . . .



о.  
ства огля-

правом  
и дугу.

вином  
ества  
ст в а.  
ю плах -  
ггли.

о лучше,  
нная в  
ость  
пства  
ганье  
и!  
вним

гних

и от смеха/

А тем временем

ТРОЕ  
НИШИХ  
ТОВАРИЩЕЙ,

ИМЁН  
КОТОРЫХ

НАЗЫВАТЬ не будем,  
Появляются на левом берегу,  
И один-то из них, добрый молодец  
не води ключевой пересбленной  
не води -то речной перепресненной,  
не росн, не дожда -

зелья подлого непотребного  
нализался подобно сапожнику...  
Да как стало его, сердешного  
наизнаночку выворачивать,  
да как стал он, болезный каяться,  
стал он клятися и божитися,  
де вовек не возьмёт и капельки  
зелья ГАЛИЦКОГО окаянного...

- КАКОЙ ТЫ ШИРОКИЙ, -

говорили ему встречные прохожие,  
сторонясь.

Ну, а двое других знали м е р у.  
Знали меру

для себя,  
а товарища опомли. За это им  
вынесено личное

Порицание  
КОМАНДОРА

*Заган? От негали напидийи 9/аллурт*



ГДЕ ЭТО?



ТАК  
ВСТРЕ-  
ЧАЛО НАС  
МЕСТНОЕ  
НАСЕЛЕНИЕ:  
ДОБРО ПОЖАЛО  
ВАТЬ!



Вот это дисциплина!

Для многих, наверное, мода бы служить  
мером дисциплинированности пингвинов, с  
рне живут в зоологической са'у Лонд  
Каждое утро, как солдаты, они строятся в  
роулу перед своих команд'фол, а затем стр  
соблюдя равенства, идут на завтрак.

МИ, ОДНАКО, НЕ ПИНГВИНЫ -  
НАМ НЕ НАДО ДИСЦИПЛИНЫ!

мягкой...»), школьный кочегар Алёша Чулков (*«Олёша мало пьёт, но пьёт всегда, как этот частый дождик моросит»*), интернатовская повариха Вера Ивановна, растерявшая молодость по лесоповалам; мои – пережившая ссылку на Печору бабушка и отец, шесть лет мыкавшийся по чужим углам; школьный директор и замечательный физик Вениамин Антонович Шадрин (*«Рассчитав хитро воздушный вектор, поправляя шляпу пирожком, в школу направляется директор много-уважительным шажком»*), Райна мама Ольга Васильевна Гончарова, завклубом Алька Афанасова, прошедший Воркутлаг вохомский историк Авенир Петрович Борисов (на него в «Архипелаге» ссылается Солженицын)... – все они высветились через годы у Леоновича в стихах, очерках, записках, письмах.

Именно из этих времён выдохнулись такие шедевры поэта, как «Памяти отца Феодосия Чулкова, священника Николо-Вознесенской церкви», «Село Никола», «Конюх Вася», «Сводный хор», «Никола-колокол».

После Николы его безупречную литературную речь обогатит местный говор. *«НИЦЁ НЕ МАЛТАЮТ»* – скажите-ка точней!

*«И роднее всех святынь – невзначай в избе крестьянской – наша гордая латынь – кровь моя и смысл славянский. Ничего не запишу – позабуду без заботы. Хоть умру – а продышу, продышу – до той немоты».*

ЖИТИЕ – обозначил свою Никольскую эпоху Леонович. И этим сказано всё.

Школа закончилась.

Рая Гончарова через два года стала женой Владимира Николаевича. Спутницей, Музой, Плечом, спасительным Островом, матерью двух прекрасных детей (Оли и Мити), разделившей с ним горький и чёрствый хлеб русского поэта. Высокой этой любви хватит на четверть века, истоки её – опять же в Николе.

Кого оставят безучастными такие строки:

*«Через час, походочкой нескорой и держа портфель как бы дитя, девочка проходит, о которой я скажу немного погодя. Вот она уже неподалёку, вот идёт, прищурясь на зарю, мимо окон... Вот уже, ей богу, не дышу и даже не смотрю... Достоевский. Два часа науки. Знают всё, не зная ни аза, эти – полные судьбы и муки чёрно-золотистые глаза».*

Или – ещё ошеломительней! – из тех же дней: *«Глаза по плошке! Косы встрёпаны, весь деревенский макияж насмарку... И стою как вкопанный, пока стихает юный раж. Мне надо сблизить даль словесности и эту жизнь передо мной, где бездна полной неизвестности во взгляде девочки одной. Подглазья... Бледность от бессонницы к черемуховым холодам... Не страшно ли тебе опомниться к 17 твоим годам?»*

Мы разлетелись по свету, но не растерялись. Ещё учились. Потом варили сталь, учили детей, открывали месторождения, «делали ракеты», обустроивали малую родину, осваивали Севера, становились конструкторами, охотоведами, хранителями музеев, председателями колхозов, чиновниками и министрами. Леонович со своих бесчисленных троп не терял птенцов из виду: то кто-то из нас проездом нагрянет в его московскую квартиру, а то и в Карелию, где он живал летами, то он отзовётся письмом из Пелус-озера или Тбилиси, то приедет в гости ко мне в Воркуту. Но каждые пять лет в августе мы встречались в Николе. Владимир Николаевич в половине встреч поучаствовал. Вот одно из его приглашений:

*«Трудно поверить, но 20 лет прошло, как ты закончил школу. Был ты отрок – стал муж. Отроковицей ты была – стала матерью. Учителя уходят на пенсию или ещё дальше. Друзья давно определились: кто чего хотел, то и получил. С чем мы придем на вечер в августе? Чем вспомним, чем помянем лучшие дни?»*

*Передо мной вы все молоденькие, пушистые и в сияньях. Я перед вами – почти такой же, какой был. Почти. А через минуту – совсем такой же.*

*Во все концы дорога далека,  
но в зрелые черты сумеи взглядеться –  
и различишь прекрасного младенца.  
Сморгнёшь – и угадаешь старика.*

*И возраста у человека нет...*

*Остальное дочитаю при встрече. Главное – бросить дела и в августе собраться.  
Обнимаю вас всех – как – когда-то – букет черемухи. Ваш В. Н.»*

Каждая встреча начиналась с урока Поэзии и Жизни. Потом разговор по душам – со всеми по очереди, до утра и дальше...

Но ворошу сегодня в памяти эти мгновения и понимаю, что так и не наговорились.

И ещё одно понимаю: судьба подарила мне встречу и дружбу с человеком, нравственный вектор поступков которого определил мои будущие тропы, строй души, спасал в самых сложных ситуациях, задавал высоту, которую непосильно взять в одиночку.



Выпускной класс В.Н. Леоновича. Слева направо в первом ряду: Лена Крутикова, Валя Милькова, Маша Скрябина, Тоня Гончарова, Оля Колесникова, Лена Пономарева, Валя Попова, Рая Гончарова, Нина Большакова, Оля Кузнецова; во втором ряду: Саша Поляков, Миша Марченков, Коля Баданин, Алексей Герасимов, В.Н. Леонович, Миша Герасимов, Вова Герасимов, Сергей Останин; в третьем ряду: Коля Герасимов, Алеша Герасимов, Саша Костров, Витя Решетников, Вова Мильков, Саша Васьков, Лена Костров.

Владимир Леонович

## Признаки души растущей

*Характеристики на выпускников Петрецовской средней школы*

**Владимир Герасимов** – в школе человек заметный. Это один из способнейших учеников, наделённый быстрой сообразительностью и живым воображением; неистощимый рассказчик, знающий всё и про всех в округе, собиратель анекдотов, центр тех оживлённых кружочков, которые обычно сгущаются на переменах и где идет дело о самом насущном и трепетном. В классе, где многие ученики так или иначе ещё спят, не сознав своих сил и призвания, Вова Герасимов производит впечатление бодрого делового человека, который времени не теряет. «Время – деньги» – так и просится на язык... Мир его строен и целесообразен.

На все «сто тысяч почему» у Вовы покамест есть прямые и ясные ответы. В основе их – житейский практический материализм, подобный ещё арифметике и элементарным функциям (но в чём-то уже более сложный)...

Жизнь, однако, готовит ему парадоксы, замешенные на самом «беззаконном» идеализме. В каждой среде ведь и едва ли не в каждом человеке жив Дон Кихот... Явится он, быть может, и в безоблачном реалисте В.Г. Во всяком случае, встряска сегодняшнего мировоззрения у него неизбежна. Элементарная логичность бесперспективна – её опровергают гораздо более глубокие и загадочные пружины бытия. А последствия такой встряски всегда благотворны...

В классе его любят за ум и весёлость, за простоту (никакого высокомерия).

Студентом будет он прекрасным – непослушным, спорящим, разборчивым в знаниях.

Несмотря на явную практическую складку во всём – настоящее место его, мне думается, все же не на производстве, а на кафедре.

**Александра Полякова** я знаю два года, говорил с ним о вещах первой важности, видел его в различной обстановке в наших трудах и походах.

Это один из самых серьёзных и взрослых людей в классе. Последнее меня всегда несколько настораживало. «Взрослые» дети и юноши – особи, как правило, слабые, восковые оттиски или родителей, или других людей, которым стараются подражать в ущерб собственным задаткам. Усваивают себе более взрослые и положительные мысли, стыдятся собственных. Сначала «умников» таких хвалят, потом скучают от них. Впоследствии это сказывается общей неорганизованностью развития. Поистине

Блажен, кто смолоду был молод.

Приглядываясь к Саше Полякову, я отбросил эти опасения. Верно, тут не без оглядки на себя и уважаемый авторитет, не без постоянного самоконтроля... Но это явление – сильной, а не слабой природы. Не столько тут подражания, сколько сознательного самовоспитания, самосозидания рано почувствовавшей себя личности. История знает много примеров такого созидания. Жизнь порой приводит нас в отчаяние, когда гибнут, губят себя люди с прекрасными задатками.

Учился Саша хорошо, последние два года лучше предыдущих. Интересовался многим; поэзией и биологией, в частности. Очень внимателен к природе; видит пейзажи; слышит тишину. С детства любит лес. Ружьё недавно сменил на фотоаппарат. Очень чуток и внимателен к товарищам, но бывает и недоволен и раздражителен – до вспышек гнева – не без веской причины. Его возмущает то бездумное, детское и недоброе вместе, что повергает в уныние и закалённых оптимистов. Всё-таки надо жалеть деревья, слушать дельные слова и проч.

Развито в нём чувство долга; этого ему хватит на всю жизнь – и не на одного себя.

Школа исчерпала себя в нём задолго до этой весны. Ему надо специально заниматься любимым делом. Желаю ему... желаю тебе, Саша, всего прекрасного в стройном Ленинграде; уверен в тебе.

**Нина Большакова** для меня – оправдание двухлетней работы в школе, для которой надо родиться, чего я не сделал в своё время. Нину Большакову и ещё двух-трёх учеников я посвятил в Литературу, сообщил им чувство Прекрасного

И великое чувство свободы –

за это я отвечаю.

Книжница; читает и знает многое сверх программ; блеснуть на уроках не старалась, но её память и памятьливость была всегда уместной и остроумной. То, что я говорил в классе, через Нину возвращалось ко мне причудливо преображённым.

Держится несколько особняком, хотя характер имеет живой, склонный к озорству, розыгрышам и проч. Прекрасно чувствует комическое в различных положениях, извлекает его, казалось бы, «из ничего» – свойство ума при избытке чувств. С ней интересно говорить и болтать – собеседница благодарная.

Хорошая дочь хороших родителей – внимательная, любящая, послушная (из всех сил старается), без тени молодого нигилизма, столь родственного хамству. Семья многодетная и трезвая, дети умные – старшие с высшим образованием.

На полях и на других школьных работах трудилась добросовестно, по привычке, воспитанной с детства.

Учиться ей надо обязательно в гуманитарном вузе – за ней моральное право на это.

**Саша Васьков** – человек очень отзывчивый на всё хорошее. Точнее: чуткий к Прекрасному.

Это гарантия того, что он «спасён» и в жизни добьётся, чего хочет.

Я наблюдал его как бы на распутье: школа – улица, хорошее – дурное. Видел эти колебания по многим признакам. У него хватило души сделать хороший выбор. Помогли товарищи, с которыми учился, помогли те крохи искусства, которыми питается клубная самодеятельность, которые попадают и на уроках.

Учился Васьков посредственно, читать не привык. Только в последнее время попытался взяться за книги.

Суждены нам благие порывы.

Этого «последнего времени» не хватило, конечно, Васькову, чтобы догнать, например, Колю Герасимова, прочитавшего тут две библиотеки. Но то, что поздно для экзамена, для себя никогда не поздно.

...Характер имеет лёгкий и приятный. Слабовата воля, надо её подкрепить.

К себе, то есть к своему здоровью, относится некультурно – не усвоил того, что телесная оболочка – сосуд духа, а всё вместе драгоценно и неповторимо. Нет в мире и не будет второго Саши Васькова.

Саша, говорю без иронии.

К друзьям относится гораздо заботливее.

Был хорош и на работах в поле, и в школе, и в походах. Всегда поёт, поднимая настроение у других.

Песней тянется к Прекрасному.

**Алеша Герасимов** учился хорошо.

Он привык работать, аккуратно выполнять задания – точно так же как в семье привык слушаться разумных родителей. От них он усвоил положительный взгляд на вещи, житейскую крестьянскую серьёзность, которая выглядит у него очень мило.

Его мир ясен и благополучен; трогательна его совершенная доверенность школьному учебнику, например, и всем тем прописям, которые проверяются жизнью.

Сейчас А.Г. больше послушен, чем деятелен, склонен более соглашаться, чем сомневаться и т.д.

Это человек ровных способностей и более-менее равномерных склонностей. Каких-либо сильных увлечений он ещё не испытал.

Наделён очень симпатичным даром комического, хорошо чувствует его в житейских положениях и представляет, так сказать, собственной персоной.

Человек слова, очень добросовестный, надёжный. В походах был разумным, организующим началом, противником анархии, да просто был заботливым и чутким товарищем. Думал всегда о других.

На школьных работах, на полях трудился старательно, проявляя тут и сметку и инициативу.

Студентом, думаю, будет хорошим. Побольше творчества!

Характеристика не первая по счёту, которую я пишу **Герасимову Николаю**. Может быть, и не последняя, потому что я много думаю об этом и мальчике и юноше, а в чем-то и муже. Если отбросить искусственность и плакатность таких определений, как «гордость школы» и проч., то они подойдут Коле Герасимову. По всем статьям – комсомольской, учебной, спортивной – вне всех статей, а просто врасплох по-человечески – он хорош и светел. Такие люди, как он, возвращают нашу опытность к первоначальным понятиям о добре, заставляют удивляться его прекрасной простоте и всё-таки в этом видеть основу и надежду жизни.

Дарование есть поручение, –  
писал Боратынский.

Я не хочу туманить похвалами голову своего ученика – но я хочу, чтобы он осознал свои врождённые и счастливо развившиеся качества как дар, принадлежащий многим, не только себе. Я хочу и того, чтобы, думая высоко о себе самом, не снизил бы ты, Коля, своего мнения о других. А ещё я хочу, чтобы иногда высокие слова звучали между живыми людьми, и очень хорошо, если учитель может сказать их ученику. Ведь не только некрологам да юбилейным здравицам должны они принадлежать...

Тут ладная семья; два младших брата, трезвые работающие родители, мудрая бабушка. С детства – книги. Деревня, природа... Это ничего не объясняет... Какие-то счастливые совпадения, сильные, добрые впечатления? Вероятно... Склад «натуры», «устройство слуха», «зрения», когда всё прекрасное и подлинное внятно и памятно... Да, и это. Всех истоков не сочтёшь.

Мне приходится сдерживать рвение Коли Герасимова ко всему тому, к чему привлекают обычно учеников. Приходилось напоминать ему, что если не очень развит инстинкт самосохранения, то надо призывать сознание. Он решительно больше всех хотел сделать и в школе и в поле, поднять самую тяжёлую ношу в походе... Ладно, позади школа; сейчас наступила некоторая реакция, силы приутомились.

Но впредь необходим ему уже более строгий выбор в деятельности, экономия сил. Их оценка. Внимание, которое я назвал бы скольльзящим, надо научиться останавливать.

Всё интересно,

всё... безмерно ново –

и всё же придется жертвовать собой, какой-то новизной.

Надо подготовиться к неудачам, к разрушению, возможно, того комплекса привычек, рефлексов, ожиданий, который волей-неволей уже выработался в сознании человека, первенствующего во всём. Надеюсь на лучшее, верю, что испытания жизни, как бы они ни оказались тяжелы, укрепят тебя.

**Миша Марченков** внушает мне два чувства: тревоги и надежды. Очень способный, очень живой человек, подверженный, с одной стороны, и хорошим и дурным влияниям, «себе на уме» – с другой.

Интересно думает, верно и без оглядки на грамматику выражает мысли; язык вполне свой и родной, бельниковский (деревня, где родился и живёт Миша) – а не выморочный язык учебника.

Изучив, однако, мои требования (собственных мыслей, собственного отношения к тому и сему, своего языка), Миша иногда кормил меня такими фразами: «я думаю, что...» Вслед за этим не было ничего – кроме формы, т. е. видимости мысли и расчёта на чудака-учителя. Ничего-то он не думал, потому что не знал ничего. Я прощал в уме лень, и ему и другим лентяям внушая великодушные многократных прощений и поблажек. Усвоил ли ты это последнее, дорогой Миша?

Долго бросал курить. Боролся с собой – да так и не доборолся. Жаль: хорошие спортивные данные пропадают, на дистанции не хватает дыхания.

Хороший товарищ и друг. Хорош на работе – и чем тяжелее она, тем больше ему по сердцу. Вообще от жизни хочет он сильных впечатлений и смело идёт им навстречу (бывает, что и пошатываясь).

От души ему желаю всего доброго – и в будущем, и в той памяти, которая сейчас ему остаётся от школы.

**Коля Баданин** сегодня уезжает из села. Почти весь класс пойдет провожать его... С удовольствием выполняю тот пункт в указаниях Министерства просвещения, который не допускает «формального подхода учителей к составлению характеристики».

Уезжает любимец класса и баловень его, троечник убеждённый и признанный.

Да, к учебе относился он шутя (т. е. несерьёзно), а пожалел, пожалел всё-таки об этом – слишком поздно. И в комсомол вступил только что – и тоже слишком легко и по совету людей, уважающих форму.

При всём при том это человек внутренне глубоко серьёзный, очень чуткий к правде слов и поступков. Один из тех учеников, по которым, как по лакмусовой бумажке, учитель может проверить, насколько нужен и интересен его урок.

Беру на себя смелость утверждать, что «формальный» комсомолец Баданин способен проявить гражданскую зрелость в известных обстоятельствах – как проявлял он – и не однажды – человеческую полноценность в нашем школьном общении: в работе на полях и в школьном хозяйстве, в походах и проч. К товарищам он внимателен и чуток; лёгкой ноши не берёт, норовит взять тяжёлую. В этом проявляется отношение к товарищам и к труду вообще. Что касается индивидуального интереса к какой-либо одной работе, то он ещё не проявился в достаточной мере.

Баданин, повторяю, занимает... то есть занимал в классе особое положение, которое признавали и учителя: баловень, как бы взятый всеми на поруки, человек, одарённый заразительной весёлостью, душа класса в часы радости, улыбка его.

**Валя Милькова** – девица ладная; внешний облик её отвечает цельности характера, ещё не вполне сформировавшегося, но имеющего прекрасные задатки. Жест, манера говорить и писать, походка и множество других признаков, которыми «на глаз» мы придаём огромное значение, а в характеристики не вставляем, говорят о мягкой стремительности, об уверенной силе. У неё должна быть хорошая рука, она должна располагать к себе незнакомого человека, что так важно для медика. Ведь больной начинает лечиться «с первого взгляда» на врача – или, напротив, приходит в уныние...

Училась Валя хорошо, четверки ей ставили за способности, тройки за лень, за то, что занималась другими делами в стороне от школьной программы. (Имею зуб на Валю, злостную и тихую нарушительницу дисциплины на моих уроках.)

Два года я знаю Валю; испытываю чувство глубокой доверенности к этому человеку.

По части спортивной, трудовой, общественной всё у неё в порядке – на этом не останавливаюсь; желаю всего самого доброго в том благородном и трудном деле, которому она себя посвящает.

**Валя Попова** – девчонка нежная и застенчивая, очень привлекательная по характеру, доверчивая, отзывчивая. На уроках спокойно занималась своими делами, понимая науки, литературу в частности, по-своему, извлекая из неё тончайший, недоступный мне смысл и аромат.

Я ставил ей тройки – а то и четверки – больше за чувство Прекрасного, которое в ней живёт, чем за литературные познания. Что же, сочинения свои она отпишет, «образ Ниловны» померкнет в её памяти – но останется та отзывчивость ко всему музыкальному в жизни, которая дороже учёности. Эту отзывчивость я и поощрял.

Валя хорошо выбирает... не профессию, хочется мне сказать, а жизнь. Слово милосердие возникло когда-то как сама сущность людей, подобных Вале Поповой.

Всего тебе, Валя, самого светлого! Помнишь, у Смелякова:

Если я заболею, к врачам обращаться не стану –

Вспомню Валю Попову и приеду к тебе в Кострому...

Учился **Вова Мильков** удовлетворительно, а вернее посредственно: дома занимался мало, в классе часто отвлекался. Я долго не мог определить для себя этого человека, словно бы избегавшего проявить какую-то характерную черту, как-то высказаться, чтобы учитель смог сделать для себя известный вывод...

Постепенно Мильков сделался для меня очень необходимым учеником; стала видна его роль в классе, которой лишены бывают только ученики самые «малокровные», безличные. Нет, Мильков был личностью, и очень влиятельной в классе.

Он прекрасно оценивал любую обстановку и вовремя давал ей характеристику. К нему невольно обращалось внимание класса, когда требовалось слово, имя тому или иному положению, случаю и т. п. И эта оценка следовала и была точной и остроумной. Отнюдь не штатным шутом и балагуром оказался Мильков – но человеком нужным, как умное и дорогое сию минуту слово, как хорошая улыбка. Проявилась тут его мягкость и доброта, сказался дар комического. В любой, и в классной жизни тоже,  
не прожить без прибаутки,  
шутки самой немудрой.

На школьных вечерах, на школьных работах, в походах, на переменах и на уроках этот дар сказывался. Одна черта. Она не исчерпывает характеристики В. М. Можно добавить многое – у него тогда возникнут крылышки... Не стану этого делать. Познакомьтесь с ним сами.

**Ольга Колесникова** – натура богатая, характер яркий, полный движения и жизни. В основе его лежит доброта и сочувствие ко всему окружающему. Острое чувство справедливости руководит её поступками, хотя бывают здесь и ошибки. Молодая непримиримость бывает близорукой.

Училась Ольга хорошо, помогали природные способности и некоторая житейская серьёзность – при избытке жизни и майском «ветре в голове». На уроках вертелась и светилась, но при ответах, рассказывая о том, что начинала тут же переживать заново, вся преображалась, серьёзна и стихала. Есть в ней то, что называется «отчаянная девка», – это возьмет своё, пройдёт как гроза, и дай бог, чтобы оно не оказалось бедствием, не разрушило чего-то основного, невосстановимого... Доброе возобладает – но потери бывают слишком велики.

Любит возиться с детьми и животными; уже сейчас видна в ней мать и воспитательница; это перешло к ней от матери, поднявшей большую семью. Очень деятельна. При всей живости и лёгкости не теряет чувства ответственности за то дело, которое считает нужным. К различным формальностям испытывает здоровое пренебрежение – этому можно у неё поучиться тем взрослым, которые излишне уважают форму и букву.

На полях колхоза, в походах, на школьных работах Ольга – труженица, человек компанейский и весёлый, не без озорства и капризов. Любит петь, а мы – слушать её.

**Лёне Кострову** я прощал лень и тройки, из которых он не вылезал. Он принадлежал к тем ученикам, для которых наука – вся жизнь, а наука школьная – небольшая и сомнительная часть её. Такие ребята не утомляют себя уроками, перебираясь из класса в класс. Им вручают, наконец, посредственные аттестаты...

Но в сознании учителя – бог знает почему – остаются яркий след и добрая память от троечника с последней парты... Таков Лёня Костров.

Не ошибусь, если скажу, что он уже сейчас обладает большой внутренней культурой, имеет в себе обширный и твёрдый нравственный кодекс поступков. Всегда радостно узнавать в безотчётных и врождённых движениях души те заповеди, которые оставляет нам человеческая мудрость. Не позволяй говорить плохо о друзьях своих... Вряд ли знает Лёня, кто и когда заповедал это, – но о друге не даст сказать худого слова. А кто-то и проглотит клевету на близкого человека, хотя и читал 9-ю заповедь...

Не стану перечислять прекрасные качества этого характера – это вполне характер, – скажу только, что такие люди не ломаются и не скудеют – жизнь обогащает их.

Я видел Лёню и в работе и в походах. Везде он у места, ничто ему не скучно, не тяжело. Вот учиться будет ему поначалу нелегко.

Отнесись к этому, Леня, как к трудностям похода. В школе ты отдохнул – теперь за дело.

**Виталий Цымляков** – ученик старательный, дисциплинированный. Учится, однако, средне. В развитии своём несколько отстаёт от сверстников. Более склонен к практическому делу, нежели к отвлеченной науке.

По характеру своему тихий и мягкий. Но та нравственная основа, которая упрочивается от поколения к поколению, из века в век, основа трудовой, доброй жизни на земле, придает силу и надёжность таким характерам. Из нашего обихода уходит понятие *крестьянин*, становится принадлежностью прошлого века, тащит за собой соху и лапти. Это несправедливо. Труженик, первый ученик природы и первый сын земли – вот что такое крестьянин. Отношение к земле, понимающее и любовное, характеризует его в первую очередь. Витя Цымляков кажется мне таким вот крестьянским юношей – пусть он сколь угодно разъезжает на своём (смердящем и тархтящем – вычеркнуто) мотоцикле... (Чья-нибудь развязная наглость говорит мне о хамстве её обладателя и, стало быть, о скрытой трусости, ничтожности этого человека без корней, которому наплевать на всех и на себя первого. – Вычеркнуто.)

Тихая застенчивость и скромность Вити Цымлякова говорит мне совсем о других качествах... Доверчивость; отношение к несправедливости; чувство товарищества...

Уверен, что в любых трудных условиях эти качества заявят о себе.

**Оля Кузнецова** – человек очень интересный; по характеру тихая и застенчивая, даже замкнутая, она редко молвит слово, но уж если скажет, то совсем своё.

Она имеет собственный взгляд на многие вещи, но, повторяю, держит это про себя.

На уроках ничем особенным не выделялась, была ровной троечницей; при ответах смущалась – не без лукавства – и отмалчивалась. (Придумала себе прическу, из которой выглядывает как улитка из раковины. Одни рожки, т. е. одни глаза...)

Я ругал её за невнимание, пробуждал в ней совесть – и пробудил, а интереса к литературе пробудить, кажется, не сумел.

Наблюдал её на работе, в походах и т. п. Замечательная труженица, замечательный товарищ. Внимательная, заботливая, видит дело, не ждёт, пока её организуют и мобилизуют. В походах – кормила всех, убирала за неряхами.

В медицине она будет очень на месте по своим человеческим качествам. А наука приложится.

**Рая Гончарова** всегда была хорошей ученицей и только в последнее время разбавила тройками свой дневник – дневник в обложке, который в 10-м классе ученики забрасывают, а учителя перестают требовать.

В моем сознании Рая именно хорошая ученица, у которой в запасе всегда есть что сказать, что вспомнить. Она никогда не вызывалась отвечать, не показывала вида, что знает материал – признак природной скромности и сдержанности.

Ей не свойственно восторгаться чем-либо; то, что ей нравится, получает в лучшем случае её тихое одобрение. Она более склонна к критике. Это молодой

скептицизм, милая надменность – признак души растущей и утверждающей себя в несовершенном мире.

Затаённость, верность и прямизна движения, медленность его и некоторая даже косность – вот впечатления от этого роста. Возникает нечто надежное и такое, что скорее ломится, чем гнётся. Душа эта усваивает все впечатления бытия, но верна будет прежде всего себе, своей прямой и простой природе.

Рая воспитывалась в труде и всегда – на полях и на школьных работах – трудилась хорошо. Никакого, однако, энтузиазма в ней не было заметно.

Такие люди чужды всякой риторики и фразы, внешняя сторона дела для них не существует. Одна только суть.

Очень сердечная, очень закрытая.

**Александр Костров** – человек способный, ученик ленивый. Сидел в классе на последней парте, воспринимая как бы сквозь сон школьную науку, занятый более интересными собственными мыслями. Мне нравятся такие ученики: только на интересных уроках они пробуждаются, только дельные вещи воспринимают. Они, собственно, являются зеркалом педагогики.

Шурика Кострова, отъявленного троечника и лентяя, я воспринимаю, тем не менее, как личность. У него свой мир, свой темп жизни, свой ум. Своя оценка – и слово своё. Тихий флегматик, человек он далеко не скучный, по-своему обаятельный, очень живой под оболочкой мирной дремоты.

Неожиданным и радостным для меня было его решение стать педагогом. Я могу себе представить такого учителя. Он не скажет громкого слова – и лишнего слова не скажет. В его классе должна стоять тишина полная, потому что голоса он не повысит и на пожаре. Ведь облик его очень характерный, манеры естественные. Ученики любят таких учителей, от души дают им прозвища...

По всем статьям – комсомольской, спортивной, трудовой – у Кострова всё в порядке. Он очень хорош в походах, хорош на вечерах и т. п.

Учиться в институте сначала будет ему трудно. Но если он станет педагогом, продолжив традицию своей семьи, он будет на своём месте в жизни. А это случается далеко не всегда.

**Леночка Пономарёва** училась хорошо, на уроках была внимательна. Отвлекалась редко – и тогда, когда урок бывал не очень интересен ей.

По ответам видно было, что мыслит она ясно, быстро и просто излагает мысль. Если слова кончались, она не заполняла пустоту словами, хотя её хорошо подвешенный язык позволял это делать.

Характер имеет строгий, склонный к различным ограничениям. Что-то аскетическое сквозит в облике её; хочу надеяться, что эта особенность найдёт лучшее своё применение.

Хорошие и ровные способности, хорошие волевые качества сочетаются в ней с некоторой робостью, мягкой застенчивостью. Её реакции бывают иногда паническими (от сильной впечатлительности), но потом она успокаивается и хорошо делает то дело, за которое взялась.

Имеет прекрасные спортивные данные, за ней несколько рекордов, каких – она сама расскажет.

Очень гармонична – в движениях, в речи.

На полях, на школьных работах трудилась всегда добросовестно, помогала товарищам.

Леночка, всего тебе доброго...

**Лена Крутикова** в классе была несколько взрослее своих ровесниц. Была расудительна и серьёзна, но не без шутки и улыбки. Училась хорошо, была старательна. Возглавляла школьную Производственную бригаду, бывала на всевозможных слетах – в пору первенства нашей школы в Костромской области и Российской Федерации. Не приобрела, однако, вкуса и тяги к народной стороне жизни.

Ей присуща самостоятельность и некоторая обособленность. Она не спешит делать «как все» – советуется прежде всего со своим здравым смыслом.

Её уважали в классе и слушались – не только как бригадира УПБ.

Большая трудовая семья, из которой старшие «вышли в люди»; коллективное и своё хозяйство, требующее постоянной заботы, заведённые в нём аккуратность и порядок – всё это с детства впитано Леной.

Способная и трудолюбивая, работящая, она будет хорошей студенткой. Есть в ней и общественная жилка. Очень привлекает её скромность, тишина – признак ещё скрытых возможностей натуры.

Бывают трудные ученики, которые внушают учителю сознание бессилия и даже ненужности его работы. Бывают лёгкие. Они придают ему сил и уверенности, что не зря всё-таки он приходит в класс.

**Тоня Гончарова** помогала мне своей полной доверенностью к моим словам и на уроках и вне их. Она так хорошо умела слушать, что уже нельзя было сказать ничего лишнего, необязательного. И улыбалась она так, что на свете делалось светлее и теплее.

Все её любили; училась она хорошо и ровно, почти не ленилась.

Имя Тони осталось в школьной Книге Почёта.

Очень внимательна к людям. Беспокойна и заботлива. Очень совестлива; переживает чужую вину как свою.

Есть в характере у неё безропотность, выносливость, мне кажется, наследственная, крестьянская.

Не жаловалась, когда приходилось тяжело, когда болела, не хотела поблажек.

Не терпит несправедливости, растеряна перед ней. Это оттого, что слишком уж чужеродны ей неправда, корысть и прочее зло. Везде она будет хорошим и светлым человеком, неутомимым работником.

**Герасимов Алексей Васильевич** проявил себя как ученик средних способностей, тихого поведения и был последние годы, что называется, надёжным троечником. Редко я видел на его лице интерес к тому, что было интересно по крайней мере половине класса. Как бы сквозь сон воспринимал он школьную науку, редко отвечал при вызовах, а в тех случаях, когда отвечать было необходимо, говорил фразами из учебника.

Творческое начало в отношении к познанию ещё не проснулось в нём. Сказывались здесь, видимо, особенности и личного развития, и условия семьи, и недочёты в нашей педагогической работе.

При всём при том – это живой юноша, очень неглупый и сообразительный в житейских ситуациях, прекрасный спортсмен, хороший товарищ, который пользуется и уважением и любовью своих одноклассников.

Есть в нём некоторая надёжность, человеческая правильность, добросовестность в работе, которую поручали ему. Он и собирается работать, получив аттестат о среднем образовании. Я уверен, что работник он будет хороший и честь своей школы не уронит.

**Сергей Останин** успевал по всем предметам средне. Учеба, казалось, тяготила его. В классе держался несколько особняком. Аттестат зрелости получил по инерции предыдущих десяти лет: «надо выпустить ученика...» Когда-то учился хорошо, а тут даже экзамены не захотел сдавать. Уговорили, убедили...

В последнем случае сказалось, кроме житейской недалёковидности, и одно хорошее качество: нежелание прикрасить бумагой фактическое незнание школьной программы. Нежелание неправды.

Как классный руководитель и двухлетний учитель Серёжи я несу большую долю вины в том, что мы «выпихнули» его как троечника, не привив ему интереса к знаниям. А при всём при этом Останин – человек несомненно способный и толковый, способнее многих в классе. И трудолюбие и добросовестность в нём есть. Но как-то сошёл он с орбиты школьной жизни, не являлся на уроки или на работы – и к этому мы привыкли.

Я не пишу Серёже «благополучную» характеристику, а пишу правду, которая ему нужнее всего. Сейчас он работает. Это поможет ему оглядеться в жизни, так сказать, вспомнить то хорошее, что было в школе, переменить отношение к близким и проч.

Горячо надеюсь, что не ошибусь, не ошибаюсь в хороших качествах Серёжи, которые возьмут верх над дурными примерами и влияниями.

**Маша Скрябина** – девушка тихая и старательная. Она уже сейчас определена как труженица – это качество я считаю основным признаком, говоря о ней как о личности.

Учёба давалась ей нелегко – но она училась не хуже других, преодолевая трудом школьную программу. Отмечу её внимание в классе, всегдашнюю добросовестность и в выполнении заданий, и в разнообразных работах, которые приходится делать ученикам таких школ, как наша...

Эти качества принесут ей уважение и любовь тех людей, среди которых она будет трудиться.

**Михаил Герасимов** – ученик довольно способный, который учился бы хорошо, если бы не мешала лень. В классе его увлекает урок – он весь внимание. Дома – телевизор, и уроки побоку. Миша непосредственно отдавался впечатлениям жизни, ко многому проявлял внимательный интерес – и во многом ещё оставался пассивным слушателем, зрителем и т. п. Личное творческое начало ещё спит в нём.

Послушание и внимание ценятся в школе. Жизнь смотрит более трезво и сурово на эти качества. Она требует активности, особенности от человеческой личности – и с этим Миша Герасимов столкнётся очень скоро. При всех благополучных данных – выполнении школьного устава, дисциплинированности, четвёрках в аттестате – нужны и эти качества. Никуда тут не денешься. Эти слова я адресую в первую очередь самому М. Герасимову.

Что касается отношения к труду, к товарищам, к окружающим, то здесь Михаил Герасимов может быть примером для многих.

Владимир Леонович – Игорю Дедкову

## «Я думаю поступками, и будущее разъяснит мою мысль»

*Владимир Леонович был один из тех немногих молодых современных поэтов, которого впервые заметил и опубликовал на страницах «Нового мира» Александр Трифонович Твардовский. Имя Володи Леоновича было известно нам с Игорем ещё в шестидесятые годы. Тем более что знали: он работал в Новокузнецке с однокурсником Игоря, хорошим поэтом Сергеем Дрофенко (к сожалению, рано ушедшим из жизни).*

*Переписка Дедкова и Леоновича началась в семидесятые, когда Володя появился в Вохме. Там он начинал работать в школе, был учителем словесности. Он очень серьезно относился к своему учительству и общению с учениками. Прослеживал позднее их судьбу на протяжении многих лет.*

*И вот он появился в нашем доме. В чёрной кожаной куртке, подтянутый, спортивный, сдержанный, но внимательный ко всем. Главным было, конечно, чтение новых стихов. Леонович тогда много занимался переводами, увлекался грузинской поэзией, самой Грузией. Бывал там. За переводы платили гроши. Но он не оставлял мысли издать книгу. На вопрос Игоря, как же удаётся прожить, он только коротко бросил: «Вот так и живу...» Он никогда ни на что не жаловался.*

*Мы любили Володю, его самого, его удивительный талант, его поэзию.*

*Переписка охватывает десятилетия. Но у меня пока не хватает писем самого Игоря. Несмотря на кочевую жизнь, Володя Леонович, оказывается, сохранил некоторые письма Игоря Александровича. Об этом говорит вдова Владимира Николаевича. К сожалению, мне их увидеть ещё не довелось\*.*

*Владимир Николаевич Леонович умер и похоронен возле Кологрива, где последнее время жил в доме на берегу Унжи, который был куплен благодаря помощи почитателей его таланта. Он покоится на деревенском кладбище, рядом с художником Ефимом Честняковым.*

*Я знала, что Владимир Николаевич последнее время сильно болел и бедствовал, но он оставался верен памяти друга. Приезжал каждый раз на Дедковские чтения в Костроме и на вечера памяти в Москве, в ЦДЛ. Я навещала его в 1-й Градской больнице, в кардиологии.*

\* Копии того немногого, что удалось пока отыскать, вдова В. Леоновича Виктория Нерсисян прислала в редакцию. Они публикуются ниже, наряду с письмами Леоновича.

*Никто, пожалуй, не сделал столько для сохранения и увековечивания памяти Игоря Александровича Дедкова, как Леонович. Светлая ему память.*

*Письма Леоновича Дедкову неповторимы по своему содержанию. В них много стихов. В них есть рассказ про дальние костромские корни рода Владимира Николаевича. Фамилию Леонович он унаследовал от своего отчима.*

*Письма В.Н. Леоновича содержат уникальную информацию о времени, событиях, ушедших теперь в небытие.*

*Тамара Дедкова*

[Сентябрь 1971]

Дорогой Игорь!

Очень рад Вашей статье. Не собираю мыслей, пишу Вам в спешке (уезжаю в Николу принимать экзамены у двоешников). М. б., напишу оттуда.

12 авг. у Серёжи<sup>1</sup> был день рождения, пришёл Гарик Зайонц и Юра Апенченко. Многих ребят просто не было в Москве. Посидели с Раисой Антоновной, повспоминали...

Гарик хорош, как всегда, Юра красив. Два месяца не показывается на работе. Осенью будем собирать книгу С[ерёжи] для Гослита. Ну вот. Как-то всё тихо – и

несказанное слово  
сопровождает нас.

*В. Леонович.*

[20 декабря 1971]

Дорогой Игорь!

Сто раз откладывал письмо – до какой-то душевной определённости. Её не предвидится: школа как вулкан подо мной – кипящая молодая жизнь, с которой я не справляюсь... Школа<sup>2</sup> то место, где ничего не утрясается, а всё только перетряхивается. Было у меня четыре класса всего одну четверть: 7, 8, 9, 10. Сейчас стало три, отдал седьмой и вздохнул, как тот еврей из анекдота.

9-й класс – мой, я кл[ассный] руководитель. Отдыхаю у них. Да они меня и погубят: души не хватит бросить их. Очень славные дети. Между тем я уяснил – и только тут ясность – что я не родился педагогом и попал, как тысячи людей, в драматическое положение бездарности. Положение избитое и ничего не сулит; я посмотрелся на постные лица холодных мучеников *не-своей* идеи... Сколько их плакалось мне так или иначе! Но кроме педагогики как таковой есть нечто близкое вдохновению, не попавшее в методики, то, что рождается в любом общении. Не умею сказать, но побожусь, что понимаю детей, когда они молчат и когда беснуются, всегда знаю, что им надо, и знаю, что и они знают меня насквозь – и значит, всё в порядке.

Пробиваюсь к этой мысли: я хочу оставаться учителем, не будучи им – но будучи отчасти... профессором... Вот так я и материал им объясняю, каждый раз пере-

<sup>1</sup> Дрофенко Сергей Петрович (1933–1970), поэт, однокурсник Игоря Дедкова по факультету журналистики МГУ, друг Владимира Леоновича, скоропостижно скончался 9 сентября 1970 г. Работал на Записке, заведовал отделом поэзии в журнале «Юность». Раиса Антоновна – мать Сергея Дрофенко.

<sup>2</sup> В.Н. Леонович преподавал в селе Никола Вохомского района Костромской области. (*Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – примечания публикатора.*)

думывая его, оставляя в стороне скучное для меня (а им – ещё нужное... нужное ли?). Иногда они смотрят на меня странным взглядом, чаще зевают или шалят. Считанные мгновения – какое-то единение в одном интересе, через пропасть возраста и опыта... Тут и смысл. В учебной программе – уже – провалы. Они не знают того, что обязаны были затвердить. *Но в конце концов они не должны будут сделать дурного поступка.* Вот программа. Не должны будут сделать дурного поступка.

Это мне напомнило Гоголя на кафедре перед благородными девицами. Вот смешил, наверно, их. Чтó он делал с историей, и чтó это была за история во всей корявой свежести рождения? Я думаю, он боролся со Временем – ведь он художник, и событиям приходилось совершаться не так. Потом, опомнившись, видит себя на кафедре, видит, что время непоправимо – да тут и ужас девичьего цветника!

Мне пришла в голову мысль, что стиль Гоголя – свежесть и страх рождения зрячей фразы в мир. Для него не было известных вещей, он был слеп к известному и глух. Оно уничтожалось – обстоятельством простой известности своей. Не надо нормального зрения, лучше слепому. А когда в полную меру прозрел – то едва не помешался от этого дара, отделил себя раз и навсегда от простых смертных – безумной гордыней. Стиль Гоголя – счастье не погибнуть, перелетев пропасть.

Как ты это увидел? Как подслушал? Как получилось столько тонкой жизни в какой-нибудь одной реплике? Нормальные люди так не пишут и не слышат. Чем платишь за счастье?

Из школы меня пока не выгоняют. Приедут ревизоры – будут ругать за журналы, за методичку... Дети мои обнаружат, конечно, самое здоровое невежество по всем делам. Я говорю так: с одной стороны, это определение. С другой – обстоятельство. Смотря по тому, как спросить. Напрягаю память, извлекаю гипотезы В. Виноградова из университетского курса. Что наречие? Что частица? Говорю: язык живой, ему всё равно. Учебники меняются и умирают, язык меняется и хорошеет.

18 дек. Побывал в Москве на праздники. Серёжина книга «Зимнее солнце» уже в состоянии верстки. Раиса Антоновна держится ещё.

Твардовского не видел ни тогда, летом, ни сейчас. Тоже держится вопреки медицине. М.б., это и не рак, а реакция всего организма на долгий запой. Так бывает.

В этих числах где-то вечер Серёжи (устный выпуск «Дня поэзии»). А в октябре был вечер в МГУ.

Всего Вам dobroго! Извините за бред по поводу Гоголя. Псылаю Вам книжечку<sup>3</sup>.

В. Леонович.

20 дек. Умер Твардовский. Он стоял за хорошую державу – как раньше «за хорошего царя». Последний романтик. А впрочем, он сам был держава. Он знал народ поимённо (вёл отдел писем сам) и жил в нём понятно. Ходил со своей палкой и к цензорам, и в смирительные дома вызволять здравых людей, дал дышать Солженицыну, не брал взяток – понятно жил.

Я свою пью, а не кровь людскую (Шевченко).

Теперь видно, чего ему стоила всю жизнь «Страна Муравия», и чем дольше, тем больше. Эта драма не получила выхода, но был целый отдел в журнале – о земле. Надо бы издать многое и многое – от Овечкина до И. Виноградова. Стройная бы вышла книга – и страшная – но не того страха, который парализует...

<sup>3</sup> Владимир Леонович. Во имя. Стихи. М.: Советский писатель, 1971.

Какой был редактор! Два и было всего у нас: Некрасов да Т[вардовский].

P.S. С друзьями своими в Москве, и теперь с Вами, делюсь моей заботой: есть в классе дети, которым надо учиться, которых жалко отдавать армии и производству. Ещё буду к Вам приставать, а пока пусть это заронится в Вас как задание – чтобы всплыло в памяти при каком-нибудь разговоре с каким-нибудь директором института и проч. Школа наша – слабая, типичная, а дети не виноваты. Двоих-троих повезу в Москву. Одного бы – в Геттинген...

[Январь 1972]

Дорогой Игорь!

Прислали мне большие конверты – теперь есть куда положить Серёжин портрет и стихи. И тут Россия – долгонько я собирался. А тянулось время потому, что я вздумал послать Вам старые и совсем новые стихи, а стал их выкапывать – и захотелось переписывать. Любимые думы требуют совершенства. Значит, конца не видать моим трудам. Одно какое-нибудь стихотворение я мучу несколько лет – и умучиваю.

Последний раз я писал Вам из Москвы, в настроении неопределённом, кажется, не думая возвращаться в Николу. Но что-то защемило, к кому-то я заревновал, кто стал бы проходить с ними Блока и Маяковского, – так и нырнул опять в это не моё дело. Не знаю, что они усвоят. Почувствуют какую-то долю... А может, больше и вернее меня почувствуют? Но то, что они не знают ни черта – вне сомнений.

В ноябре, когда я был в Москве, застрелился Митя Голубков<sup>4</sup>. Благородный человек, путаник, мы очень дружили с ним. Вторая, после Серёжи, потеря. А потом умер Смеляков. С ним мы никак не дружили, но что-то, знаете, в самой крови оборвалось, разделилось... (Очень уважаю, люблю, например, Льва Озерова, но едва стану читать, бешусь, отторгаю эти стили и т. п. Как-нибудь подумаю на эту тему.) О Мите не плакал, вообще года полтора – ни в одном глазу, – а тут разревелся. Кстати, старое стихотворение (романтическое – но куда голову приклонить?)

#### СМЕЛЯКОВ

И вдруг он плачет. Выступив, слеза,  
пути не зная, по щеке сползает.  
Сейчас его не видят: заперся,  
а кто его увидит – не узнает.  
А знают – что? Такой он и сякой,  
к тому ж ещё угрюмый и гундосый.  
Согнётся, будто в поле над сохой,  
и рот заткнёт всегдашней папирсой.  
Переведёт ли чей-нибудь стишок,  
своё ли слово где-то переставит, –  
он между делом, за вершком вершок,  
в историю и в землю прорастает.

<sup>4</sup> 4 ноября 1972 г. поэт, писатель, живописец Дмитрий Николаевич Голубков застрелился в Абрамцеве. Леонович как один из ближайших его друзей возглавил комиссию Союза писателей по литературному наследию Голубкова, помог в издании романа «Недуг бытия. Хроника дней Евгения Боратынского», написал воспоминания о погибшем поэте.

Затем растёт, чтоб, ветвию качнув,  
в необоримой ереси и дури,  
благие ожиданья обманув,  
способствовать возникновенью бури.  
От века судьбы на Руси всё те ж:  
душе живой иного нет исхода –  
как первая любовь её – Свобода,  
как поздний праздник зрелости – мятеж.

Впрочем, в этой развалине, в его плоти, которая существовала – что-то такое было, не поддающееся распаду. Его язык не слушался (выскакивал, как у змеи, и скрывался, – но это так, чепуха), жил самостоятельно, как у юродивых. Разум только изощрял его.

Пролетарии всех стран, бейте в красный барабан...

31.1. Тут образовался перерыв. Не стану сейчас писать о Смелякове. Поскорее отправлю эту бандероль.

Второй год [школьный] оказался легче первого. Привычка, привязанность. Земля ненаглядная. Сейчас живу в южном скворешнике, осенью вставил хорошее окно городского вида, оно не замерзает. Всё тут: церковь, тополя, чайная – и луга, излучина Вохмы и леса. Всё ходил с ружьём, теперь хожу так, на лыжах. Ещё привык купаться в проруби (замечательная ванна, советую от души, только начать с осени). Всё ничего, только душа зимует. Ну ладно, рад, что посылаю наконец Вам хоть это.

Ваш *Володя*.

Привет Вам от Али Афанасовой.

[1 февраля 1972]

Дорогой Игорь! Рад Вашему письму. Я тоже далеко от Москвы, и мне тоже проще жить вдаль от ЦДЛ. Слишком много скрещивается там неоправданных самолюбий – и воздух нехорошо заряжен. Булгаков прав: Достоевского туда бы не пустили. Серёжа, грешный человек, оттуда не вылезал... Значит, так ему было нужно. Некрасову был нужен клуб – тоже жизнь и поле, и пища для совести.

Но не об этом хотелось бы мне подумать в Вашем присутствии (ведь так пишутся письма?). Совсем о другом – и наполовину, увы, мимо бумаги. Я написал в *Литгазету* очередное своё отношение к очередному акту травли одного человека – многими людьми, которые давно уже ведают, что творят. У меня от этого тоска ясности... Это уже было («Так побивали пророков бывших раньше нас»), и конца этому не видно. Правда, новейшая история литературы ещё не знала случая, когда на могилу родных писателя при нём при живом приходят и делают невежество.

Помню живо, как зимой 65 года, которую я зимовал на даче в Пахре, приходил вечером на огонёк А.Т. – «Нет ли на донушке?..» Тогда он рассказывал, как был дома у Солженицыных и мимо закуски и бутылки шёл к письменному столу.

Читал прозу (не сказал, какую, видимо, «Р[аковский] корпус») и ревел... Говорил он чаще междометиями, на какие-то свои мысли сам же отвечал чисто лирическим образом и часто поминал имя Божье. Мысли в нём ясно тесни-

# Спроси меня

21.1.72

Спроси Володя,

простите, пишу Вам, но так непростительно  
уже не отберет Вам и не поблагодарит  
спрашу за Вашу карточку - такую сдержан-  
ную, полную застенчивости и чуждым мыслям -  
книжку. Не знаю уже, во сколько написан  
Ваш тотчас не. Может быть, я надеюсь  
- я писала - откликнулись на книгу через  
почту, я не знаю, как там: была  
в Москву Катя. Теперь вот собираюсь с  
дочкой и мамой, если Ваш это не будет  
очень не по душе.

В Володе из старых знакомых были  
Зотикова и Саша Холкина (из серпантинных  
друзей, моего знакомства).

А вообще там - в Володе - мне не по-  
рабится, как не придется. живу.

Подобно и не поблагодарит. Там стоит  
баран, и какие разные сорта, совсем  
близко, и это уже почти уже изобретение;  
и это не изобретение проспанского тут  
закончилось, а во-то совсем другое,  
я верю какому-то.

Как-то так Ваши уроки, упражнения, методика, рефераты, задания, административные? Только-то, но крепкие меры, для самодеятельных педагогов.

Фотенете ли Вы, Володе, до конца года? Или Вы - последний человек?

И разве не Вы забываете - то-то меня парочка Ваше писала.

А кинуть я хотел книгу парочку: "Всяк сѣ в земли Библїостави".

Писаете ли Вы стихи? - в Вохле, по-моему, самое место - писать.

Кажется, до Луны Билке, так от Киком - до ЦДЛ, до Варянского, 58. Тут горизонталь - и по горизонтали, и по вертикали, и всё в пределах одного города - одной страны; и естественно это вроде бы и как-то, в конечном счете, безпроблемно. Одно дело в том доме и потоптане, и в Каспрану, воеводи, а Москва - то мне не нужно, отец, тетя, мать и т. А здесь спокойнее, будто меньше чувствую... Улыбаете?

Мне мало знакомы, Володе, по что-то с вами было и Вас и потихоньку так далеко и близко, пусть некаждого, но это Ваш вопрос и это значит - хорошо. К тому же Вы первый человек, который сказал "пожалуйста" и поехал, - спасибо, кого я знал - не ехал, хотя говорил. Васе Васе с вами... и старик... и по-моему

лись, и пьянел он, не теряя их, – теряя желание их высказывать. Ни о ком из писателей он столько не говорил, сколько о Солженицыне. Как деятель государства он чувал, видимо, «общественную совесть» (Блок) – главную спасительную силу – которую несёт с собой этот человек. Как редактор он был счастлив и горд тем, что напечатал С[олженицына]. И умел ему помогать, покупая у него вещи непечатные. За рубежом, говорил Т., только о С-не и спрашивали меня. (Тогда они с Ахматовой только что вернулись из Италии. Т[вардовский] восхищался тем, как Ахматова держалась – с простотой и достоинством гения.) Вот и скажешь себе: «если бы не Твардовский...» Когда я пришёл к нему выяснить, не отказался ли он от С., когда того исключили из СП и какое-то письмо С. попало за рубеж, Т. честил вурдалаками чиновников из СП и др., досталось Федину, Леонову и Шолохову (как гражданам без совести), да он их и как писателей уронил. – Кто они такие? А Солженицын – великий писатель! И тут же сетовал на характер С., который поспешил с этим письмом(?), не посоветовавшись с умными людьми. «Он не знает всей сложности обстановки». «Не надо обострять...» О чём он это говорил? Не о том ли, что «Н. мир» под угрозой? Видимо, и об этом. Я сказал, что после Пастернака это уже не случайный позор, и надо покидать такой Союз, как покидает его В. Каверин. Нет, сказал он, Каверин послушался нас и забрал свой билет обратно. И опять смысл был такой, что не надо обострять... (В Т[вардовском] было что-то от регента при слабоумном или малолетнем монархе... Он ещё был редактором, властителем надежд...)

Досталось и Пастернаку как прозаику, но за П. я уже вступился. Видимо, А.Т. плохо прочел «Д[октора Живаго]» и говорил о нём как о «не нашей» вещи. Я же сказал ему, что там главный герой – Природа, изначальная естественность (романтическая для прозы) отношений человеческих – и это поверяет события и 17-го года и последующие. Например, естественность языка не терпела лозунгов, которые перестали опираться на страсть народа, когда прошёл страстной праздник 17 года... Пастернак судил время и события как сын Гармонии –

чего же боле?

Прозаика победил поэт. Роман и читается «по вертикали», в глубину метафоры, а «достоевский» сюжет... Да чем бы дитя не тешилось! Все же характеры означились – с глубокой и причудливой лирической точностью – метой мастера. А любовь, а природа...

Но тогда было не до разбора «Доктора Ж.» – прекрасной поэтической прозы – а до живого Солженицына, который всё время был на грани санкций, так сказать.

Как мне запомнился Твардовский – трезвый, здоровый, в голубой китайской рубашке, голубоглазый. Сначала глаза сделались ледяные, когда я его в лоб спросил, не отрекся ли он... (Великая сила – сплетня.) А потом он потеплел и разогрелся и так ладно крыл матом чиновников и особенно старого кающегося бздуну Федина. Мы привыкли, что телефоны в кабинетах учёные и всё слышат и записывают, а в отдушниках висят микрофоны. Тут ничего не висело, а если что и висело, то ему было на это наплевать. Хороший был день.

После этого я увидел Т. через полгода, уже зимой, уже после разгрома журнала, опять в Пахре. Он стал запивать тогда... Подробно рассказал, как вводили ему

чужих людей, как он принял одного Косолапова и имел с ним 5-минутный разговор о величине окладов; как его хотели задобрить синекурой и как он отослал человека с пакетом к его хозяевам. «Я ещё разрешённый поэт в России, а высокооплачиваемых бездельников у нас и так много».

И потом уже через год я его увидел, 21 июля 71, полуразбитого параличом (отнялась правая сторона, как и у Некрасова), втрое высохшего, бледного, выжатого страданием. Только глаза увеличились и ещё больше дышали, посылая какую-то мысль в собеседника – язык уже отказывал. Сказал только спасибо (что пришли).

Он бы встал, если б негодяи из *Литгазеты* ещё при нём напечатали статью о Солженицыных. Пришел бы с палкой в кабинет Чаковского. Ведь он же приходил в психбольницу вызволять кого-то из учёных (два брата, один из них Марат (?), фамилий не помню).

Так и живём – в страшной разобщённости, не помня и не зная друг друга, упова на эфир, соединяющий помыслы.

Солженицын – живой и страстный человек, никакая не дистиллированная вода; у него есть доктрина, т.к. он человек стройный и давно свёл этот каркас, который всегда беднее, чем думает о нём его создатель. Но без доктрины, без именной идеи нет личности! И этот скелет нельзя вытащить из человека, не лишив его жизни.

С. – человек злопамятный – как совесть. И Твардовский был такой же. Но дай вам Бог! Как удобно забыть... Дай вам Бог хоть крупицу той памяти носить – не делать того же зла!

Смотришь кругом, читаешь периодику, газеты – всё так мирно, спокойно.

Мёртвые в землю зарыты...

Живые пользуются жизнью. Могущественная порука соединила людей предписанием известной нормы правды и лжи. Приходит один человек и разрушает эту норму, эту поруку. Чего это ему стоит, сколько там внутренней работы, сколько смерти... Кто об этом думает? Надо гнать и травить возмутителя. Да, конечно, наше нравственное невежество виновато. Всё-таки не ведаем, что творим. Мерим по себе, когда пишем пошлости и не смеем подписать имени... Стыд ещё остался: стыдно сказать, что именно ты осквернил чужую могилу.

В школе мне уже легче. При известном усилии и добросовестной подготовке могу провести урок, который заинтересует большую часть класса – но педагогом я не родился. Ещё не было на меня инспекторов – жду как возмездия. До конца года я их доведу, а если не будет ничего чрезвычайного, никакого требования к жертве, то останусь и ещё на год – выпустить моих 9-классников, к которым я привязался. В них столько жизни и милой дикости.

Писать – почти не пишу, хотя иногда вдруг сяду за стол и часов 12 кряду что-нибудь правлю, что-нибудь думаю на полях. Рассеянная деятельность нашего воображения так же правомерна, как и всякая другая. Не вечно же нужны нам *и штык, и кнут* – мы определим их с почётом когда-нибудь в музее!..

На меня сильно действует зима – я завидую в эту пору спящим медведям и страшно сочувствую шатунам. Что может быть неприкайнее медведя-шатуна?

Любуюсь на окрестности Николы, когда-то блиставшего куполами двух церквей – да каких! – на огромную округу. Хожу в лес – после уроков, которые всё же достаются мне недаром. Лес хорошо лечит. Много теряю, что живу один. Тут есть

золотые старухи, в среднем 80-летние, сохранившие в языке то, что разрушено на земле. Позавчера слушал – не наслушался... М.б., переберусь из своего мезонина к такой старушке. Собираю всякую старину, внушаю детям, что вещь, сделанная руками, священна (если это не оружие). Дети тащат мне всё, что плохо лежит, т. е. может погибнуть за ненадобностью. (Но это только-только началось, я немного опережаю результаты.)

Рад, что книжка Вам понравилась, и рад буду, если Вы о ней напишете для наших костромичей<sup>5</sup>. Но стихи мои я уже определил: ни селу, ни городу – убейте меня, если тут хоть гран кокетства. Какого бы адресата я себе ни представлял, всё мне кажется: не ему, мимо...

Тут я два урока в 9 и 10 кл. посвятил Твардовскому и ставил им пластинку «Тёркин на том свете». Как слушали! Вот поэт – народный, внятный всем. Я его не очень люблю, но завидую всей душой. Как он точно, как счастливо угадывает психологический ритм, что ли, который чередует грусть и шутку, пафос и быт... Как ты устроен, как ты дышишь душой – так он тебе и вкладывает всё, чем дышишь, – сообразно твоему дыханию. Чудный мастер. Маяковский не спрашивает, как ты дышишь, – а тащит тебя в гору и в гору... Жёсткий путь, святой для времени и смертельный по логике своей. «Поэт раннего христианства» – чуть ли не так говорю своим 10-классникам. А им это всё равно. Примечательно, что пафос М. и его напряжённость вовсе им не импонирует. Другое состояние времени – оно отпустилось... Какая-нибудь медитация, такая же простая, Уитмен, например, – это их занимало бы больше, мне кажется. Ещё я заметил активное пренебрежение ко всему, что связано с религией, – прямо до гримас на лице. Не знаю, чем это объяснить. Плохие попы тут были? Или наши атеисты (вот вполне паразитическое занятие, если выходит из рамок борьбы с изуверами сект) всё перепахали так и перемешали живое с мёртвым таким образом, что больно до этого коснуться?

Однако уже скоро час ночи и, значит, наступил февраль. Ага, зима подаётся!

Игорь! Всего Вам доброго. Я заговорил Вас, как, наверно, нелюдимый Гоголь – опять он! – заговаривал своих корреспондентов.

*В. Леонович*

*1 февр. 72.*

[Лето 1972]

Здравствуйте, Игорь!

Я всё так и понял. Трудно писать, когда знаешь, что по дороге найдется некий Шпекин. Однажды моему другу вручили в моём конверте письмо старика, который беспокоился о здоровье своих детей.

Аля вручила мне Серёжину книжку<sup>6</sup>, и я тут же её подарил другу своему, который приезжал ко мне в Николу. Мне прислали и книжицу, изданную в «Мол. гвардии»<sup>7</sup>. Там, кстати, стихи, Вам посвящённые.

Уже дней 10 я в Москве, жара их слепила в один ком, я уже сыт столицей и еду в Карелию числа до 10 авг. Потом – снова Никола: переэкзаменовка моих двоеш-

<sup>5</sup> Впоследствии Игорь Дедков включил эссе о творчестве Вл. Леоновича с названием «Всё претворить и всё вместить...» в состав сборника «Во все концы дорога далека» (Ярославль, 1981) и пометил датами: 1972, 1979.

<sup>6</sup> Сергей Дрофенко. Зимнее солнце. М.: Советский писатель, 1972.

<sup>7</sup> Библиотечка избранной лирики. Сергей Дрофенко. М.: Молодая гвардия, 1972.

Разбирая старые письма - никогда их не выкидываю - нашел четыре письма от Игоря Дедкова. Их должно быть больше и много открыток по случаю праздника или даты какой-нибудь, здесь Игорь был на зависть внимателен и аккуратен.

16.6.72

ВОЛОДИ,

я виноват перед Вами. На то письмо Ваше просто так, обычно - отвечать было нельзя, да и отучили меня некие люди доверяться письмам. А потом я так и не написал о книжке, хотя все надеюсь это сделать. Про Шапошниковых, скажем, много легче писать, чем про Вас. А, не написав про книжку, не смог написать и письма. Нескладно и суетно.

Книжка Сережи у Вас, конечно, есть. Но на всякий случай... М. б. подарите кому - хотя бы подательнице сего - вестнику от Вас. (Крошечка)

Как Вы там задержались так долго и, говорят, думаете задержаться еще? Доброго Вам здоровья и - не сильно ругайте меня.

Игорь.

"Некие люди", возможно, раньше Игоря прочли мое письмо к нему. Но не отучили доверяться бумаге. Бикенин говорит: есть ДОСЬЕ "Дедков - Леонович". Человек с характером и лживый брезгливости, мне присущей, как-нибудь может выудить ДОСЬЕ где отсюда, где оно, возможно, еще хранится. "Некие люди" либо скитают надзорные документы, либо торгуют ими, посмеиваясь над собственным грифом "хранить вечно". О книжке "Во имя" Игорь вот-вот напишет, одна строка понадобится ему для названия собственной книги. Книга же

"Во все концы дорота далека."

- 2 -

Сергей Дрофенко называется "Обращение к мам". Название это и название "Во имя" - почти синонимы для внимательного слуха. Цензура таковы не обладала.

"Подательница сага" - этой записки и книжки Серёжи - Пина Большакова. Через год эта моя выпускница поступит в костюмной Институт, а потом станет работать в Шалыкове. Да, "задержался" я в селе Николае вхомаком - так раз чтобы выпустить свой класс летом '73 года. А ведь '72, кто помнит, уже окутан был гарью, жара не спадала и ночью, везде горели солома... Мы же с моим классом ушли в абсолютный поход: из Николаи на Вохме в Никольск на Иге, отсюда на плотах до Балшого Уотжа...

19.2.73

Дорогой Володя,

очень благодарен Вам за стихи и за портрет Серёжи.

Я рад, что Вам иногда приходит в голову написать мне.

В стихах Ваших я нахожу очень много близкого, хотя не всегда я понимаю их до слова - сразу. Может быть, это и хорошо; и возвращаясь к ним и делая это без насилия над собой.

Вашей сосредоточенности я завидую. Ваша жизнь будто не в миру, хотя знаю, что и не без смущения. Во всяком случае у Вас будто больше свободы. Я же очень дорожу Домом и Семьей. Прямо-таки с Большой Буквы.

В ноябре-декабре я долго был в Москве. Из новосирицев видел / и был у него/ И. Виноградова. И разных других видел.

Я ведь кое-что понимаю; для газеты - редко. Для газеты - редко. М. С. как-нибудь ответу там же - рукописью.

То, что Вы вернулись в эту Ниноду поразительно и прекрасно.

...

...

... человек живет сейчас. И то, что он в абсолютном смысле. / Слад. бразда нера для кого, ни для чего - для неба и огромного мира.

...тремя такое солнце, и так хорошо жить.

Володя. Но что думает Ваша мама?

...на сына.

Всегда Ваш Игорь Д

... очень красивый. После его смерти по

дарен мне Раксой Антоновной, / <sup>матерью</sup> оба старика старики - г о р е тут корень - в три года, потеряв Сергея / Красивые люди были и Сергей и Игорь. С Серёжкой мы работали в газете "Металлург-строй" - на отроке Записки.

"Много близкого" в стихах? 19 век, его заветы, его понятия - у Игоря достало сил быть верным им в превосходной степени. Недаром же : "Нашлиут наши имена"! Такой пафос, даже улыбкой сниженный, редкая вещь у Игоря. Но вот - понадобился.

"Свобода" с маленькой буквы и "Семья" с большой заслуживают отдельного разговора, но не здесь.

"То, что человек делает сейчас, ВАЖНО В АБСОЛЮТНОМ СМЫСЛЕ" - максима Игоря Дадлова, означающая всякие виды безответственных людей: "я маленький... "от меня ничего не зависит... Не маленький. Зависит.

А строчка о маме... Е го т р а в о г а о м о в й м а м е...

Вот - Игорь. Вот что важно в абсолютном смысле.

- 4 -

27.12.73

Дорогой Володя,

с Новым Годом!

Продолжения всего хорошего, светлого желаю тебе - продолжения Леоновича и Галактиона, с которыми ты так осланно выжидал и говорил со всех страниц, особенно "Лит. Грузии". Прости, что не ослезался тогда; жана болала, долго лежала в больнице, я крутился с мальчишками и т.п.

Спасибо тебе за признание, хотя мне и не удалось дать ему ход.

Но ты, должно быть, доволен таким своим участием в юбилее Галактиона? Правда, хорошо, и я порадовался за тебя, т.е. мы порадовались.

Теперь бы хави падать так и более того.

Не удивляйся объему письма. Прому, почитай этого человека, вроде бы парень неплохой, не дуб; шлет же, никуда, ни в какие двери не тпчась. Скажи, что ты думаешь о нем - кратко, пожалуйста. /Он - здешний/

Как твоя <sup>не</sup> грузинская - русская жизнь? Не попадешь ли сюда с /проб./?

Всего тебе самого доброго.

Привет тебе от моей мамы

Игорь Д

... Чей стид ты икупиши, старик - и - в небо?

Семь лет первому твоей крик:

- Тависуцтеба!

Он кричал, выбрасываясь из окна больницы, куда принесли склонить его к предательству двое молодчиков ГБ. Тависуцтеба! Свобода

- 5 -

с большой, а тут с маленькой буквы. 7 лет ршдари чести - остальные годы вдалбливал менгалигет - к а к ототалпают добро "по музам". В о е /кроме Л.К. Чукова: жестко или мягко, предали Бориса Пас

шелся в Грузии поэт, на предложение поди

моубицством. Немудрено было вдохновиться

Где по ирмормному алтарю

Линка мерзлая - Черная речка -

Там тебе только нож да овецка...

Слишшь, ЧЕРНЬ? Я тебе говорю,

Я тебе говорю: воронья.

Везде о жертве, о жезде вносском

Ты встречаешь мелудочным оокон -

Ты всегда получаешь свое.

А я получил в Грузии то, за чем туда ежал - черно-бадуу

многоту ее безалдрых <sup>ввезд</sup> ввезд, сказавцулди, вот, в духе ее национального гения. "Жизнь - за други своя" - мир ли, война ли. Понятно, я был рад участвовать в юбилее ТАКОГО поэта.

А Игорь - писать о нем в костромской газете, ныне озабочанной овсец другими вещами.

В письме, если не ошибаюсь, были строчки Юрия Вакшова - я писал о них, но куда с какой целью, не помню.

17.6.74

Дорогой Володя,

спасибо большое за книжки, за стихи.

Не писал тебе долго, так как сразу после твоего отъезда заболел, и долго было неясно, когда мы отправимся в Щелкино.

Теперь мы уже здесь.

Проще Илья

- 6 -

Если у тебя будет возможность, то заезжай сюда. /Следует подробное описание пути от Москвы до Островского - В.Л./ Мы будем лишь стоять /?/ в доме, где живет зам. директора по научной части Бочков. Если будешь идти с рейсового автобуса, то это первый дом справа.

Всего тебе хорошего.

Будь здоров.

Приезжай, если будет возможность.

Игорь Д

Нет, не было, кажется, такой возможности. "Свободная профессия" кабалит, бывает, наглухо. Игорь мечтал, чтобы издали меня так, как юбилейного Галактиона /!/. Не вру, смотри предыдущее письмо. А "издавали": о н и такж как я <sup>лес.</sup> со скрипом в десятки лет. От первой до второй книги прошло 12) Аркадия Штейнберга вообще не издали. Лесючевский, директор "Сов. писателя", оказавший бдительность похлеце ГЕШной /засадил Заболотского вопреки ГЕШ/ знал детально мою неблагонадежность с 55 еще армейского года. Переводы меня не кормили, только подкармливали. Далеко не все я переводил, что мне предлагали. Далеко не так, как требовалось, печатал и свои вещи. То, чем дорожил, было ненужным власти /системе/ или прямо враждебным ей. Таковым и осталось насегодня, когда коммунисты научились креститься и перестали уже тататься, обворовывая народ.

Одно утешенье: Игоря Дедцова - читаю, перечитываю, открывая заново, пересмысливая во времени посмертном - я узнал глубоко с горестной отградой постижения, с полной убежденностью, что т а к его узнают на Родине все, кому она дорога.

ников. В будущем году я в школе работать не буду, но и ребят моих не оставлю, буду им дедкой итальянцем. Впрочем, если РОНО никого не найдет, то пойду с ними второе поприще. (Так я и думал сделать, но к концу учебного года и в результате экзаменов убедился в своей бездарности – и решил не занимать чужого места.)

Игорь, если случится Вам встретить хорошего безработного словесника, то скажите ему, что лучше Николы места нет и пр. Я буду туда приезжать – уже свободный от шор учителя. В конце августа – начале сентября, м. б., заеду в Кострому.

Всего Вам доброго.

*В. Леонович*

### [Весна 1973]

Дорогой Игорь!

Ещё не перечитал письма Вашего – спешу тут же пробормотать какие-то слова. Да – да – да...

Я рад, что наконец мне пишут так хорошо и просто, быть может, о самом значительном: что хорошо жить, что начинается весна и свет... После смертей, после вытаскивания за уши из больниц, из-за пьяных столиков... После маразма, который так захватывает – не стариков, а моих ровесников... После маленьких неподвижных идей... Не хочется, видите, договаривать даже. После различной фальши, фальши из самых добрых намерений (это у Достоевского в Дневнике где-то хорошо написано, как русский человек непременно себя корчит и так привывает к не-себе и не-правде, что самая простая правда и естественность для него выглядит уже фантастической)... Короче говоря, очень вовремя Ваше письмо ко мне пришло. Был я в Москве в январе и, знаете, почувствовал, что могу заболеть от выдуманных отношений.

Ну вот, спокойно перечитал письмо. Я так ему обрадовался, потому что позитивные мои мысли – те же. Сколько раз я ловил себя на том, что жду чего-то, пережидая что-то, что всё не то,

и нет настоящего, жалкого нет.

Мысль эта не пропала вовсе, когда настоящее стало милым. (Видимо, пришло чувство жизни, о котором в своих этюдах оптимизма пишет Мечников.) Но эта русская мысль как-то в стороне. Ещё бы: ведь я среди детей и всего-всего, что радостно по сути, врасплох – и потом лишь, через голову – сквозь голову – начинает быть частью общей гражданской печали.

Владимир Львов писал, кажется, так:

Я не прошу себе вовеки,  
Что не был счастлив никогда.

(Помните:

В детстве, может, на самом дне,  
десять найду сносных дней<sup>8</sup>.

Но не стану ворошить этого – до необходимости. Много думаю о М.).

---

<sup>8</sup> Из поэмы В.В. Маяковского «Про это». (Примеч. ред.)



9-го числа был в Москве. Поминали Серёжу. Из ваших были С. Холопов, А. Горюшкин, Олег Дмитриев.

26 сентября. Всё же погрешил: каторга или нет, а сделаешь несколько переводов, имеющих смысл, – вроде бы всё как надо. Очень хорош у них Шота Нишнианидзе, прямо русский. А в России у нас – иностранцы сплошь. Не пишут и не думают, о чём писали и думали русские поэты. От этого, отчасти, такой интерес к Достоевскому, например. Читаю очередную книгу о нём: «Материалы и исследования», 1 том. Слава литературоведам, сидящим по своим углам.

Вот что пишет Пруцков:

«Умирающий патриархальный мир в критическую минуту истории... защищаясь и борясь, проклиная и ища спасения, мог порождать и порождал не только реакционные заблуждения и наивно-консервативные утопии, но и необыкновенный по своей пронизательности взлёт мысли и фантазии, художественные открытия и откровения».

И ещё:

«Оказывается, реакционные воззрения тоже могут быть основанием силы и оригинальности реализма писателя!»

Вода камень точит. Завтра он скажет, что реакционный философ есть, по существу, прогрессивный поэт; первое понятие потихоньку будет бледнеть и сотрётся. Предрассудок пропадёт...

Ну ладно, отправлю это письмо как есть.

От Нины Б. – студенческие письма. Я рад, будто сам студент.

Тамаре большой-пребольшой привет.

В октябре – в Грузию. До встречи! В. Л.

[1974 (?)]

Дорогой Игорь!

Пишу тебе из Калязина, где я у моей старушки. В тишине добрался до стихов Юрия Бекишева<sup>12</sup>. Он живой, молодой, взбалмошный. Хорошо, что нельзя угадать, где он взбрыкнёт. Есть в этом и просто дурная сила – и есть дар нечаянных и счастливых слов, улыбок, движений. Есть некая связь (языком, звуком, а значит, составом крови или души) с язычеством: важная опора. Потому так хороши и первородны стихи вроде «Облака». А «Веснянка» так хороша, что хоть детям в книжку. Вообще, он тёплый, хлебный, тёмный. Что-то от Бориса Корнилова, от Глеба Горбовского. Я верю в такие натуры: они чувют доброе и нужное им – умным своим нюхом, а знают это брюхом. (Не люблю «дикости – от ума» а la Заболоцкий–Фауст.) Не понравились стихи о детстве: жёсткие, организованные. Не все такие, правда. Нравится свобода, когда счастливая и когда я её понимаю. А часто не понимаю, и мне темно. Темно никак. (Бывает, очень хорошо никак.) Но, кажется, он всегда гнёт своё – а не чужое – и выгнет со временем пояснее. Пусть мучится, что ж. Всеми нашими родовыми муками. Да нет, не то: родными.

...Вот сидишь в снегах, в Калязине. А там, в сферах, разрешились очередным гневом – и сидишь прибитый, и как в говне сидишь. Ибо так хитро они оборонились, что напиши я письмо – как бывало – не ответят, а включат верхние каналы, пополнят досье и насторожат чиновников, с кем ты будешь иметь своё дело... Чудно! Выводится порода особей с потушенными рефлексамы общественной

<sup>12</sup> Бекишев Юрий Вениаминович (р. 1948) – поэт, г. Кострома.

совести и чести. Одного бьют – остальные рукопещут. Чем и как дышат теперь студенты? Чем угодно и как угодно – кроме. Кроме – точка. А я дышу жабрами – и в стране и в судьбе. Не кончится ли тем, что возьму я топорик да займусь плотницким делом? Или буду сеять лес, как мой любезный Боратынский. Уж очень я брезглив – спасибо польским предкам.

Кстати, дочитал сегодня Митин «Недуг бытия» со всеми оставшимися в рукописи купюрами. Не знаю, каков это роман или там хроника, но чудные места искупают, по-моему, все недостатки. Бросал, не мог читать от волнения. Конечно, у меня ревность к Б[оратынскому], и не так бы – бы – бы! я развернул его трагедию, но спасибо Мите за то, что он сделал. Аракси (вдова) в сердцах говорит, что Б[оратынский] убил Митю.

Нет... Вот он был тоже чуток к тихой и обширной подлости – а жабры имел слабенькие, не умел кануть глубоко и надолго – как тот же Боратынский. Замечательно, что мы (т. е. я и Митя и Митин Боратынский) думаем (или думали) о России деревенской так высоко и лично. Т. е. как о личном спасении – и вместе как о надежде общей, духовной. (Хотя сейчас деревня пропадает, её выжигает телевизор бледным огнём, и трактор ровняет, и проч., и проч. Розанов, когда увидел телегу с машущими косами, тут же и сказал: в этом Бога нет.)

В книге у Мити это смазано второй надеждой – на Сазонова, Огарева, Сатина – а первая недостаточно выявлена. (Опять ревность.) А ещё покойный – теперь уже не повредит ему – говорил: иметь бы где-нибудь приход! И он домучился бы до этого, если бы терпенье имел. Чистый был человек – открытых, неистребимо детских движений, вспышек...<sup>13</sup>

Пишу и начинаю видеть его и слышать – мочи нет.

Посылаю тебе два стихотворения о Боратынском. В черновиках было у меня.

Не надо, не ступай,  
останься в утешенье  
тому, кто там бывал.  
Тебя воображенье  
убило наповал.

Этим кончается Митина книга: смерть от воображенья, – говорит доктор (по-итальянски), – он был поэт... Правда, смерть прекрасная.

Стихи Бекишева пусть ещё побудут у меня, перечитаю, ладно? В Калязине просiju ещё с месяц, так что черкни мне, если соберёшься сюда.

Поклон Тамаре, и погладь по головке детей. Будем живы!

В. Л.

Твой конверт со стихами пришёл насквозь рваный. Научат их, как читать письма? Недоработка.

[Июнь 1974]

Дорогой Игорь!

В Калязине я задержался, в Москве тоже. Сдаю в изд-во книгу по имени *Нижняя Дебра*, которую составляю уже полгода. Написал предисловие к «Мавре»<sup>14</sup>, как-

<sup>13</sup> «Для Мити была роковой принадлежность прошлому столетию с его кодексом чести и тиранством совести...», – написал позднее Вл. Леонович («Дружба народов», 1993, № 3).

<sup>14</sup> «Мавра» – поэма В. Леоновича о гонении на первохристиан при Ариане, о житии мученицы Мавры.

нибудь пошло. Дней через 5 улечу в Тбилиси, через Харьков. Считайте меня коммунистом, т. е. советником Шеварднадзе по делам перевода. Там они затеяли центр, чтобы обуздать бурную жизнь переводной литературы, и нужен им мой вкус. А мне нужен лес, да изба, да... Так и живём.

Будем живы, поминай меня, грешного, в молитвах.

Тамаре кланяюсь.

В. Л.

[1974]

Игорь, дорогой!

Просто весточка. Зайду в «Юность», узнаю о стихах Б[екишева]. Очень давно не бывал в столичных редакциях. При мысли о системе «чего изволи-те» разливается во мне желчь – признак того, что я «плохо кончу», и мира с миром не будет. Б. – душа самостоятельная, и когда он изволит себя, пойдут трудности. Собственно, он уж написал об этом. Журналам нужна стихотворная беллетристика, где соблюдена форма и соблюдены маленькие фривольности. Глубина всех пугает, ибо глубина подвергает сомнению любую стабильность – грех ужасный.

Так что – горько сказать – но пусть подышит жабрами да почитает книг. Душе нужна естественная среда – воздух споров, откликов и всяческая обратная связь. А время нашего процветания, куда какое милое сверху и совершенно беспросветное и бездумное, предлагает ей, душе, стало быть, среду неестественную. Жабры, развивайте ваши жабры. Ещё есть путь: печатать – но всё равно с трудом – наиболее безобидные вещицы, они сойдут a la russe. Но это – унижение поэзии – и на его (Б.) подлинность лак сам налезет. И будет Лора Васильева.

О своей книге ничего не знаю. Надо зайти в изд-во. Ни в одной редакции стихов моих нет... *Господи, нет.*

Передай это Б.

Из Калязина послал тебе большое письмо. Написал немного и об Акакии, которого прочел ещё в Костроме и прочитаю ещё как-нибудь.

Книги Г. Маргвелашвили у меня нет, буду в Тбилиси, возьму для тебя.

«Наш современник»<sup>15</sup> не видел, посмотрю.

За Нину Большакову ещё раз благодарствую. Она была студенткой ещё в школе, институт будет ею доволен.

А осень дивная...

Маршруты? М. б., в Тифлис, к местам Галактиона, в компании Резо Тварадзе, серьёзного человека из числа прогрессивных деятелей. Он делает для меня подробнейшие подстрочники Галактиона. А, м. б., в Ницолу. Нитка тянется не рвётся, узелок завязывается. То, что в песенке поётся, людям не рассказывается.

Будем живы! Если что новое узнаю в «Юности», черкну.

Тамаре – поклон.

В. Л.

---

<sup>15</sup> В сентябрьском номере «Нашего современника» за 1974 г. была опубликована статья И. Дедкова о творчестве Юрия Куранова «На теплом берегу родины».

[Октябрь 1974]

Дорогой Игорь!

Посылаю тебе стихи, которые ты давно знаешь.

Нам было по 20, а стало по 40,  
 смолкает наш пафос, стареет наш порох.

Но всё-таки Брут обучил нас латыни,  
 но всё-таки жизнь – это память святыни!

Мы были суровы, а стали угрюмы.  
 Давайте напишем Былое и Думы –

нам память сердечная не изменила,  
 всё так и оставила, всё сохранила.

Это эпиграф – но не к памяти, а к двадцатилетнему сознанию. Как школьник, готовлюсь к вечеру 26 окт. в ЦДЛ, хочу обновить, сделать действительным всё, чем я жив, что связывает нас.

Сознательная жизнь – ровесница прекрасного Гамлета – переходит от умозаключений и бреда – к словам. Слова = действие. Как бы я хотел тебя видеть! Не придёшь ли? Я знаю, что выступить мне больше не дадут, что границу Свободы и Необходимости теснит – Свобода.

Пишу непонятно какого жанра стихи о Твардовском. Когда воспоминание захватывает и ты заново живёшь, то образуется новая реальность, очень заманчивая, не буквальная.

Да будет то, что быть могло,  
 но в силу недоразумений  
 буквально не произошло.  
 Да здравствует душа явлений.

Ведь почему память не отпускает?

Потому что неявленное, несостоявшееся и т. д. – сильнее, ещё сильнее того, что было, хотя и оно, бывшее, кажется невероятным на слабом фоне сегодняшнего положения вещей.

А 29-го – вечер Галактиона – сытое мероприятие, которое я переиначу по-своему.

Будем живы! И мир дому твоему. В. Л.

[1974]

Дорогой Игорь!

Очень тебя не хватало на вечере в Малом зале, хотя и полно было. Каюсь, что просомневался и не позвал тебя – теперь вряд ли они [ещё] дадут мне говорить.

Помнишь, ты мне говорил в связи с «Магнитным полем»: есть какой-то звук. Олег Чухонцев говорил: тон. Теперь это стало словами и не перестало, думаю, быть звуком и тоном. Сегодня, бегая на зарядке, подумал: всё то, что ratio,

во-первых, вскормлено жизнью, а она вон какая, а во-вторых, это сгорает без дыма, а в пламени ты ничего не знаешь и ни о чём не думаешь – а знания и мысль у тебя в руке, в пальцах. Я сравнил бы это с цирковой ловкостью – но не буду.

Всё хочу как-то высказать: пришла хорошая полоса жизни. Гамлет думал – думал – и мысль разрешилась прямым ударом шпаги – и убил гениально не того, как бы вернув прямоту в прежнее состояние извилин.

Твардовский коренился – коренился, разрешаясь всегда прямою тона и приходя к словам и поступкам постепенно-постепенно – и его свалили силы идиотизма. Что же происходит, Игорь, с нашим поколением? Какой рисунок может выразить существо дела. Или мы – только корни? Лично я этого не скажу, даже посетую на слабость корневой системы.

Но я опять не о том. Пришла какая-то новая полоса... Или я впереди многих и это чувствую – или я ошибаюсь? Ничего не изменилось, мой рот зажимают, как зажимали, – и всё изменилось!

Ладно. Посылаю тебе незаконченные стихи о Твардовском. Кланяюсь Тамаре. Будь!

*Володя.*

Стал искать Твардовского – и захотелось всё тебе послать. – Посылаю.

[1974]

Игорь, дорогой!

Ты написал мне несколько слов прекрасно точных. Ты услышал, знаешь, чего? – Знаешь, потому не объясняю. Но я очень рад и снова рад этой редкости понимания.

Посетовать на глухоту людей я не могу. И знаешь, вовремя это. Не потому, что

Магнето прошло темной.  
Нас кто-то догнал на моторе.  
Дорога со всей прямою  
направлялась на крематорий<sup>16</sup>,

а потому, что со всей прямою она направлялась от души в душу.

[...] Пора говорить просто – вещи простые, заветные, уже обеспеченные и переобеспеченные путями путанными...

Приходит время совершенства перед отцами и старшими братьями: мы не можем себе позволить того, что они позволяли себе, а мы им поневоле. «Мы» – это о людях постепенного темперамента, о Гамлетах в 40 лет, которые не имеют права пролить ни капли крови – и обязаны уговорить мир быть лучше. Пусть не улыбается никто этой формуле. Пусть поклонится слову, которое встанет в этот уговор – каждому. И нет различия, когда говоришь – человеку одному ли, многим ли. Нет такого – вот ведь что просто. И ни «малых», ни «великих». (Это моя давняя религия.)

Я раскалывал крепких чиновников – и смотрел *человек* из чиновника. Я говорил серьёзные вещи детям. Умнейшие вещи выслушивал от бесидников в наших избах...

<sup>16</sup> Цитируется поэма О. Челидзе «Мое магнитное поле» в переводе В. Леоновича, опубликованная в журнале «Новый мир», 1974, № 2. В том же году книжка «Мое магнитное поле. Поэмы» вышла в Тбилиси, в издательстве «Мерани». Поэма о судьбе современника, пережившего войну.

Есть сфера, надо её притянуть, распространить как смысловой ключ... Не то – слово. Есть ангел, который пролетает где знает, – и тогда даже чиновнику больно... Он опоминается ото всей жизни. Не ребенок – а взрослый человек говорит ему так, что обмануть его нельзя, что о малом думать не хочется.

Я бы сказал, что это момент парадокса в отношениях людей, и что в парадоксе есть сила ядерная, сокрушительная, но добрая. Когда-то меня в детстве потрясла кончина Жавера из «Отверженных». Добрая сила столкнула этого человека в Сену. (Неловкий парадокс!) Это куда я заехал? Ага, уговорить людей. Ну правильно. Это и ответ тебе: будут ждать грозы, грома – а услышат простое слово, от которого отвыкли. Но это когда? Невидимо далеко, доживу ли? Хватит ли меня?

Два слова о поэме. Сюжет там был – осталось почти ничего. Вся вещь была вольготная, капризная, с отступлениями, притчами, умолчаниями (гармоническими). Много чего было. Был отец – с характером. Учитель – тоже, и мальчик, и Лола.

А мама стоит в стороне от эпохи,  
и чёрного платья недвижны складки, –

чтобы всё вокруг неё обращалось.

Отец был в каторге, глядел насупясь на Иосифа. Когда арестовали учителя, ходил по ЦК, сам угодил в те места.

[...] Это видения мальчика. Отец-то каторжный, а мать за ним ездила,

жила каторжанкою в слёзной близости  
мольбою одной: Сохрани и спаси!  
И мальчику виделись странные сны,  
предания жизни тюремной.  
Не тронуты правдой подземной  
и возрастом защищены  
Отар и его однолетки.

[...] Вот приняли меня в Союз – я там примусь, как дерево, а как растенюсь – видно будет. Нечего об этом писать.

Посылаю тебе стихи о Кузьме<sup>17</sup>. Для меня честь напечататься в «Сев[ерной] правде». Напечатаешь – хорошо (без купюр бы!), нет – отдам в «Нов. мир». Вещь без злобы дня, печатная. Но если будет какое-то неудобство перед костромичами – не надо тогда. Черкни мне сразу об этом.

[...] мой Коля Герасимов, который в МГУ поступил, вчера был в Колонном зале. Был вечер Галактиона<sup>18</sup> – и ваш покорный слуга затмил всех. Грузинская Фурцева (Вика Сирадзе) чуть не со слезами говорила слова. Расчувствовались и те, кто приложил руку к убийству [Галактиона].

Будем живы! Привет Тамаре сердечный, погладь по головке детей. В Костроме надеюсь быть через месяц.

Твой В. Леонович.

<sup>17</sup> Стихотворение Леоновича о сорокалетнем крестьянине Кузьме и его любви называлось «Мастер». Сохранились заметки Дедкова, подготовившего его к публикации в «Северной правде», но, вероятно, публикация не состоялась.

<sup>18</sup> В.Н. Леонович на вечер, посвященном Галактиону Табидзе (1892–1959), читал русские переводы произведений грузинского поэта и собственные стихи.

[Декабрь 1974 (?)]

Дорогие Игорь и Тамара!

С Новым годом вас – и всего вам хорошего!

Игорь, я писал тебе – письмо или два – и записку с Валей Мильковой, моей ученицей. Сам же продолжаю свои перелеты и не знаю, есть мне ответ или нет и что у вас там в Костроме и как мои девочки. Летом положил рукопись второй книги в «Сов. писатель», до сего времени.

По прихоти своей скитаюсь здесь и там, немножко перевожу и готовлю себе смену на этой ниве. Писал тебе о твоём Акакии; «Современника» с твоей статьей не видел – вахлак есмь.

Как-нибудь выберусь в Кострому, что-нибудь весной. Писал о Бекишеве: пока глухой отказ в «Юности», просил ещё стихов – и для себя, и для второй попытки в журнале.

Перевёл очень хорошие и очень «русские» по интересу стихи Шота Нишнианидзе – работа незряшная. Галактион копится ко второму приступу. Месяц занимался киргизским классиком Алыкулом Осмоновым, почти Галактионом тамошним, но с налёту, без почвы, и потому вышла словесность, обычная продукция Гослита. Сейчас поеду в Калязин, попробую составить свою грузинскую книгу. Если я не могу написать роман в стихах, то могу его составить из них. Так они и просятся – и свои, и другие свои, т. е. переводы.

Минуют немалые годы,  
пока утвердятся в правах  
иные стихи-переводы,  
как чудо о двух головах.  
И глазом моим очевидца,  
который присягу даёт,  
я вижу, как шея ветвится  
и нечто тако-ое растёт...  
И в мире не будет длиннее  
и не было шей, чем сейчас,  
и нету лишь Карла Линнея,  
закона и сметы на нас.  
Вино подаётся на розлив,  
и чокнуться надо и пить.  
Единую душу разрознив,  
нельзя ни одной погубить.

С грузинами заключил договор на *Галактиона Леоновича* в 5 листов... Что ему Гекуба – поди разберись.

Черкни мне на Калязин – до конца января буду там.

Обнимаю вас. *В. Л.*

[21 октября 1975]

Дорогой Игорь!

Это я. Не помню, когда писал тебе последний раз и получал от тебя. Собирался летом в Кострому, да плохо собрался. Сидел в Калязине, потом летал в Грузию на декаду...

Вместо декады была неделя – похоронная. Умер Шура Цыбулевский<sup>19</sup>, очень близкий мне человек, друг Булата Окуджавы и Гии Маргвелашвили (в последней «Литературной Грузии» о нём пишет). Тяжёлый месяц был в Тбилиси – ещё и потому, что как в молодости резко ощутил who is who, почувствовал себя в одиночестве. Видимо, иссякло прекраснотушие, которое посещает нас «за хребтом Кавказа» и длится порою очень долго.

Жить всё трудней. Почему? – думаю. Трудно стало переносить поруку (общественный договор) обязательной фальши, которая смазывает весь механизм отношений. И хороший человек, и всё, а глядишь, и соврал какую-нибудь чепуху, без нужды – так. Больше того: себя ловишь на том же. Иногда бывает забавно: знаешь, что сделаешь по-своему, честь по чести, а слово пробежит вперед, и уславливаешься делать как все. Почему? Какая нужда тушеваться? Проклятое рабское наследие. Не хожу в собрания: очень уж видно и очень слышно эту поруку. А когда видишь, что нет лица на человеке – пропало за 2–3 года – а было, и ты помнишь его, – вовсе уж плохо. (Эти перемены потрясают, – как и в другую сторону.)

21 окт. Писал вчера вечером – пошло не в ту сторону. Писать о таких вещах – много чести.

С этого места надо было бы зачеркнуть и продолжать. Это длится очень долго. Теперь в Грузию не тянет, а тянет в лес. Он свободен от слов, а говорит мне всё больше и всё более внятно.

Только я не охотник в лесу:  
слишком вижу красу  
то театра, то храма –  
открыто  
совершаются величайшие драмы:  
вижу Лира,  
узнаю Ишполита...  
Природа смела  
в каждом сдвиге.  
Отделите добро ото зла –  
будут книги.

Из Грузии – три дня был в Москве – уехал в Карелию. Открываю озёрную школу – закрываю переводы. В манифесте – Батюшков и Боратынский, русская северная вольница, бабка Лиза Калинина...

Вордсворт уже есть (Ян Гольцман), Колридж есть (Леванский), Саути нет, и не надо. Байрон маячит на горизонте и никогда не придет (Величанский).

Прожил на Пелус-озере месяца полтора, пытался совместить переводы из Отара Челидзе с образом жизни на озере. Всё же совместил. Переводы сдал в «Сов. писатель». А тебе посылаю книжечку Нишнианидзе. Пока ещё они меня печатают, но переводы у меня под рукой делаются всё более обязательными и отчётливыми в своей цели – т. е. невозможными к печати. Это подтверждается вот сейчас, с Отаром Ч[елидзе]. В «Сов. писателе» мою книгу зарезали (недорезали на всякий случай), в журналах... тьфу!

<sup>19</sup> Цыбулевский А.С. (1928–75) – поэт, прозаик, литературовед. В 1948 г. был арестован за «недонесение» на студенческую подпольную организацию «Молодая Грузия». Освобожден и реабилитирован в 1956 г. Работал в Институте востоковедения АН Грузии. Автор эссе «По ту сторону подстрочника» (1974) о поэтических переводах Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Заболоцкого.

Мне говорит природа,  
печаль свою дая,  
что есть ещё свобода  
и в капле янтаря –  
она совсем другая –  
крылом не шевелит  
и смотрит не мигая  
и больше не болит.

Этого хватит, но ты как-то говорил о неучастии в нечестивых делах. (Серёжка говорил, что пример его не задевал) – ещё там была строфа

Ещё вернется время,  
в котором ты погиб, –  
движениями всеми  
столь совершенно влип.

Пишу это и вычёркиваю, т. к. вся душа против мученичества, которое, оказывается, продиктовано всего лишь темпераментом. Я за черновую работу совести (как видишь, сопряжённую с диким юродством – пусть!) Эта работа имеет объективное значение, как бы ни ранило нас всё, что сверх неё или ей вопреки. (Даже думать – больно.)

Прочел на днях Шукшина – книгу про Стеньку Разина... Нет, напишу отдельно – ты мне черкни, читал ли.

В Москву вернулся 25 сент. У Сергея на могиле ребята были – 8-го. Метнулся в Калязин, через 2–3 дня опять туда же. Студентка Нина Большакова иногда мне пишет. Она будет спасать русский язык от прогресса. Очень нравится ей древнерусская литература («не такая уж и древняя») и старославянский язык<sup>20</sup>.

Ладно. Будем живы! Тамаре – сердечный привет.  
Твой В. Л.

### [Ноябрь 1975]

Дорогой Игорь! Все пишут дорогой – а я думаю так. Ибо всё было верно и подходит уж к последней, длинной или короткой, прямой, и остаётся только дорогое, если вообще что-нибудь остаётся.

В поздних друзей я верю, так же как в позднюю любовь. И тут Женя наш Евтушенко не прав. Ну ладно. Опять пишу тебе грустную весть: умерла мама Серёжи. Это случилось в начале октября. Отмучилась она. Мужа похоронила полгода назад. Семьи – нет.

Чисто вымела старуха... Я видывал, как она косит...

Приходили ребята. В скорбную и ясную минуту уговорились мы с Юрой Апенченко навестить тебя зимой. Если этому ничто не помешает, так и сделаем.

На днях уеду в Грузию. Посылаю тебе несколько переводов Галактиона в продолжение того разговора и в утверждение смысла этой моей деятельности. Книгу пришло из Грузии.

---

<sup>20</sup> Бывшая ученица В.Н. Леоновича работает сейчас научным сотрудником в музее-усадьбе А.Н. Островского «Щельково». (Примеч. 2014 г.)

Можешь печатать что хочешь – и отдай комсомольской газетке, там ответственный секретарь, девочка, меня просила чего-нибудь. Послушай передачу первого числа в 2 часа. Если не вырежут, я там почитаю.

Тамаре, детям, дому...  
Твой В. Леонович.

[Ноябрь 1975 (?)]

Дорогой Игорь!

Москва бесснежная, ветреная, пыльная. День не хочет рассветать; за столом сижу и не знаю, сплю или нет.

Вчера был в Третьяковке на выставке автопортрета: счастливая мысль и огромная экспозиция – видел ли ты? Хорошо заканчивается – нашими ровесниками, Попковым. Земля наша талантлива, и время не пусто. А если не видел – приезжай снова: ради таких событий надо бывать в Москве.

Только что вернулись из Челябинска и Златоуста. В Челябинске живет Сергей Борисов<sup>21</sup>, запомни это имя. Лет ему 35–36. Перепишу 1–2 стихотворения.

[...] Переписал 4 стихотворения, почти не выбирая из рукописи.

Покойно так пылая...

Мы приходим к этому синтезу, когда узнаём то, что знать нам отпущено. Неправда, что познание безгранично, – надо угадать свою меру...

С. Б. чем-то напомнил мне Серёжу Дрофенко, что-то и моё сказал – как умный младший брат, – но по-своему.

На вечере я читал всё, и серого волка, о чём сожалеть поздно. Опротивело современное хамство, опротивел чистоган – всё то, о чём знаем только мы, современники для великих и малых, несомненных и крайне сомнительных.

Жаль, что не дописал о Твардовском: тут нужна полная картина – тогда и портрет получится.

Книгу свою с двумя рецензиями (+ –) взял из издательства «СП» давно – нести обратно мешает (объективно недостойное) чувство безразличия.

В Киеве от родного отца, которого впервые увидел я вот только что, в ноябре, я узнал, что одна моя бабка была Мицкевич. Хочу думать, что происхожу от Адама. Ибо откуда же тогда серый волк

и на родимом лоне  
по родине тоска

и всё это противление крови холопству и рабству, растворённому в нашем быту? (Ещё вспоминаю первое впечатление от его «Крымских сонетов» – совершенно родное что-то, воля...)

«Костромею» – да не обидит тебя, это совсем о другом – о летаргии русской деревни, об успении её, о дебилах, о водке галичской и т. д. Я знаю, какой гений умирает. Коля Рубцов знал, Яшин знал и те лучшие, о которых ты пишешь. Того, что умирает, уже не будет. Должно быть что-то другое.

<sup>21</sup> Борисов С. К. (1940–2013) – поэт, переводчик, режиссер агитационно-художественных театров, профессор Челябинской госакадемии культуры и искусства. В 1980 г. в Челябинске вышла первая книга его стихов «Свет вечерний».

Во что-нибудь да просочится чистая основа – как Пушкин, например, – во всех нас. Но Пушкина А.С. не стало. Не останется и деревень, где я жил, старух – матерей моих...

Л. Григорьяна не знаю. Читал там-сям что-то отрывочное, хорошее. Мориса П. знаю, очень талантливый художник и поэт, но с уклоном к «доступности». Грузинская эстрада наводнена его песенками... Ну и хорошо.

В Москве пока побуду, есть дела, и в Грузию – поближе к весне. Книгу издавать буду там. (Но какая лень! То, к чему так стремятся, и я сам когда-то, – так этого не хочется!)

Привет вам всем! *В. Леонович.*

**[1 февраля 1976]**

Дорогой Игорь!

Ты жив и меня помнишь – это прекрасно. Открыточка твоя путешествовала и добралась ко мне в Карелию. Спасибо тебе за поздравление и пожелание хорошо писать...

Очень меняется состав того, чем пишешь, в 40 лет. Приглядишься – и чернила будто белые – в их составе всё как бы давно известно-преизвестно, – что тут делать! Или такая полоса? – что ни возьмёшь, – ото всего скука. Есть у меня один приятель, говоришь с ним, только заикнёшься объяснить – он уж кивает: «понятно, понятно». (Иногда и мне не понятно – а ему понятно тут же.)

Прозимовал я тут месяца полтора, дивясь божественным природы красотам, завтра еду в Москву для некоторой деятельности. Ближайшие месяцы принадлежат Галактиону – здесь ничего не перевелось. Виновата зима и тетеревиная охота.

Получил ли ты мою книжечку, где переводы Нишнианидзе? Ничего не пишешь – если не получил, pošлю ещё.

В Кострому очень бы надо – повидаться, оглядеться по сторонам – за столом сидя... А ты в Москву не собираешься? Февраль проведу дома и рад буду, если приедешь и зайдёшь.

Будьте живы и здоровы ты и Тамара, и дети.

Ваш *В. Леонович*

*1 февраля 76.*

**[12 июля 1976]**

Дорогой Игорь! Привет тебе и всем твоим.

Спасибо тебе за Нину Павлову<sup>22</sup> – её мне не хватало, ибо на наше поколение я гляжу не только печально и рад каждому оправданию своей веры – в нас, грешных. Аз, худой и недостойный, живу всё так же – перелетая с места на место, лихорадочно записывая что-то, надеясь привести в толк свои ощущения – когда-нибудь. Хочу покоя – библиотеки и дома – чтоб вызрела – ересь... Всё же – так.

Перевожу – дышу со свистом в этих импровизациях – по необходимости и не знаю, во благо ли. Но Галактион мой должен быть. Это будет странный музыкальный резонатор – всему нашему эфиру, всем, кто слышит. Надеюсь.

---

<sup>22</sup> Павлова (Деревянкина) Нина Александровна, р.1939, окончила факультет журналистики МГУ, в 70-е годы была корреспондентом «Комсомольской правды». Писатель, драматург (пьесы «Вагончик», «Пятое колесо», книга рассказов «Пасха красная»).

Гармонией поверит нашу пестроту..

Тьмы низких истин, позволю себе сказать, мне дороже одна высокая. Она в том, что не могло не быть такого поэта – сквозь такое время. Это идея, а обросла роскошно, по-грузински. Видишь ли, есть звук и тон вне цензуры общественной и нашей внутренней, усвоенной для самосохранения. Этого убоился подставной герой Сальери, которого грех гения выводил из системы. Не имею ничего положительного – но как хочу вывести из системы тех, которые уже ничего не ждут, которые забыли, зачем они раскрывают книгу или рот раскрывают.

Свобода берет своё. Сейчас перепишу тебе стихи, набросок. Так, к слову.

Пошёл, пошёл по тропам  
на Север наугад.  
А чёрный цвет потрёпан.  
А серый сероват.  
Ищи – глухую – волчью  
свободу – и конец –  
но кровию и желчью  
не соблазни сердец.  
Свобода – как погоня –  
всегда, всегда близка  
.....  
по родине тоска.  
В заплёванном раймаге  
и в подзаборном сне  
покорные дворняги  
тоскуют обо мне.

Придумай строчку мне, а то там была сердечная агония – врёт.

На днях еду мимо Костромы – в Кировскую область – плотничать. Устал от бумаги и от долгов – а есть и кроме того, о котором говорить нечего.

В Костроме сейчас в профилактории (Щемиловка, 21) до конца июля лечится один замечательный старик, Борисов Авенир Петрович<sup>23</sup>. Это мой друг по Вохме, друг Александра Яшина и бывший друг Аралова (имени не помню). Что сказать о нём? Ну, наверное, я был бы таким, как он сейчас, если бы жил столько, сидел столько. Если будет час, навести его: на старшее поколение я тоже гляжу с надеждой, потому что живы такие вот люди.

На вечере памяти Заболоцкого выступал Македонов, ленинградец. Ах, как хорошо! Моложе всех молодых. О нём как-то говорил мне Твардовский (будто М[акедонов] обо мне говорил), но мимо ушей прошло – ничего я не читал.

Будь здоров! Писал бы тебе ещё столько – по гладкой бумаге – да много дел на этот день.

Тамаре поклон и всё это послание.

Ваш В. Леонович

12 июля 76

<sup>23</sup> А.П. Борисов – педагог, работал в Вохомской школе-интернате, руководил самостоятельной драматической студией в Вохме.

[17 августа 1976]

Дорогой Игорь!

Приветствую тебя из Москвы. Только что вернулся из Спасского села, где работал в бригаде строителей. Давно хотел, чтоб дальше некуда, да всё не мог, боялся, что сердце слабое. Ничего, оказалось. Окреп даже. Вот мои санатории... Подожду хорошего часа и напишу тебе что-нибудь из той точки. Сейчас ещё восторг мешает и некоторые готовые рефлексы. Это – проба и дело серьёзное... *Nic salta!* Чувствую это, но и только. Не знаю, не знаю... Я всё ещё иностранец в родной избе и марсианин в русском поле. Язык буквально отнимался. Нет, не буду – потом.

Прочитал статью Стасика Лесневского, спасибо ему. А что, составил ли ты книгу статей, возможна ли книга такая? Или статьи составят критическую массу? Хочешь камертон из Пастернака? –

Там он жизни небывалой  
Невообразимый ход  
Языком провинциала  
В строй и ясность приведёт.

(Но всё больше склоняюсь к тому, что строй и ясность – сверху, и хаос работает как внешняя вода – там [нрзб.], там урывина.)

Напрасно я бегу к сельским высотам – всё чаще повторяю...

Впрочем... строй и ясность не должны ли заключать неизбежных провалов? И то – и то... Разность лишь в том, что первое тобой выжито и сотворено – а второе тебя выживает, и предусмотреть ничего нельзя.

Посмотри «Лит. Грузию» № 7 – там Отар Чиладзе – промозглая лирика. Попытка ясности и собранности там, где хаос шевелится. Вся подборка – экстраординарная в привычном потоке... Жаль, что некоторые вещи не прописаны. Но подумать и подышать нам – Отару и мне – удалось. В Гослите идёт его книга, и эти вещи там пока есть. Но Г. не выдержит их. Отар – наш ровесник, у него несколько поэм и два романа, один уже в подстрочнике, от которого в восторге NN и NB... А дело простое и золотое: он [нрзб.] себе грузинский фольклор – там же бездна красоты и мудрости...

А я возьмусь переводить 70 баллад Отара Челидзе (Челидзе – Чалидзе – какая теснота!). Одну уже перевёл: неверный любовник поднимается по верёвке в башню к Лоле, а та накинула себе на шею петлю – и он как раз её задушит, когда взберётся. (Как всё у них выражено в жесте! Какая иероглифика!)

Получил ли ты моё письмо с вырезкой о Борисове? Познакомились ли вы? Черкни мне, пока я в Москве. Всего! Поклон Тамаре.

*В. Л. 17 авг.*

[Ноябрь 1976. Из Алма-Аты]

Дорогой Игорь!

[...]У меня остаточный рефлекс юности: если я чего-то не сделал – никто не сделает. Ну ладно. Перед отъездом в Алма-Ату видел в ЦДЛ Злотникова, он меня облобызал и записал на клочке бумаги фамилию Бекишева, обещав усиленно проследить и т. п. А ты, если это ему ещё не в тягость, попроси Б. прислать мне стихи – с ними я ещё напру на эту мякоть Зл.

С радостью вспоминаю твоих ребят – воздух, который устанавливается в литературном объединении. По моему, вы друг другу нужны – ты им, они тебе. Что касается меня, то я не договорил им ещё на два занятия, по крайней мере, – рассчитывай на меня как на должника. А я буду уже знать, что кроме всего и всех в Костроме ещё есть твои ребята.

Возьму да перепишу для них вечер, посвящённый Пастернаку, был такой, очень примечательный.

Т. е. перепишет мой литсекретарь – прошу не улыбаться – которого я оформляю с будущего года. Девочке нужно заняться своими делами и бросить работу. Но на этом месте я размышлял об административной энергии, которой у меня нуль. «Третье дело поэта»<sup>24</sup> никак не идёт – не с того ли встали и первые два? Одна деталь: рукопись в «СП», которая мытарится с 74 года («Нижняя Дебря»), последние полтора года, оказывается, провалялась в шкафу, забыта быть отправленной к Винокурову на 2-ю рецензию, и если бы не мой друг Вал. Краско, так и валялась бы там. Фогельсон меня призвал – мы пожаловали – и сердечно обматерил. Спасибо, говорю, Витя, ты прав, девочки меня и в лицо не знают, до моей ли им «Дебри»? Кстати, название надо другое (сам хочу), а то уж больно Ключевское и просто неверное. Я сын асфальта, чёрт бы его побрал, в дебрях мне не до стихов, дебря – тропа Спасенья, а я его не ищю. Впрочем, сказал глупость – где какое спасенье?

В карельской деревне, знаешь, как тяжело? Сто лет назад это были обжитые места – и человек, и природа имели смысл, а сейчас имеют план, а земля запустела. А что, Игорь, есть ли среди писателей такой ум, который мог бы доказать, что объективно-разобъективный и многовековой процесс разрушения деревни и исчезновения деревень есть процесс пагубный для людей, природы, культуры?

Нужен сейчас какой-то НЭП, чтобы угнетённые городом крестьянские дети (но также и дети асфальта) возвращались и затевали бы крепкие хозяйства. Я таких людей знаю, хуторян, а не колхозников. Хороший хутор лучше плохого колхоза. На это надо пойти, демагогически оформить, если уж мы жить без вранья не можем. Тогда действительно появится хозяин как клеточка жизни, а не вождь-леный призрак. Ах, Твардовский, не хватило тебе веку! А и надо ведь немного – не мешать людям ковыряться в земле.

Я слово позабыл, что я хотел сказать.

Слепая ласточка...<sup>25</sup>

Здесь предгорье Заилийского Ала-Тау – живу под горой, взбираюсь наверх, какая красота, да ещё собираю яблоки.

Тут глубокая осень, такая глубокая, что всё остановилось. Над степью – море отработанного Алма-Атой воздуха стоит. Город спасают деревья, но это – до поры. До поры, когда начнём дышать углекислотой. Такие особи уже появляются – им душно на чистом воздухе... Пока! Тамаре привет!

[1977]

Дорогой Игорь! Гамарджобат! От Нового года ничего от тебя не поступало, пишу тебе второе письмо и на сей раз не без корысти. Она вот такая. Поэму Отара

<sup>24</sup> См. статью А.А. Блока «О назначении поэта»: «Наступает очередь для третьего дела поэта: принимаемые в душу и приведённые в гармонию звуки надлежит внести в мир». (Примеч. ред.)

<sup>25</sup> Начало стихотворения О.Э. Мандельштама. (Примеч. ред.)

Челидзе выдвинули грузины на гос[ударственную] премию, Гия Маргвелашвили написал небольшую тостообразную статью – была в «Литгазете», тут ещё пишут – и я решил проявить активность и пишу тебе.

Поэме этой много отдано, её, в общем, должны читать, и даже разные читатели. Премии, я думаю, ей не дадут за грехи – но вдруг, если будут читать всякие члены, вдруг их что-то и заберёт? В это время и надо им сказать, какая она хорошая. Рубрики – на премию – везде готовы и пустуют. А тебе эта вещь тогда понравилась – пусть её переиздадут по-человечески, а? Журнал её сильно урезал. Книга Гии Маргвелашвили ещё в инстанциях страха.

В Москве был на чтении Юрия Кузнецова – очень есть сильные места в его стихах.

Повсюду – замечательный интерес к Шукшину, пронял он всех. «Наш современник» купить невозможно – пиши в какой-нибудь «Новый мир». Мне чем дальше, тем больше некуда писать... Что Бекишев? Черкни мне в Тбилиси, до востребования. Тамаре сердечный привет. Твой *В. Леонович*.

[Июнь 1977]

Дорогой Игорь!

Гамарджобат!

Вчера прилетел из Тбилиси, на днях мечтаю кануть в Карелию. К сентябрю должен своротить гору – положить на стол книгу Галактиона. Года полтора был затор, теперь пошло. Оссиан родится на свет – с тою разницей, что мой миф ходил по земле – в рубище и с орденом Ленина. Чего только не было на свете в наше время!

[...] Вышел № 5 «Дружбы народов» с моей статьей<sup>26</sup>, где пропало несколько точек над *i*, не более.

Например: порыв безумия, или величайшей Трезвости, выбросил Г[алактиона] из окна больницы. Подчёркнутое пропало, но осталась причина: защитил доброе имя друга. Или: вот когда Лир стал походить на Галактиона, тогда Белла... Жаль, что пропала эта инверсия. Там что-то есть.

После Галактиона думаю перевести книгу баллад Отара Челидзе. Сочинил заявку на свою книгу в Грузии, материала для которой наберется листов на 20–25.

Дописал мемуар о Твардовском – хочу победить твой скептицизм в отношении к нему. Эти стихи и многое другое читал на своем вечере 20 апреля.

И мир худой и братью нашу  
на две свободы расколол.

[...] Дошла ли до тебя книга Маргвелашвили «Несгорающий костер»? У меня рука не поднялась посылать её тебе в искаленном виде. Её пришлет тебе Гия.

Еду в Карелию: Пудожский р-н, п/о Усть-река, д. Пелус-озеро.

Будь! Тамаре поклон. *В. Л.*

[1977]

Дорогой Игорь!

[...] Я в Карелии, но ненадолго. Буду писать статью к 1000-летнему условному юбилею русской литературы и сидеть в Исторической библиотеке.

<sup>26</sup> Леонович Владимир. Переводчик, сломай карандаш! // Дружба народов, 1977, № 5.

Не волнуйся, ради Бога, скупостью В. К. – нашёл предмет...

Видел № 10 «Лит. обозрения»<sup>27</sup>. Спасибо тебе – всколыхнулось прожитое в этой поэме. Её ещё будут читать (а в своё время зарубили в «Сов. писателе») – а можно будет и спеть, и станцевать. Есть сюжет, есть чувство, есть пища уму – только не поленись. А сам Отар нынче чуть не лезет на кровлю, рад: живой человек. Но об этом – потом.

Переживаю глубокую осень: ничего не делаю, жду снега, не могу видеть Провинцию-77... Задворки временного процветанья.

Будем живы! В. Л.

### [Октябрь 1977. Из Карелии]

Дорогой Игорь!

С благодарностью, с долгими паузами прочёл твою статью о Константине Воробьёве<sup>28</sup>. Как бы порадовался – будь он жив – этот человек.

Ты очень много сказал, чуть более матово, чуть поглуше, чем к тому располагал и материал, и стиль К. В. – но так верно, так кстати, так неумолимо мотивированно и с таким тактом правды.

Слабого не соблазни  
истина дурна и дика  
фальши затяжное иго  
милосердию сродни.

В лучшие моменты в тебе всплывает торжественный словарь... Не умею об этом сказать, но знаю счастье, когда он всплывает. Помнится, я упрекал тебя в ровности стиля, когда ты слишком ровен был – в статье об Акакии Акакиевиче. Гоголь требовал чего-то другого: воли слову, которое, как собака-ищейка, чутче и зорче. (И потом – интересно: выпустить слова, если есть у тебя точка, с которой ты можешь судить и оценивать, – что они там сообщают.)

Статья о Воробьёве отсылает сразу – и только – к жизни. Я-то говорю, но когда читал, мне и в голову не приходила мысль о твоём мастерстве – будь неладно это словцо, фиговый листик. Когда читал, были паузы, и я обитал в них, как это бывает, когда художник освободил себя от обыкновенной работы восприятия и соображения вещей уже соображённых – и дал тебе высшую форму духовной жизни – созерцание. Я убеждён, что в этом – все начала. Все мысли, все поступки, которые сведутся в судьбу, – всё от этого. И всякий строй, всякое категорическое повеление.

Он положил тебе новое начало. Отдаляясь от известных событий – мы преобразуем их. И то действующее, преобразующее – сила художника или человека.

О, историк, пособник и враль,  
ты ответишь мне за герцогиню  
де Ламбаль, де Ламбаль, де Ламбаль!

<sup>27</sup> И. Дедков опубликовал рецензию на книгу поэм О. Челидзе «Мое магнитное поле» (Тбилиси, 1974) и его сборник стихов «Арсенал» (М., 1976) в журнале «Литературное обозрение», 1977, № 10.

<sup>28</sup> Дедков Игорь. «...До конца дней своих». Проза Константина Воробьева // Наш современник, 1977, № 6.

Ты ответишь мне за герцогиню. Так говорит Величанский, но таких условий справедливости, исторического возмездия я ещё не знал.

Быть в обществе Сыромукова – пройти с ним по улице, подождать такси, побывать в палате, послушать его, помолчать... Быть вместе с ним – значит созерцать это чудо: отношение жизни и личности. (Когда-то в юности я думал: напишу роман о том, как вышел из дому, перешёл дорогу, купил хлеба и вернулся обратно. Несколько слов, нескольких людей в очереди, нескольких мыслей – через дорожных – хватит на роман.) И конечно, жест здесь будет праздником. Ведь всё же им говорит Бесконечность. Личность потому и личность, что не завершена, что отдалается её понимаемое ею начало, и раздаются пределы среды – и совершенно неясно, как быть, – и весь твой состав решает это заново (всеми составами – сказал бы Гоголь). Жест выносит решение. Я много думал об этом – в связи с Галактионом и вообще всем грузинским – когда театр и жизнь – одно.

Грузинская фразеология – некое небесное действие – с такой земной терпкостью – местами...

Я сказал: выносит решение. Нет – оказывается, жест его вносит.

Когда я прочитал эту вещь К[онстантина] В[оробьёва], я заново обозлился на хамство и на всё убивающее таких людей, как С[ыромуков]. Моя реакция была реакцией слабого человека. Ты мне вправил мозги – спасибо. Я стал видеть его, Сыромукова, а уж потом всё остальное – и оттого хамство стало ничтожнее, как и полагается ему, по сути, быть. (Хорошо бы сохранить эту верность в оценке хамства, когда оно будет тебя добивать.)

И всё прекрасно слилось – не сливаясь – Воробьёв, Сыромуков, люди, какими он вырос, – и ты со всем этим.

И вот я вижу это ясно – на сегодняшний день – как то, на что есть опереться – что есть праздник – подвиг по своей воле, и есть родство человеков, и надо вести себя прилично в тёмный час – и многое другое. (А действительно, шаг ступить, когда умеешь ходить, – тоже ведь праздник.) Новые этические условия, оказываются, в таких понятиях-ощущениях, как собственная осанка, рабочее состояние тела и души, чудо размеренного дня – посреди ужаса твоей совести. Тень Савонаролы...

Терпение и мужество: ещё не вышел срок.

На всём пространстве ужаса  
остался островок.

Увижу землю милую  
и доплыву до ней

уже последней силою – нелепости вещей.

Обнимаю тебя – Тамаре поклон – ваш В. Л.

P.S. Письмо пролежало недели две. Оно не выражает и десятой доли того, что я хотел бы сказать – увы. Но посылаю как есть. Скоро буду в Москве.

[1978]

Дорогой Игорь!

Посылаю тебе книжечку Петра Краснова<sup>29</sup>. Встречай её по обложке, а провозить не провожай. Этот писатель есть и ещё будет. Всё постепенно и целюно

<sup>29</sup> Краснов П.Н. Сашкино поле. Рассказы. М., 1978. (Краснов Пётр Николаевич, р. 1950, писатель, живет в Оренбурге.)

вплоть до рассказа «Сашкино поле». Он один (и некоторые детали в «Буране») ещё говорит, что человек молод, что ещё в пору «Молодой гвардии». То есть не рассказ это говорит, а его присутствие в книге.

Я в Москве, занимаюсь неизвестно чем, хочу полежать в больнице, наладить сердце. А должен изо всех сил сидеть в библиотеке – ради одной древнерусской – древнегрузинской статьи. В Тбилиси к осени должен выйти мой Галактион – он отчетливее того, что вышел сейчас в Гослите. (Не достать нигде, вот напасть!)

Да, кстати – Краснов печатался в «Н[ашем] современнике», где несколько попортили рассказ «Наше пастушье поле», а «Шатохи» напечатали, кажется, как есть.

Ну хорошо, рад тебе всё это послать. Самое время сказать этому живому человеку – то, что сказать могут очень немногие – и ты первый<sup>30</sup>.

Будь здоров, черкни на досуге.

Твой В. Леонович

Тамаре мой поклон.

[Октябрь 1978]

Дорогой Игорь!

Есть ли у тебя книжечка Галактиона, вышедшая в Гослитиздате малой серией?

Получил твою открытку – рад, что Краснов тебе понравился, да иначе и быть не могло. Мне особенно дорого в нём то, что он договаривает, додумывает и живёт до конца каждого рассказа. А то у нас хороший тон – не договаривать и не додумывать или уходить в сторону, додумав про себя. Оттого столько безответственной беллетристики. О «поэзии» уж и не говорю – она на этом основалась и раздобрела.

[...] 9 сентября было 8 лет, как нет Серёжи. Я сижу в Калязине, пытаюсь что-то сделать для грузинской книги стихов, переводов и статей. (А книжка Беллы Ахмадулиной у тебя есть?)

Не совсем ещё пришёл в себя после больницы, перебои пока не проходят (нажил на еловых комельках в Вожерове). И вообще жизнь во мне задумалась о своих 45 годах.

Всего тебе лучшего – и всему твоему семейству! В.Л.

[1978 ?]

Дорогой Игорь!

[...] Только-только свалил с плеч 3000 строк Галактиона – как, земля дрогнула? – и теперь обращаюсь головой на милый Север.

У меня – к тебе – моя забота. Я подрядился написать для «Дружбы народов» статью – к туманному 1000-летию русской литературы. Ты когда-то удивился: куда я пошёл, переписав житие св. Мавры. А я никуда не пошёл – и умереть мне без покаяния – а просто родной язык начал во мне опоминаться. Что я хочу? Со свечой пройти по литературе, которая погребена под культурными слоями. Где мне блеснет поэзия – там и всем блеснет. А я видел кое-что... Чему суждено воскреснуть – воскресает изнутри.

... Утопическое воображение слышит тот Русский язык, который мог бы звучать сейчас, если бы... то русское самосознание, которое располагает гордой памятью всех своих мучеников.

<sup>30</sup> В 1981 г. И. Дедков написал послесловие к книге П. Краснова «По причине души. Рассказы и повесть».

Дорогой Игорь!  
 Какое дело тебе кинуться к Сергею Фролову.  
 Встретай её по дороге, а про-  
 бую не забыть. Тут  
 ищите ещё и свои виды. Все  
 попутные и чужие виды в  
 раскоя. Сашка вон. Он  
 один (и Кент. Дюк и Бураки)  
 свои попуты, в человек идет,  
 что свои люди. Молодые люди.  
 Это ещё не раскоя он попуты,  
 а его присутствие и кинуть.

А в Москве, как можно  
 купить чем, что и купит и  
 болонне, каковы сердас. А думает  
 го как сит сидит и делаются  
 ради этих предвещаний. Делается  
 гради. В Москве и осед  
 думет воню моем катарост –  
 от уверенней свои. и томил  
 ситас и кортас. (И думает  
 киде, как кинуть!)  
 Да, когда – красота ила-  
 расе и „В. Фроловские“,  
 где несколько попутных раскоя

А в Грузии в 78 году – 1500-летие «Мученичества Шушаник» – 1500 лет грузинской литературы.

Хочу как-то соотнести грузинскую память и русскую. Наука делает много – образование отстаёт – а литература? Кто хранит стиль?

Вот слышали А. Прасолова – Твардовский – И. Ростовцева – Кожинов. Вот очарованы Юрием Кузнецовым – не понимая, почему. А понять не грех.

Не напишешь ли мне чего на эту невнятицу? (В Москву.)

Всего вам прекрасного!

В.Л.

[Январь 79]

Дорогой Игорь!

Привет тебе и всем твоим – и всего доброго в наступившем году! Спасибо за новогоднюю открытку – моя была мысленная, это хуже.

«Вот в „Ваше изобретение“...»  
 „Мадри“ написаны, как будто как есть.  
 Ну хорошо, рад себе же  
 истра. Сили Фролв скрывает  
 свою тайну человеку — г.  
 в скрывает много оных кинуть  
 и от кинуть. Буди думет,  
 черех на думет —  
 Саша Л. Бураки  
 Мадри мое кинуть

Всё последнее время занимался грузинской книжкой – 10 лет работы надо втиснуть в 15 листов. Стихи, переводы, заметки по поводу – всё вперемешку, согласно сюжету, который наполовину прожит, наполовину сочинён. Когда дошло до вступительной статьи и пришлось словами выговаривать отношение ко всему этому, оказалось, что это Помысел, себя не исчерпавший, и что это проповедь – как определил её тон всех писаний, которые на стихи и переводы не делятся, не имея такой нужды, а имеют другую нужду: прямую речь. Ты это хорошо слышал – потому и пишу тебе это, отойдя от стихов и услышав их всех разом – издалека.

За этим томас-маннством скажу тебе такую радость: появилась книга Алексея Прасолова, вышла в «Сов[етской] России»<sup>31</sup>, – к небольшому числу современных поэтов, что-то говорящих, прибавился человек – жаль, что его уже нет. Статья Кожинава перед книгой – неважная, холодная.

В «Лит. Грузии» в №№ 10–11 идет проза Зои Маслениковой – заметки о Пастернаке: она лепила его портрет и 2 года записывала их разговоры. (Её судьба очень интересна сама по себе, надо о ней написать в добрый час.)

Собираюсь в Грузию, но не за лаврами, хотя там и выходит мой Галактион. У каждого грузина он свой – а мне – их дружная ревность. Но я имею дело лично с гением, о чём пишу в послесловии, дразня гусей.

Бессмысленные перестарки!  
Текло – да мимо – по усам!  
Душа его как лебедь яркий  
принадлежала небесам.

Мой Г. не выносит жизни – это жест – после того, как всё вынес. И себя – вынес в такой неожиданный простор. Задал задачу.

Несколько дней общался с П. Красновым – на даче, где я сейчас живу. Он написал еще 4 рассказа, из которых один я читал – очень хороший, называется «Мост».

Игорь, вот о чём хочу тебя спросить: не собираешься ли ты по примеру многих наших собратьев купить себе деревенскую избу-дачу где-нибудь под Костромой? Я собираюсь – как раньше собирался сам срубить избу. И лучше под Костромой, чем под Москвой. Нет ли у тебя чего-нибудь на примете? Есть ли костромичи – барбизонцы? Что-то ты мне говорил о местах Островского, я не помню. Какой-то писатель живет в Сумарокове, где живут летами мои родственники, – всё, что я знаю. Занимает ли тебя такая нужда? [...]

Будем живы!  
В.Л.

[1979]

Дорогой Игорь!

Посылаю тебе «Богему», кажется, с опечатками, извини великодушно. И притом похищенную и пе-ре-да-ри-ва-е-му-ю – т. к. нет терпения ждать, когда пришлют.

Только вчера из Тбилиси. Сдал Галактиона – с напутственным послесловием, озаглавленным так: «Ода вольности». Теперь что-нибудь – знаю, что – переведу из

<sup>31</sup> Прасолов А.Т. Стихотворения / Сост., вступ. статья В.В. Кожинава. М.: Сов. Россия, 1978.

древнегрузинской поэзии (проза – тоже поэзия, хотя бы от времени и нашего к ней участия), и готова будет и моя книга – 10-летнего накопления...

Странно разошлась жизнь – на две гряды... Нет, не умею сказать. Могу только спросить – себя: ты ли это? Стихия импровизации и прекраснотворения – одно. Немытая Россия – другое... Но тут не место об этом думать. Что-нибудь разрешится, я чувствую, тысячелетней русской и грузинской давностью. Всё конфликт с близорукой временностью.

Чувствую усталость, но, кажется, здоровую, – как в походе. А по мешку соскучился – мочи нет!

«Богема» – работа 7-летней давности, так что не обессудь. Обложка и голизна текста – в результате некоторых страстей грузино-армянских... Потом переиздадим. [...]

Пока! Тамаре кланяюсь. В.Л.

### [Декабрь 1980]

Дорогой Игорь, мне звонил Женя Сидоров и сказал, что благодаря тебе узнал о моих издательских «делах». Это неплохо: приезжает Игорь из Костромы и одному москвичу рассказывает о другом. Женя выступал на пленуме издательства (ты там был?), его поддержал Ваншенкин; Егор Исаев реагировал непонятно.

Получил ли ты письмо о Краснове? Вот о чём теперь хочу тебя спросить. согласишься ли ты написать предисловие к однотомнику Бориса Костюковского? (СП, 82). Я был вчера у него в больнице – выкарабкивается из инфаркта. Жалуется, что ничего дельного критика ему не сказала за всю жизнь. Александр Макаров собрался было писать целую книгу, да умер, написав, правда, замечательное письмо. Костюковский, на мой взгляд, хороший детский писатель, хороший дядька молодых и талантливых ребят, какими были в свое время Евтушенко, Преловский, Распутин, Шугаев, Вампилов – и многие вплоть до Краснова, теперь мужа его дочери.

И я был в этом ковчеге, но по-другому, сторожил дачу, когда негде было жить, а дел моих литературных устраивать не давал.

К[остюковский] – деятель и журналист, и это сводилось в конечном счете к помощи какому-либо человеку, к прославлению его заслуг или памяти. Журнализм этот – неизбежен, но он мирится с принятыми рамками (отчего и бывают инфаркты). Он, такой ли, сякой ли, действителен в жизни – чему я, человек страдательный, завидую.

В однотомник, кажется, войдут повести: «В горах Акатуя», «Куда прячется солнце», «Поездка к солнцу», «Земные братья», «Нить Ариадны» (?) – 48 листов. Черкни мне, как ты к этому отнесёшься, и о Краснове.

Аксёнов и Войнович лишены гражданства. Не знаю дел А[ксёнова], но в отношении В[ойновича] ча акция подлая и жестокая. Молодец Г. Владимов: «Меня увезут только мёртвого».

Будем живы! Привет сердечный Тамаре.

А Белла сказала (тоже слухи доходили): плюньте тому в глаза, кто скажет, что я уезжаю. Высоцкий пел: я не уеду, и не надейтесь, – я не уеду.

Посылаю тебе книжечку С. Борисова, ещё не читанную, а стихи знаю давно. Потом поговорим.

[Май 81]

Дорогой Игорь!

Рад твоему письмецу, жена мне его привезла, а я давно в Карелии – с 1 мая. Ты пишешь на Москву и спрашиваешь о книжке В. Быкова – отсюда следует, что ты не получил моего письма в бандерольке с книжками А. Баянова и О. Челидзе.

... Но если книги пропадают,  
значит, это кому-нибудь нужно...

А книжка о Быкове со мной – прочту и отпишу тебе. Там дорогая для меня надпись.

Передачу и я слышал<sup>32</sup> – стройненько, собранно. Единственная возможная добродетель в эфире. Молодцы, вставили и твои слова – я им отдавал мою «славу», которую собирала и хранила моя мама. Передача «Поэтическая тетрадь» повторяется – может быть, ты её услышал и целиком? – а у нас в деревне слышна только первая программа.

В Москве сдал, наконец, Л. Аннинскому свои древнерусские заиканья – не статью, а короткий ответ П. Мовчану на заявление о невозможности переводить древнее слово.

Но это не то, что я хочу сказать и что покуда откладывается. А то состоит в том, что в сознании первых наших книжников уже была великая поэзия Иоанна Богослова, переведённая на свежий древний наш язык Константином-философом (удивительная личность. Как-нибудь поговорим), и лучший дар – прямую речь – мы приняли как наше начало. Далеко же мы ушли...

Перед отъездом был в «Сов. пис.», говорил с Числовым, весьма ко мне благоклонным (до поры). Договора нет по болезни Германа Валикова, после чьего редакторского заключения это возможно. Удосужился прочесть наконец рецензию Преловского на мою рукопись – очень хорошая. А поэт П. непобедим (об этом мы говорили ещё с С[ашей] Вампиловым) – но как образцово-показательно П. суетится и функционирует... Выдумал идею продвижения России на Восток, покорения пространства, и возводит свод рыхлых поэм...

О Бекишеве я говорил с Натаном. А хорошо бы, Игорь, послать стихи в «Наш современник» Викулову – с твоими словами, дать хорошую подборку... Ведь видно, что человек дышит стихами и что дыханье сокращается в замкнутом пространстве.

Ладно, будем живы! Тамаре мой поклон. В.Л.

[Ноябрь-декабрь 1981]

...если ночь не светла,  
если ветер осенний бушует...<sup>33</sup>

Дорогой Игорь, только что закрыл твою книжку о В. Быкове<sup>34</sup>. Ночь, и верно, темна, и ветер напирает на окно. Свеча колеблется – чувствует через стену, как он летит. Озеро бьётся о берег.

<sup>32</sup> 30 апреля 1981 г. по всесоюзному радио в утренней литературной передаче прозвучали стихи В. Леонovichа в исполнении автора. Об этом запись в дневнике Игоря Дедкова.

<sup>33</sup> Н.А. Некрасов, из стихотворения «Рыцарь на час». (Примеч. ред.)

<sup>34</sup> Дедков И.А. Василь Быков. Очерк творчества. М.: Советский писатель, 1980.

Ты проделал колоссальную работу – не критическую, это само собой, а человеческую. Сам был там, на войне, и оттуда вынес лучшие мысли – нам в науку. Удивительно, сколько у человека сил: В. Быкова хватает на годы и годы войны – и какой! И ты причастился этому. Представляю, как трудно писать о войнах вообще, сопоставлять их... Выручает невесёлая мысль о том, что и «мирная» жизнь изобилует нечеловеческими положениями – и человеку так же трудно, и того же самого требуют от него обстоятельства.

Войну ты поставил на место, и надо вновь и вновь это делать.

«Лёгкое касанье пальцев – и серебристая сигара взмывает в голубое небо», – репортаж об учениях, фраза по радио. Я, когда вижу эти сигары, чувствую рвоту. «Нравственную тошноту», как говорил Толстой (в «Воскресении»), и просто желудочную. С Толстого очень хорошо начинается твоя книга, т. е. она начинается со здравого смысла – и не лишне было бы поподробней вспомнить «злого» старика. Можно бы вспомнить и Карамзина – там, где ты говоришь о мягкой войне 12 года, – как он рассуждал о гуманности, осуждая Олега-варвара. Очень трогательно это звучит в нашу пору, после Гитлера, Пол Пота и проч.

Война – дурная свобода человеческой тьмы и недугов, свобода дури. И, конечно, ты это сто раз подчеркнул – вместе с Б[ыковым], – сдержать её может «прекрасная человеческая несвобода». У тебя хорошо встало слово «идеал» – как оно и стояло в русской культуре, культуре великих идеалистов. Даже слово «религия» придвинулось к прежнему месту... Собственно, ты занят тем же, «выработкой религии», прости Господи, но по-своему, как каждая личность, – и в своё время. Время воспоминаний и сопоставлений.

А Сотников всё же мученик, что не обедняет его характер, а говорит о традиции, нами утерянной. Мученик – это титул, а суть была разная – человеческая – героическая – тираническая даже. Спроси-ка В. Быкова, на что он опирался.

\* \* \*

Тут успело пройти два месяца. Письмо отложил, а выписки из книжки о Быкове отложил вовсе по той простой причине, что слишком близко мне близкое твоё – и писать об этом нечего. То есть вообрази очень длинное письмо, где написано *да-да-да, так-так-так...*

Книжка о Быкове утвердила тот мрамор лейтенантов (Слуцкий), который не только навечно встал для нас – но и обрёл язык. Ты закрепил – общественно закрепил – победу этих ребят = победу демократической военной прозы, и сделал это так, что в нашем сознании будто возникла и будто бы торжествует ещё более демократическая, военная или нет, неважно, существующая целиком или нет, тоже неважно, но долженствующая быть проклятая проза, ещё не дошедшая до журнальных страниц.

На вокзале в Челябинске полупьяный мужичок в татуировках зажигал и втыкал спички себе в тыльную сторону ладони, чтобы удивить и повеселить сидевших с ним рядом, чтобы заговорили с ним. Боль уже нужна... И до того мира, где она становится нужной, касались многие, и одних уж нет, а те далече, но литература, призванная изжить этот мир (анти-мир), ещё не собралась под спудом. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с этой подноготной жизнью, меня бьёт, как искра, одинаковая мысль: как далеко письменное слово от этой правды! Как против неё и вся эстетика, и все наши привычки, и всё наше образованное чувство...

Помнишь, как смутил Радищев Пушкина? Как завидовал Толстой «Запискам из мёртвого дома»? Приоткрывалась та же бездна, что теперь, как ты пишешь, в милицейском протоколе. Когда я прочёл «Гулаг», я подумал, что это надо преподавать в школе, чтобы как можно раньше в ребятах, начинающих думать, не было разлада... чтобы вообще не было разлада жизни и слова, чтобы не воспитывать в детях фальшь. Коснулся до того мира Высоцкий, он самый последний.

Ты ме-то-до-ло-гически (как сказать дальше, не знаю) подготовил, что ли, наше сознание к более полной правде о войне и мире, нежели она была до сих пор. Лейтенант Быков, при случае, так же достойно и верно погибнет и победит (единственная реальность) в любой «мирной» житейской ситуации. Но сил проникнуть в то, о чём я тут заикаюсь, у него, видимо, не хватит. (К. Воробьёв был посильнее.) Спасибо на том, что сделано этим поколением.

... другие есть призванья,  
другие вызваны вперёд...

Где они?

Ты оказал мне великую честь, назвав ярославскую книжку моей строкой. Не улыбайся, я скажу и по-другому. Но эта честь именно честь, и честь высокая. Прочел 60 страниц – и это ясно. Да ясно и с первых строк. Мне часто хотелось вставить слово в твой «Пейзаж с домом и окрестностями». Такое, например: мой дед Алексей Васильевич Боголюбский, отец семерых детей (и четырёх ещё воспитывал – племянников), сын Василия Облакова из Любима, который сменил фамилию по той же причине, по которой не дерзнул принять сан, – дед был фельдшер, которого знала Кострома и уезды. Он написал книгу о лечении женских болезней – издать не успел, а рукопись порвали во время войны (я же, может быть, и рвал). К нему было паломничество – шли и больные и здоровые – обоего пола. Что-то было в нём, что унаследовала и моя мать – младшая дочка в семье. Дед был резок (однажды сломал палку об голову дяди Володи), но отходчив и добр. Резок и на слово.

– Батюшка Алексей Васильевич, ты по глазам (доктор)?

– Нет, матушка, я по п....

На Пастуховской был дом со светёлкой (и с пейзажем оттуда – на Всехсвятскую, ныне Юношескую, и на поле, ныне ул. Лагерную, за которой Чёрная Речка и т. д. Я ещё помню Лагерную как полуполе с одной только школой 25, её строил отчим, Леонович Николай Валерианович, – куда я ходил в 1-й класс).

Теперь дома нет, остались 4 берёзы гуськом, посаженные во дворе А.Л. Лазаревым, мужем тётки Тани. На месте дома – школьный двор, а школа – на месте сада, нашего и сада Феоктистовых, чей дом стоял на Всехсвятской. (Одна из Феоктистовых, Ольга, сейчас замужем за Алексеем Кондратьевым, моим другом, детским поэтом, – с 14 лет он парализован, и родился почти в тюрьме... Вот и жанр – прирастает и ветвится...)

У дома было три сада – жалованьем деда и трудами бабушки жила эта семья 14+2=16 человек. Все работали и все учились. Мама работала с 7 лет – пела на клиросе в церкви Воскресенья (тоже видно – внизу на Дебре) и всю жизнь работала... В войну – в госпитале на Кооперации (под Муравьевкой) у Державца. (Державец – колоритная фигура, под стать своей фамилии, поспрашивай-ка о нём.) Потом работала в III ЛАУ, что было за Берёзовой рощей, бывшим кладбищем, где про-

пала могила деда. Сейчас и рощи почти нет – она была по правую руку, как идёшь от вокзала по Советской, б. Русиной ул.

От этой семьи в живых одна тётка Вера, 87 лет, живущая сейчас в доме престарелых, что по Кинешемскому тракту против Караваева. Тётка Вера сохранила живой ум и ясную память, жила она тоже на Муравьёвке, возилась с огородом, пока были силы, потом пожила в Горьком у сына, а потом потянула её костромская земля – и она пишет мне счастливые письма, что вот она дома, хоть и так. (Будет час – навести старуху – Вера Алексеевна Закутина – что-нибудь не пропадёт из той памяти, которая пропадает. Может, она и Лесневских знает – в той Костроме почти все ведь знали друг друга. И говорили на своём костромском языке, какого уже не слышно. А я помню.)

Это письмо пишу тебе из Малеевки под Москвой (дом творчества), куда удрал от детей – они никогда с меня не слезают, и я бы так и жил, если б не проклятая писанина. Полгода прожил в Карелии, достроил свой дом, сложил русскую печь из кирпича и валунов, срубил стол и стул из кокор. Всё потому, что руки захотели, а так – дело гиблое: зимуют там нынче 4 человека, деревня превращается в погост. (Вот – тема, не тема, а рана, старая русская рана... Знали бы Аксаковы и Киреевские, какое крушение ждёт Россию.)

Выносить это уже невозможно – заживо мрёшь. Родится что-то новое, другое, чего мне не понять. Страшно подумать, сколько времени деревня, особенно северная, идёт на ущерб – несколько веков! – и каждому современнику было видно и слышно, что именно потеряно со временем – и это ускорило в последние десятилетия, как ускоряется река с оторванным дном (Державин?) – перед паденьем. (Не зря так затянута «Прощание с Матёрой» – хоть так промедлить, удержать, не дать...) И добро б это диктовалось какой-нибудь исторической необходимостью, с которой скрепя сердце можно согласиться. Нет и нет. Это скорее огромное историческое Недоразумение. Не подумали, не сохранили деревню «величайшие» и дальновиднейшие деятели истории, не присмотрелись к тому, как естественно ей, деревне, быть разбросанной по лицу земли и что можно извлечь именно из этого, если уж непременно надо что-то извлекать. В холмистой лесной Карелии, где сам Бог ютит и теплит жизнь в каждой складочке и ложбинке, по каждой речке, у каждого озера, – там всё пошло под укрупнение, под совхозы, а совхоз никогда не дотянется по снегам и бездорожью до малых своих угодий, бывших родников жизни – и всё там никнет и вымирает. Это не оправдано ничем кроме отвлечённых благоглупостей. Карелия – не Кубань, – хоть это усвоили бы. Олонецкий мужик – не казак...

Если на минуту вырваться из действительности (тоже особы слишком уважаемой) и подумать, что вот: при мне осушались верховые болота, опрыскивались леса, чтобы там гибла берёза и росла деловая только древесина (берёза болела и не гибла, а вся лесная живность погибала), при мне строили и достраивали заведомо порочный каскад ГЭС на Волге и на других реках (директор Красноярской ГЭС Бочкин, когда краеведы хотели вырезать из камня в потопляемой зоне древние рисунки, сказал: Зачем? Через 100 лет наших ГЭС не будет, ваши камушки помоем – и всё), при мне укрупнялась бедная деревня – опустошалась округа и несколько добрело село с конторой колхоза и МТС, – при мне шёл [нрзб.] по малым рекам и прочая, и прочая, – если всё это неразумное, ничем не оправданное или оправданное минутой, счесть разумным и необходимым, и с этим жить, и с этим предстать перед идеальным потомством – ибо ещё не видно, что будет делаться при нём, – то лучше не жить и не представлять... Но как ответить за эти дела?

Где я отвлекся? Не помню. А ты был в местах на Костромке, где теперь море, которого там не надо? Кажется, П. Корин ходил по тем местам с карандашом, зарисовывал дома. Или Грабарь? Не помню.

Что же... Постройка ГЭС – судорожное движение выжить, понравиться на минуту – так его и надо расценивать (regard) – и сколько такого – to be regarded this way, – и только так – а мы-то слов нагородили... Тошнит.

А на Ивановской ул., дом 8 жила Екатерина Петровна Сулханова, дочь Варшавского губернатора, питомица Сорбонны, жена горского князя Сулхан-Герее, бежавшая в Кострому от мужа и от ухаживаний И.В. Сталина. Она меня учила немецкому языку, мне говорила: Mein lieber Lodik – и я был в неё влюблён в свои 8 лет... Кажется, я тебе о ней говорил. Она выучила многих оболтусов, как любила говорить, и её должны они помнить... У неё были синие глаза, нос с горбинкой, чёрные волосы, уложенные под сеточкой, чистое, без морщинки, лицо с лёгким румянцем. Она никогда не выходила из дому, годами не выходила, только раз была у нас на Пастуховской. А в своё время брала у неё уроки и мама. Высокая, грузноватая, но изящная, с маленькой ножкой (не потому ли не любила ходить?), с прямой осанкой. Когда она вставала, её чуть откинутая прекрасно посаженная голова казалась меньше, чем была. Её мог бы написать Брюллов – вечно цветущее лицо, яркие волосы и глаза, порода вообще – если б в 41 году такой Брюллов явился в Костроме. А Кострома 41, 42, 43 годов была серая. Мы были голодные дети, мои ровесники плохо выросли...

А что, есть в Костроме умник, который бы затеял книгу «Кострома и костромичи»? Я уверен: появившись первое издание – и появятся письма, и выплывут обстоятельства и анекдоты. А? В Тбилиси, когда выходила книжка «Литературная богема старого Тбилиси», я как раз надеялся на это, но там народ на редкость беспечный, беспечнее нашего. А в Ереване я не был. Вот там...

Ты подумай: если б у нас не было Герцена... Если б в Герцене не текла толика немецкой крови... Сколько бы пропало истории... Жизни сколько бы пропало! Людей! Собирать всё это велел нам, конечно, ещё Пушкин, и замечательные книги такого рода у нас выходили, но теперь что-то я их не вижу, или они усреднились до неузнаваемости. Сказалось пренебрежение к частной жизни, к человеку – будто бы во имя чего-то большего... Рассказывают, что Ахматова, куда-либо приехав, первым делом спрашивала: ну, какие сплетни? Пройдёт несколько лет, появится книга Н.Я. Мандельштам, чем-то напоминающая «Былое и думы»... Я всех прекрасных стариков, каких знаю, стараюсь подтолкнуть к столу. Вот есть в Вохме Авенир Петрович Борисов, помянутый в помянутой мною книге – как бы я хотел вытряхнуть из него несколько очерков – о старой вохомской деревне (один им напечатан в вохомской районке, и у меня есть), о Севере, где он был 11 лет. Не пишет, внуки одолели. Ужо ему... Ах, Игорь, сделай милость, пошли ему, если есть, эту книжку: Вохма, ул. Маяковского, 8. То-то порадуется. Он ведь историк, а учился когда-то с Яшиным в Никольске и, между прочим, вместе с Суловым. Мы большие друзья – с Борисовым, разумеется, – как бы я хотел вас познакомить!

[...] В Малеевке – ни одного знакомого лица, и все похожи на сотрудников изд-ва «Современник», куда я не знаю дороги (буквально). Поговорить не с кем – вот и пишет человек...

Мы с тобой встретились в № 9 «Дружбы народов»<sup>35</sup>, но ещё не прочёл твоей статьи. Я же чрезвычайно доволен тем, что сумел сказать внимательному читателю хоть несколько слов. А именно: русская литература началась до Нестора и Никона – вспышкой литературного сознания, разбуженного великой поэзией Иоанна Богослова, в первую голову, и Евангелия в целом. У Иоанна же был великий переводчик – доблестный Константин. И смотри, какое совпадение: о Константине ни слова (!) в «Лит[ературной] Энциклопедии», а тут мне приносят в подарок «Сказания о начале славянской письменности» («Наука», 81) с переводами Житий Константина и Мефодия, с комментариями и прочим. Вспомнили, стало быть, Ключевского, который уважал житийную литературу. Но и то сказать, Житие Константина – превосходная литература. Правда, научный – суконный – перевод, но и на том спасибо. Дико сознавать, что мы до сего часа ничего не могли знать о человеке, 1100 лет назад составившем наш алфавит и переведшем на славянский «В начале было Слово...». Могли знать – в прошлом столетии, когда ещё читали по-славянски и Четьи-Минеи были в каждом хорошем доме. А в этом – уже не могли. А в Болгарии романы пишут о Солунских братьях... Моя статейка называлась «Где взять память?», но Аннинский название переименовал, а я не стал спорить из-за очевидной несообразности предложенного им и написанного мной. Чем несообразнее...

Летом я получал приглашение в Кострому, но мне не хотелось на юбилей<sup>36</sup> – я поблагодарил Корнилова и отказался. В самом деле – что звать на праздник того, кто руки не приложил к работе, подготовившей праздник? Мне было бы неловко. Позови на работу... Я нагледелся на лит[ературные] праздники – отворотятся – и всегда при этом соображал, на чьи деньги угощение и отдохновение. «На народные денежки», как сказал проклятый писатель.

А что, Игорь, не совершить ли нам наконец поездку по Костромской области – хоть в марте? Дороги ещё будут, будет много света. Если совершить, то готовиться к этому надо сейчас, разгрестись к марту от урочных работ. Взять можно одного-двух москвичей и одного-двух костромичей. Лучше по одному – всего 4, ну 5 человек. Ты мне ответь по всем пунктам!

А получил ли ты книжки А. Баянова и О. Челидзе? Есть ли у тебя книжица Маргвелашвили «Искусство слова и слово об искусстве»?

Ещё дитя, я был замечен  
И кем-то бережно ведом,  
И озарён мой ранний вечер,  
И день я перешёл – с огнём,

И медленно оборотились  
И стройно тени разошлись,  
Мои желанья воплотились,  
И замыслы мои сбылись,

<sup>35</sup> Игорь Дедков. Простор рассказа, воспарение души, или Как называется ваша команда? // Дружба народов, 1981, № 9; Владимир Леонович. «Нет в мире разных душ...». Ответ Павлу Мовчану. Два взгляда на проблему «Надо ли переводить с древнерусского?» // Дружба народов, 1981, № 9.

<sup>36</sup> Вероятно, речь о 20-летнем юбилее Костромской областной писательской организации, который отмечался в июле 1981 г. В.Г. Корнилов был ответственным секретарем организации.

Сбылась любовь, как стих Завета.  
 Мой шаг был зрячий и прямой.  
 А что была причина света?  
 Кто верный был водитель мой?

Вопросом суетным и праздным  
 Не задавался я, о нет.  
 За временем и за пространством  
 И без меня продлится свет.

Стихи Нишнианидзе, почему-то вспомнились, хотя я совсем сейчас в другом состоянии. Ни черта не сбилось, никакого мира. Одни дети греют, а кругом – холод.

В Москве осталась забота: Литфонд отдает дачу Пастернака более великому и живому писателю – не находится ни одного именитого литератора подписать письмо с протестом. Сурков отказался, Леонов чистосердечно боится... Чего? В том и дело, что ничего – а на всякий случай. Белла собирала подписи в защиту собак – и ничего не собрала: боялись, скоты.

Нет Твардовского.

P.S. Ещё пункт: собрал бы Бекишев книгу да прислал бы мне, а я бы пошёл к земляку В. Кострову – он секретарь поэтов – и поставил бы книгу на рельсы... Костров родился в с. Веденё, недалеко от Николе – колокола перекликались, – и учился в Вохме у А.П. Борисова.

Будем живы! В.Л.

[1981]

Дорогой Игорь!

Засыпал тебя письмами (это потому, что почти перестал писать кому писал раньше, и люди рedeют). Вернется Саша Тихомиров, возобновлю усилия приехать в Кострому. Но не сейчас, а попозже. Сейчас, кроме всего, у меня простуда в горле – 5-й месяц засела, и голос не для чтения стихов.

«Железное ложе» – не моё, да, пожалуй, и не Отарово (Чиладзе)<sup>37</sup>.

Тут виноват Галактион, его железная воля, которая, надо думать, была. (Стреляй в небо – всегда попадёшь.) Это была одна из мотивировок, что он дожил живой до 17 марта 59 года, когда выбросился из окна – как в стихах, в юности:

Я умру, как лебедь...

М.б., не воля была главным, м.б., другое – какие-то жизнотворные клеточки, неизбывное детство, что ли, – не знаю, как сказать. Но знаю, что презрение к черни всегда у него было, что он был резко одинок в обществе и неудобен за столом, радовался только детям и собакам...

Нет, была воля, были задания, которые всегда были. Дарование есть поручение (Боратынский). Хоть с небольшой, но ухватистой силою (Есенин). И т. п.

<sup>37</sup> Отар Чиладзе (1933 – 2009) – грузинский поэт, прозаик, драматург. «Железное ложе» (1963) – поэма (или большое стих.) О. Чиладзе с посвящением Г. Табидзе, переведённая В. Леоновичем и опубликованная в журнале «Литературная Грузия», 1976, № 7. (Прим. ред.)

Я не могу представить иного – и этот неопрятный старик с орденом, в шутовском колпаке и с плачущими глазами, автор бесконечного числа газетных стихов, в пиджаке, пахнущем редакциями, в спадающих брюках! –

Он был строен, как гвоздичка.

Можно сказать: «непорочная муза Галактиона». Иная и не согрешит ни разу, а вся окосеет – б.... и б.... А тут наоборот – и ничто не приставало... Конечно, воля, – кроме того, что не даётся пониманию.

Отар Чиладзе – наш ровесник, человек несуетливый, глубокий. Он не впрягал переводчиков в своё наследство, как Карло Каладзе или Иосиф Нонешвили, ему тут не повезло. Например, он ждал 10 лет обещанных Беллой Ахм[адудиной] переводов. То, что сделал я, сделал всё же наспех и не теми уже силами. Евтушенко перевёл слабо, и тут разные натуры. Евт[ушенко] томится по глубине и покою – и потому переводит Чиладзе. Но Чиладзе может не дышать и каменеть (жизнь разбивается о терпенье), а Евтушенко не может, и ему не сказать этого, и не сказать так, в сердцах только, в стороне от публики, в покое. А Чиладзе не может собирать мёд со всего, что цветёт, и т. п.

Природа полагает

оному удел,  
оному два,

но если третьего не полагает – не надо соваться.

Об Отаре Челидзе я писал тебе. Он более действительный и суетливый человек, тоже сильный, но служащий, пьющий, получающий награду свою. По натуре очень симпатичный и надёжный, как крестьянин. Он проще Отара Чиладзе, поддаётся пересказу, но чувствует, видимо, глубже, чем пишет; на пустом месте не пишет. В стихи вводит сюжет (а не только образ, свет и мрак, как О. Чиладзе) и тяготеет к народным балладам. Выходящая в «СП» книга будет слабой и странной. Там приличные, четвёрошнрые переводы милой Леночки Николаевской (не Белле переводить О. Чиладзе – а Марии Петровых), мои – не знаю, какие, но не все, – и много переводов Равича, где что-то есть живое и наивное (последнее утрачено в моих переводах) посреди незрелой и бойкой халтуры. «Магнитного поля» в книге нет – оно зарезано было внутренними рецензиями [...] Зарезано ещё давно, как раз тогда, когда было напечатано в «Новом мире». Нет в книге и цикла «Письма тысяча одной ночи», переведённого Булатом Окуджавой. Я перепечатывал сам эти стихи, отдавал Герману – увы, их нет.

(Ещё я видел у Чиладзе переводы И. Бродского. Вот он, Мария Петровых – его переводчики, мне кажется.)

Для «Лит[ературного] обоз[рения]» писала статью обо мне, моих переводах в компании с Л. Латыниным и И. Мовчан Леночка Уманская – статья не прошла, и я не читал её. Уманская же писала об Отаре Челидзе, в статье о жанре поэмы (есть такой?), и ругала поэму «Амиран-гора», переведённую Халифом. Это было напечатано.

Да, мои переводы О. Челидзе есть в книге «Единодушие» – есть она у тебя? Не помню, посылал тебе или нет.

О еретиках и угодниках, можно сказать, пишу, хотя бумага ещё бела. (Записать недолго, когда приспееет.) А посылал ли я тебе прозаические заметки – соображения на сей счёт?

Шугаева не читал, надо посмотреть.

О книге «Сюжетное время...» ничего не знаю – справлюсь. Сейчас у меня гостят тбилисцы – и они, кстати, привязали меня к Москве.

Ну – будем живы! Тамаре мой привет. В.Л.

[31.01.81]

Дорогой Игорь!

Видел я вчера Петю Краснова, узнал, что ты пишешь вступление<sup>38</sup> для его молодогвардейской книжки. Видел и челябинскую его книжку, где нет, и хорошо, «Сашкиного поля» и где есть, слава богу, «Мост», на чём он настоял категорически. Он вообще человек категорический и жестоковыйный. С этим борется в нём художник. Вчера Петя ругал Пастернака, усмотрев в «Д[окторе] Ж[иваго]» даже сионизм, ругая какую-то публицистику Солженицына (не читав его главных книг) словами, примерно, Чаковского. Это было жёстко и узко. Сейчас, кажется мне, он тяготеет к изящной словесности – в ущерб сюжетности, т. е. драме, т. е. смыслу русской литературы. Хвалил Набокова (которого я не могу читать, как не мог бы прикоснуться к восковой фигуре, правдоподобной до отвращения). Сказал, что не включает в книгу такие рассказы, как «Буря», «Перед ночью». Это огорчительно, особенно в отношении последнего рассказа, такого тендряковского (первых лет) – резкого и жизненного. Хотел бы, чтоб это письмецо попало тебе под руку, чтобы, если ты согласен со мной, помочь молодому писателю. Нельзя же выкидывать такие рассказы.

Петя очень рад был твоей статье, говорил, что это самое лучшее, что было о нём сказано. Жаль, я её не знаю.

Черкни мне. В марте я приеду, буду стараться [...] М.б., соберётся В. Костров, который теперь главный над поэтами (вместо Куняева) и уроженец вохомских мест. Сколотилась бы бригада. Да мы и вдвоём – бригада.

У меня – горевые дни. 17 янв. сшибла электричка Сашу Тихомирова<sup>39</sup> – и все, кто его близко знал, в большом горе.

Будь здоров, Тамаре мой поклон –  
В.Л.

[21.03. 81]

Дорогой Игорь!

Идёт март и уже кончается – с грустью вижу, что не смогаю выбраться в Кострому: Москва замучила. Болен отчим (дежурю у него), не отпускают дела покойного Саша Тихомирова и свои урочные работы.

Посылаю тебе две книжки – в фонд – в буквальном звучании – в балласт воображаемого корабля... Кажется, он снова возникает: Числов<sup>40</sup> сам напомнил мне – обо мне (в разговоре о Тихомирове). Несколько переводных стихотворений,

<sup>38</sup> Игорь Дедков. Если жив чистый родник... Послесловие. // Краснов П. По причине души. Рассказы и повесть. М., 1981.

<sup>39</sup> Тихомиров А.Б. (1941–1981) – поэт, прозаик, драматург, трагически погиб 18 янв. 1981 г., сбитый электричкой. Сб. стихов: «Зимние каникулы», М., 1973; «Белый свет», М., 1983; «Добрым людям» (предисловие В. Леоновича), М., 1991.

<sup>40</sup> 20 февраля 1981 г. Игорь Дедков написал гл. редактору изд-ва «Советский писатель» М.М. Числову письмо о рукописях поэтических сборников В.Н. Леоновича и Л.Г. Григорьяна с просьбой ускорить их выпуск в свет.

однако, существуют и что-то скажут тому, кто слышит. В татарской поэме опущены важные отрывки, но появился отрывочек о затопленной земле – об антисреде... Помнишь у Мандельштама:

К кольцецам сойду и усоногим...

Тарковский хохмит:

Мы рождены, чтоб Кафку сделать блядью.

Перевожу и вторую татарскую поэму – совсем уж подводную. Вряд ли она всплывёт в ближайшие годы. Когда-нибудь в переводах будут искать летопись нашей действительности. Сейчас вам всё лень. А я так и вижу статью хорошего поэтического толка, как писывала Ахматова или не уступающая ей в этом Цветаева. (Впрочем, я перестал читать критические статьи о поэзии – может, что и есть?)

Сейчас кончил свой вольный-развольный перевод баллады Колау Надирадзе о Бараташвили и Ек. Чавчавадзе, сохранившей на груди своей его стихи для нас. Ещё раз почувствовал, как глубоко засела в меня Грузия. (Если увидишь, кажется, № 3 «Лит[ературной] Грузии» за 80 год, прочти новеллу Григола Чиковани о Сванетии...)

Колау Надирадзе, переживший всех голубороговцев и старше Галактиона лет на 5 (!), меня одобрил, а в Гослит послал благословение поэме – вопиюще вольной, но родной грузино-русским устремленьям.

Шура Цыбулевский, собственно, за этот «национализм» сел при последнем призыве на 8 лет, а Булат только чудом избежал этого.

Увидишь «Звезду» 2-й номер – посмотри рецензию на книгу Галактиона. Колау хоронил Паоло Иашвили – один, когда другие «друзья» побоялись – и жил все те годы хорошо.

[...] В связи с Ек. Чавчавадзе перечитывал Шевченко. Низко ему кланяюсь – за «Кавказ», за «Сон», которые знаю почти наизусть, и многое другое. Не знаю, как и величать его, но именно в нём воскресал Исая. Потому его и почтили – Орском. И ныне чтят.

Будьте здоровы – ты и всё твоё семейство. Тамаре сердечный привет.

*В.Л.*

*21 марта.*

[25.01.82]

Дорогой Игорь!

В мартовскую поездку я позвал двух людей: Софью Александровну Петренко и Вадима Ковду. Петренко – детдомовка, комсомолка 30-х годов, лётчица-истребитель и живая душа. У нее книжка прозы «Зелёные воробышки» – о беспризорниках – и книжка стихов. Это человек жизни и отчасти – человек слова. Я её очень люблю.

Ковда – поэт, автор 3–4 книжек, бывший кинохроникёр, человек неглупый и талантливый. Оба – члены Союза писателей. К числу бы к 10 марта мы и приехали. (Февраль думаю прожить в Грузии.)

Надо ли нам стараться оформить поездку в столичном Бюро пропаганды? Брать командировку в Союзе? Посоветуйся, пожалуйста, с кем надо в местном СП. При двух ещё костромичах это будет огромная (для восприятия на местах) бригада. Впрочем, 4–5–6 – хорошее число. Трём уже труднее. А пятерых–шестерых

труднее устраивать и оплачивать – как там с кошельком у б[юро] п[ропаганды]? Узнай, пожалуйста.

Перед отъездом в Грузию я тебе черкну – туда мне и напиши. Уеду числа 3 февр.

Будь здоров! Очень надеюсь на твоё участие в поездке, думаю, что ты и отдохнёшь и подышишь. Тамаре мой поклон.

В.

[1982]

Дорогой Игорь,

тут случилась такая неприятность: меня здорово поколотили в бане, неделю я валялся, сейчас отхаживаюсь, и в голове у меня ещё туман. В бане я одёрнул одного хама, а их было два брата, и я мог бы оказаться совсем уж в плачевном состоянии, если бы не народ. Драка была грандиозная, вовлеклась вся баня. Всё это у меня ещё мелькает перед глазами. Должен быть суд, а пока я в состоянии нерабочем – что очень не ко времени. Костромскую поездку придётся пока отложить. М. б., приеду на день-два – к матери на могилу.

Очень оживился Митя Сухарев, когда узнал, что я собираюсь в поездку, в доброе время, может быть, мы и приедем. Митя – твой читатель, мы говорили о тебе, я дал ему твой адрес. И может быть и ты оторвёшься от бумаги. Нет худа без добра – оторвёшься? Митя работает, у него лекции и проч., а летом будет отпуск.

Костров сказал, что пошла в «Современнике» книга Леонида Попова (я его не знаю, он из Вохмы, геолог бывший, измочаленный, как в своё время Куваев, пишет стихи). Это друг Авенира Петр. Борисова, значит, хороший человек. Авенир получил твою книгу, благодарит. Сам ездит по внукам. Не пишет, за что у меня на него – зуб...

Да, я был в Москве, когда умер Варлам Шаламов. Я ощутил это как событие: таких людей уже не осталось. И несмотря на всю печаль – понял и увидел, как в людях живёт сказанное и ещё не сказанное им. Был ещё Фазиль, был Лакшин.

14 апреля должен был бы состояться мой вечер, Фазиль – председатель, я хотел вечер – после бани – отменить, потом решил рискнуть, но его отменили кто-то сверху. Всё правильно. Бойтесь.

В августе 83-го Серёжке Дрофенко стало бы 50 лет. Кажется, мы прошляпили момент, и книги, которая давно лежит в «Сов. пис.», в плане 83 года нет. Надо что-то делать. Буду говорить с Елисеевым. А ты – исподволь – не напишешь ли что-нибудь о нём? Если бы набралось у тебя, у Гарика Немченко, у Славы Холопова, у Олега Дмитриева, у меня по несколько страничек, – был бы венок, как делалось это в прошлом веке. Напечатали бы эти странички хоть в «Юности», хоть в «Дне поэзии», если уж в книжке нельзя. Нельзя, говорят.

Будь здоров – и храни тебя Бог – на улице, в бане, в журнале...

Тамаре мой привет.

Леонович

[1982]

Дорогой Игорь!

Привет из Москвы и читального зала ЦДЛ! Я тут по делам квартиры – обещают 3-комн. в районе метро Беляево.

И по одному судебному. Пока дали моим дуракам 3 и 4 года тюрьмы. Неприятнейшая история.

И ещё одна. Прямо как земля уходит из-под ног: в «Огоньке» материал о переброске «части стока» северных рек на юг. Хоть поезжай на Вологодчину и садись под экскаватор. Статья вологодского писателя (Михайлов?) с тем опережающим смыслом, который свойственен подлости. Речь идёт о дорогах, о раб[очей] силе, об увязке научного обоснования со всем остальным – тихой сапой принято великое по своему идиотизму решение, деньги отпущены, система заработала – и речь уже о деле, о кубокилометрах воды<sup>41</sup>...

Вместо восстановления истоков (Волги и Дона), вместо спуска хотя бы одного из «морей», теряющих уже всякую состоятельность, и постепенного раскаскадирования рек, ибо появились уже другие источники энергии, – вон что теперь затеяли.

Писатель пописывает – экскаватор копает. Начинается очередное варварство.

Где Твардовский и его армия? Ничегошеньки не пишут господа мыслители. Ничего не говорят.

Или я не знаю?

*Володя.*

#### [24.10.82. Из Москвы]

Дорогой Игорь,

очень рад был твоему письму, но сразу не ответил, что-нибудь да мешало. Всё это время, т. е. эти дни, слышу, как гудит пламя<sup>42</sup>... Что же это за позор такой, как же можно не хранить от огня то, что, может быть, важнее тебя и всех твоих подножных забот? Когда я одно время работал в ЦГАЛИ, я думал: будь у меня ещё одна жизнь, я просидел бы её в архивах.

В Вохме лет 15 назад сгорел непонятным образом краеведческий музей, т. е. всё то, что уцелело после лихолетья и собрано и свалено было тоже в здании собора. Он до сих пор обуглен изнутри, даже кирпичи, кажется, обуглились. И – ничего. Так вроде и надо. А потом – сгорать будем от стыда. Или за нас будут...

Лето и у меня скудное, если не сказать пустое. Банная контузия, видимо, тоже тому способствовала. Но я налегал на физический труд; его осмысленность и необходимость как-то промывали мозги (и это приучает не говорить, не думать лишнего) – в конце концов я почувствовал, что отдохнул и годен к соображению понятий...

Жить в карельской деревне, однако, всё труднее. Будто и сам обрастаешь лесом. Вот кошу траву, ставим стожок (рядом – колхозное поле, где траву повалили да так и бросили гнить), единолично выполняя прод[овольственную] программу для коров Усть-реки – а богатейшие пожни дичают, заболачиваются или зарастают елохой. Один в поле не воин. А крестьянин разучился косу держать, разучился пешком ходить. Да это и не крестьянин уже. Теперь они все «механизаторы».

Где-то Виктор Гюго заметил, что невозможно, не сняв перчаток, обнимать любимую женщину. У нас всё в железных рукавицах: любовь кончилась. (А не хватает нам В. Гюго. Потому и дорого каждое приближение к прямой речи. Могила Высоцкого тонет в цветах. А кто-то где-то тонет в дерьме, нами обос....., или как это лучше назвать. Одно время распускалась – централизованно – сплетня о

<sup>41</sup> 24 мая 1970 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О перспективах развития мелиорации земель, регулировании и перераспределении стока рек в 1971–1985 гг.».

<sup>42</sup> В Костроме 16 авг. 1982 г. в здании б. Богоявленского собора сгорел государственный областной архив.

Райкине... По средствам их узнаете их. Страшная пошлость. Ничтожные людишки Райкина немного надломили, немного приласкали...)

Ещё это лето было трудно потому, что прочёл в «Огоньке» (№ 28?) статью о повороте северных рек (о «переброске части стока с[еверных] р[ек]») на юг – как о деле решённом. Никаких лит[ературных] реакций не знаю, а сам бы я сел своей задницей под экскаватор – да что моя задница? Потом была статья Лихачёва в «Огоньке»<sup>43</sup> же, весьма приглушённая в этом пункте. (Хотя Лихачёв всегда Лихачёв.)

Здесь бы нужна была кампания – посильнее и пошире той, что была за Байкал. Известно тебе или нет, не знаю, у нас об этом не пишут, а хотели ведь подрывать байкальский порог Шаман-камень, чтобы скорейшим образом схлынул Байкал в Ангару – в Братское море. Когда уже готово было это решение и взрывчатка была, на последнем совете встал Мих. Мих. Кожов, учёный-лимнолог, основавший там этот институт, и сказал: – Может быть, вы даже построите коммунизм. Но второй Байкал вы не построите. Все мои доводы вам известны, а если всё же вы взорвёте порог, я в тот же час покончу с собой. – И не взорвали.

Море заполнилось само собой, потопив 4 миллиона кубометров невывезенной древесины и невырубленный лес, и ещё 2 года было некому давать энергию такой станции. Правда, недополучено было орденов за «скорейший ввод»... А Саня Вампилов потонул в Байкале как раз из-за топляка.

Лишняя вода в Волге... Не хочется писать об этом. Тут Белая книга, 2×2. Только вчера ехал от Калязина. До самого Дмитрова – это почти по берегу Волги – признаки ненормального обводнения земли. Осенние дожди только проявили картину – близость грунтовых вод, слабость стока. Гнилая болотина заняла огромные площади. Энергия Углической ГЭС смехотворна по отношению ко всем видам затопления – то же и с Большой Волгой. Это не Нурек, где скалы под водой, узкое ущелье. Тут под водой – земля, история, культура. Сейчас как раз вода отступила в Угличе, обнажились участки старого берега – набережной, других улиц. У колокольни – остатки алтаря.

Надо входить в дело о повороте сев[ерных] рек.

Написал предисловие к однотомнику Костюковского, назвал «Солнечная сторона» и сказал, какой тени не хватает.

Получил наконец ордер на квартиру. До сих пор было 18 м на четыре человека. Надеюсь ещё пожить и поработать за столом не хуже людей.

На этих днях надо сдавать в производство книгу в «СП». Будут задержка и осложнения в связи с тем, что –

Я, обязанный матери  
сильной кровью,  
среди мусора прусского  
и родимого блатосвинства  
пе-ре-нял  
жилу русского духовенства.  
В эту жилу вбежала  
и запенилась кровь отцовская.  
Там – Мицкевичи,  
там – Варшава, Воля польская.

Обнимаю тебя. Тамаре поклон. В Кострому всё еду, еду...

Напиши об архиве?

<sup>43</sup> Д.С. Лихачёв. Память истории священна. Интервью // «Огонёк», 1982, № 29. Интервью было отмечено премией журнала.

**[Декабрь 82]**

Дорогой Игорь!

Поздравляю тебя и всех твоих с Новым годом, и, как говорит Натан Злотников, миллиард миллиардов тебе самых лучших пожеланий.

Получил твою открыточку. Нет, Честертон не встречал, но поищу.

Об архиве надо писать поэму – в стиле последней поэмы Евтушенко о нейтронной бомбе. (Я над ней плакал – держу пари, что и ты заплачешь, – при всём при том, о чём спору нет.)

Сдал свою книгу<sup>44</sup> в производство, потеряв с десятков стихотворений. Женя Храмов и М. Числов сделали меня добрее и мягче... Как с этим спорить?

Числов завернул татарскую книжку – Ахсана Баянова. Посылаю тебе пробную его поэму – прочти, скажи словечко. Этим занята душа.

Глухо знаю о В. Белове, о его письме, напоминающем историю М.М. Кожова. А ведь старик спас Байкал. Откусили бы краешек у этой чаши, снизили на метр – погубили бы отмели... А ты не доверял Белову.

Пишу тебе из квартиры в Беляеве, куда переедем целиком в январе. Тут овраги, перелески, тише и чище, чем в центре.

Начинаю снова собираться в Кострому – к марту? Позову Т. Жирмунскую, Митю Сухарева, Олега Ларина (писал о Печоре, о ремёслах, о лесе – работал в журнале *Вокруг света*). Ларины купили избу где-то по Сусанинскому тракту. (Мне бы туда. Карелия давит запустением и уже выдавливает меня.)

Ещё посылаю вступительную статью к однокласснику Б. Костюковского<sup>45</sup> – со страничкой, которую, по лопухости, дал снять – теперь жалею. Но больше ничего не снимут – иначе сам всё сниму.

Стихов не пишу – способен лишь на памфлеты в духе В. Пюго.

*Стенку не пробить – прокричать...* Высоцкий.

Сдал переводы из Галактиона для Большой серии Биб[лиоте]ки поэта. Кажется, у Галактиона<sup>46</sup> есть читатели.

Будь здоров. Обнимаю тебя. *Володя*

**[1982 ?]**

Дорогой Игорь!

Если – мало ли что – не доберусь нынче до Костромы, вот тебе отдельные фразы безымянной статьи о Ш[аламове]. На собрании поэтов, кроме соплей и склоки, были и достойные поэтов выступления. Видел Фогельсона, Бекишева заберу у него. Куняев прочёл с трибуны стихи Н.Тряпкина – картина из 30-х лет, детскими глазами, да плюс всей последующей мукой... *NB.* Куняев, после Аксёнова и Гладилина, назвал «и другими подонками» всех зарубежных – я сказал, что тут много нашей беды и позора и подонки не все (Войнович, Бродский), после чего на меня рухнул весь пафос Ф. Кузнецова... Думаю, заварится хорошая каша.

Ведь когда горит архив – виноваты мальчишки. А когда доберёшься до виновника, наказание понесёшь сам.

<sup>44</sup> Владимир Леонович. Нижняя Дебря. Стихи. М.: Советский писатель, 1983.

<sup>45</sup> Костюковский Борис Александрович (1914–1992) – детский писатель, публицист, драматург. «Избранное» Б. Костюковского с предисловием Вл. Леоновича опубликовано в 1984 г.

<sup>46</sup> Галактион Табидзе. Стихи. Вольный перевод с грузинского Владимира Леоновича. Тбилиси: Мерани, 1979.

Мы осуждали. Мы выдворяли, мы остервенили человека, он стал рычать... Новой вере и новой надежде, новому знанию и новому укреплению духа мы бесконечно обязаны таким людям, как Шаламов. [...]

*Володя.*

### [26.05.83. Из Карелии]

Дорогой Игорь!

Нашёл на столе годовалой давности обрывок бумаги: посылаю. Ничего не изменилось – наращивается дело.

7 июня в СП РСФСР (Комсомольский проспект, 13) состоится круглый стол на эту тему. Три раза подобные разговоры отменялись. Не помню, писал ли я тебе в известных мне подробностях о проекте. Кажется, нет. Сам я был контужен перспективой морей и болот – на месте поречной жизни и остатков культуры Севера, созданием антирек, потоплением лесов, сселением народа...

Орлы 30-х годов ещё орлы. Гидропроект и век был под крылом главного Ведомства державы. Замашки те же, масштабы те же. Орлы записали в прод[овольственную] программу, в решения последнего съезда свои слова – теперь делают дело. Духу не хватает пересказывать то, что они замыслили. Но по почерку всё узнаётся: материалы все засекречены (гриф ДСП<sup>47</sup>), подготовительные работы опережают санкцию ученых, эта санкция отчасти подделана.

Что до художников, архитекторов, археологов, писателей и всех разрозненных и малосильных охранителей природы – их со всевозможной вежливостью (дань времени) обходят или отодвигают плечом.

При встрече поговорим – но когда?

7 июня будет не стол, понятно, а нуда. Круглого в круглом столе ничего не будет.

Зову тебя, Игорь. Приезжай, зайдёшь и ко мне, соберём кого хочешь. Митю Сухарева, Фазиля, И. Роднянскую (соседка моя по ул. Островитянова).

Всего-всего доброго всему твоему семейству!

*Володя. 25 мая, Карелия*

### [3.01.84]

Дорогой Игорь!

Сто лет не писал тебе. От тебя помню утешительную открыточку. Нет, утешиться не дадут. Пока северные реки текут на север, покоя нет им – нам тоже.

Посылаю тебе книжицу – с надеждой, что улицу Кооперации<sup>48</sup> переименуют обратно. Книжка почти не пострадала на цензурных этапах. Просто есть другая, бесцензурная. Кажется, мы, таким образом, неплохо устроились: то, что всеми подразумевается, можно не произносить. Но легче мне помереть, чем усвоить это благоразумие.

Просидел месяц в Тбилиси, променяв жизнь на бумагу: заперся в гостинице и приводил в должный вид грузинскую книгу в 10 листов. Обещают издать её в этом году. Обещания длятся с 78 года.

Соберусь – пошлю тебе новых стихов. От старых они, правда, не оторвались, но к прозе приблизились явно. А не будешь ли в Москве? 24 янв. у меня вечер в ЦДЛ.

<sup>47</sup> Для служебного пользования.

<sup>48</sup> В Костроме была улица Нижняя Дебря (в советское время – ул. Кооперации).

Кажется, пробилась Серёжина книга на 84 год: стихи плюс какая-то проза – дружеская проза – о нём, о стихах... Такой венок – как бывало делали в старину. Тебе – первое слово. В сентябре были на кладбище с Борей Тихоненко и Варей...

Мне продолжает дико везти – 8 мая умер Леня Тёмин в Тбилиси, в день своего рождения (50 лет). Стихи «Смерть в Тбилиси» написаны им были лет пять назад.

В декабре выкинулся с 9 этажа Павел Мелехин, человек мрачноанекдотический. Году в 73-м «Литературка» извещала о его смерти – воронежская шутка, так и неясно, чья. А в декабре же «Литературка» его обвиняла в плагиате. Я-то знаю другое: он создал живого поэта-фронтовика, всё ему сочинив. Старый хрен в отставке проводил чит[ательские] конференции, выдвигался на премию. – Михаил Касаткин (?). Ф. Кузнецов писал умное предисловие к его «фронтowym стихам». А Паше шла часть мзды... (Не то я пишу, что надо бы.) Съел его, крестьянского сына, пригород. При-го-род – понятие эпохальное. Жил он в «Румынии» – полупокинутом бывшем рабочем общежитии, с крысами под полом. (Жуткий рассказ о крысином короле.) Писал сатиры и отправлял их персонально адресатам, отходя дурачком, т. к. все клавиши служебного человека знал и играл как хотел: «Прошу предоставить квартиру – в противном случае вынужден буду уехать в дружественную Югославию». И дали квартиру в Воронеже. Дружил с А. Прасоловым, П. повесился. Учился с Н. Рубцовым у Н.Н. Сидоренко, начиная ярче Р[убцова]. Рубцова зарезали. Вот и проглотил... А работали мы в «Металлургстрое»: Серёжка – я – он. Вот какие дела. Лёд тает измором. И тает ли? Какой Герцен нас обобщит?

Обнимаю тебя! Всего-всего вам лучшего в новом году. Тамаре поклон.

*Володя*

*3 янв. 84*

#### [16.2.84]

Дорогой Игорь!

Привет тебе и всему твоему семейству!

1. Где рукопись Григорьяна<sup>49</sup>? Я теперь в «С[оветском] п[исателе]». Рецензент (ещё не гонят) и могу колдовать. А Фогельсону писать бесполезно. Напиши мне или пошли рукопись Г[ригорьяна], желательно побольше стихов. А Ю. Бекишев?

2. Что такое апрель – не угодил ли ты родиться в апреле? Не 50 ли тебе годиков исполняется? Когда?

3. Всё же несколько страничек (3–5) о Серёже ты напиши. М. б., и удастся издать его как следует.

Вечер 24-го прошёл хорошо. Как бы первый успех в такой безуспешной жизни. Сказал слово В. Костров, дал тон бодрый и праздничный (*allegro vivace*), но я взял свой тон и три часа его держал, изредка разнообразия. Чего веселиться? Председателем был Фазиль, предоставивший всем полную свободу, выступали Д. Сухарев, Г. Корнилова, В. Леванский, опять же Костров (трудновато ему было, но я его предупредил, что пойду по краю), Г. Ефремов. Но как бы и не было нужды говорить, т. к. выход из прочитанного – думай и дело делай. (Если будет у меня запись этого вечера, pošлю тебе или привезу.)

Какая-токая твоя вина – моя обида? Никаких.

<sup>49</sup> Григорьян Леонид Григорьевич (1929–2010) – поэт, переводчик современной французской прозы и армянской поэзии. Родился, жил и работал в Ростове-на-Дону.

Книжечка моя имеет успех. Дефицит. Не войти бы в моду ненароком!  
Дел, долгов, обещаний – со всех сторон. Я их расталкиваю, созерцаю...  
В освободившемся пространстве сижу и повторяю:

... На праздность вольную, подругу размышленья...<sup>50</sup>

Был в Консерватории: Валерий Гаврилин, ленинградский композитор (45 лет, всяческий лауреат, паренёк из детдома из Вологды). Называется это действием, по прочтении Шукшина, исполняет хор – и мно-ого-много там слышно и видно. Не умирает ли, действительно, народное творчество в его классическом значении – в силу идиотизма общего пути? И вот с такими слезами (Шукшин, Рубцов, Гаврилин) поют ему отходную? Прочёл в «Н. мире», №1 повесть Маканина – примерно об этом. (Мрачная и навязчивая мысль о паразитировании интеллигентного искусства на народном. Вина, ощущаемая интеллигентом. Мысль как раз для повести, хоть и спорная. А то привыкли обходиться и без мысли.)

Передай моё соболезнование и участие Тамаре<sup>51</sup>.

Всего-всего вам доброго!

Володя

16 февраля 84

P.S. В стихах про буксир – там стерлядь сделана из слов стерва и б....

P.P.S. Да, в Челябинске, откуда меня вытряхнули после двухдневных чтений, очень душевно и умно говорила о тебе библиотечка библиотечка ЧТЗ Ирина Владимировна Вещинская. Я сказал, что есть твоя книга «Во все концы дорожка далека» – этой книги в библиотеке ЧТЗ нет. Не найдется ли у тебя? Отзыв Вещинской таков, что снимает донос, последовавший из той же аудитории.

[29.07.84]

Дорогой Игорь!

Прочёл сегодня в «НМ» твою статью о Распутине<sup>52</sup>. Это из тех редких статей, когда писателю можно подравняться на критика, когда критика имеет смысл. Она обычно зависит от худож[ественной] книги и тогда – вторична, она пишется под горку, под каданс худож[ественных] высот. А здесь – нет зависимости и ничего нет «снизу вверх». Среди умствования и блистания, признаков безразличия к предмету критики и признаков иждивенчества, ты не умствуешь и не блистаешь, но становишься – мне, например, и думаю, что многим, – необходим – в думах о нашей жизни. Чуть не каждую фразу я отчёркивал, перечитывал по-иному, как она и перечитывается, но не потому, что ты хотел сказать другое, а потому, что хотел и сказал то, что сказал, а уже от прямого значения идут круги.

Примитивисты из Больших домов тебе, конечно, не простят того, что ты помогаешь людям мыслить шире и глубже положенного, но многие из них давно уже не в состоянии понимать такого образа мыслей, такой заботы – как у тебя.

Пишу какие-то общие слова, т. к. взять статью и нырнуть в неё сейчас не могу: в Москве на несколько дней, по житейским заботам и по работам – про-

<sup>50</sup> Из стихотворения А.С. Пушкина «Деревня». (Примеч. ред.)

<sup>51</sup> Умер отец Т. Дедковой.

<sup>52</sup> Игорь Дедков. Продлённый свет // Новый мир, 1984, № 7.

клятым, которые, согласно Дедкову, нельзя оставить, т. к. порвётся связь с землёй...

Ещё скажу, что, не оставляя этих забот, ты научился шире и выше говорить о самом их существе... Как хорошо говорить тебе комплименты!

В Карелии поставил 4 стога, спина ещё болит. (Знаешь ли ты такого – Станислава Жукова? В июне была его статья в «Правде» о чернозёмах. Он и пишет недурно – свободно и к месту очень образно, а главное, почему его вспомнил, он научно – как агроном, экономист, мелиоратор, биолог – знает то, что чувствует наша славная плеяда «деревенских» писателей. Да и чувствует – дай Бог каждому! Есть при «Сельской молодежи» такая экспедиция – *Живая вода* – там он вместе с Викт. Ярошенко и другими бодрыми ребятами. Имей в виду это имя, спроси, если не попадалась, его книжку о реках – я читал её, как в юности – Шекспира, за уши не оттащить. Он там скопил лужок, обиходил брошенную пожню...)

Что смерть возможно превозмочь усильем Воскресенья – Пастернак. Так что кроме объективных вздохов прощания – есть усилия к воскрешению... Знаешь, редкое по радости чувство, когда испроклинаешь эту траву и жару и немощи свои и всякого гнуса – а потом начинаешь метать стог, и он уже больше тебя... И, главное, меняется отношение, очищается отношение к труду вообще, возникает неприятие всяких мёртвых дел. А тут знаешь, что корова тебе спасибо скажет и, по Дедкову, Бог тебе улыбнется.

Па-а-чему не ответил мне, когда я писал тебе о Л. Григорьяне? Пока я рецензент в «С.п.» и меня не гонят – надо поставить на ход Л. Г. Также и Ю. Бекишева.

Из Воркуты посылал тебе телеграмму – не мог нынче приехать. Постараюсь – осенью.

Пошла в производство книга в «Мерани» – теперь боюсь цензуры. О «Нижней Дебре» получаю добрые письма, рецензий пока нет. Видел ли книгу Марии Петровых? Как много поэзии в запасниках! И безущербной, живой. Есть еще Ел. Благинина. Перечитываю А. Прасолова – силён. Вышла книжка Толи Горюшкина – написал ему рекомендацию в Союз.

Будем живы! Тамаре поклон. *Володя*.

[29.09.84]

Дорогой Игорь!

Долго же не было вести от тебя никакой, спасибо за письмецо. (Это моя бабка Лиза, когда говорю *Здравствуй, бабушка*, говорит *Спасибо, Вовушка*.) Пишу тебе с оказией. Проживу в деревне ещё с месяц, а там постараюсь и в Кострому заехать. А получил ли ты моё письмо, где я тебя восхваляю за статью о Распутине?

Трудно писать прямую лирику таким, как Распутин (чем-то это похоже на тургеневские «Часы», «Вешние воды», «Стук-стук» – не находишь? По состоянию...), и так же трудно писать об этом: всё очень уязвимо, и критику надо иметь много веры и великодушия. А те рассказы Р[аспутина] знаменуют что-то важное и тормозящее в нашем поступательном развитии в сторону примитива и трехмерной скуки: не тем одним жив человек! Подождите, оглянитесь... Есть день, но есть ещё и ночь велика... Всё знай, всё виждь, весь этот реализм, но уже ради того, чтоб видно стало душу. Так наш ровесник соединяется с русской классикой – ради наших вечных основ.

Читаю книгу В. Непомнящего «Поэзия и судьба» о Пушкине – т. е. о Распутине, о нас с тобой, обо всём – как это получается, когда читаешь самого Пушкина.

Прочел 70 страниц и досажаю, что не могу вслух читать другу «по музам, по душе». Нынешнее идеологическое поветрие как-то обдуло, но не сдуло с издательского транспортёра эту книгу. Ленивы читать, а деньги получают...

А наёмник бежит, потому что наёмник<sup>53</sup>.

Над нами, слава Богу, всего лишь – и не более чем – высокооплачиваемые эти наёмники.

Сижу в своём доме, гляжу на серый прозрачный день с проблесками неба, на гладкое озеро в осеннем лесу. И этого почти уже хватает для жизни. Летняя страда отошла, рублю заднюю к домику (5x7) и завидую А. Казину, что не могу писать то, что делаю. Ну и ладно.

Сосёт под ложечкой неотосланное письмо П. Дёмичеву – о доме К. Чуковского, который хотят снести. На неделе – отошлю, чтобы я угадал в Москву к ответу на письмо. Отвечают ли министры? Дом Пастернака не скажу общими усилиями, но общими соплями перестает быть домом П. Усилий одного Евг. Бор. не хватало. Трудно жить с этим стыдом.

Понимаю тебя, что стараешься не думать о том, что творится кругом. Иначе – сумасшедший дом. Или ещё какой.

А купил ли ты книжечку Марии Петровых<sup>54</sup>? В Москве нельзя было купить. Хрустальная лирика, которая жива лишь посмертно, которой быть бы! и в своё время...

Григорьяна я возьму, Фогельсона пока предупредят не отдавать никому другому. Бекишева надо бы провести через Кострова. К[остро]ву я подложил – невольное – свинью, т. к. он открывал мой юбилейный, по их разумению, вечер, а вечер получился совсем другой. Костров помог книге вохмянина Леонида Попова.

Писал ли я тебе: вохомская газетка дала летом мою страницу со всякими лестными словами. Очень я гордился, сам перед собой, т. к. в Москве – не перед кем. А тебе послать не догадался.

Ну хорошо, написал письмо, будто дело сделал. Теперь можно отдыхать: брать топор и рубить 10-й венец. Жаль, что ты не крестьянин. А то бы порадовался, как дом стоит... Озеро, окно на озеро.

Привет всем Дедковым!

*В. Леонович*

*29 сент. Пелус-озеро*

Числа 20 окт. буду в Москве.

**[Декабрь 84]**

Дорогие Игорь и Тамара!

С Новым годом! Будьте живы и здоровы – долго-долго-долго.

А в России надо долго жить, сказал К. Чуковский. Приеду – расскажу о его доме в Переделкине, о доме Пастернака. Игорь, посылаю тебе свою прямую речь, скрученную и втиснутую в форму казахской пьесы.

Так в ненастные дни

занимались они

делом.

<sup>53</sup> Евангелие от Иоанна, 10: 13. (Примеч. ред.)

<sup>54</sup> Петровых М.С. Предназначение. Стихи. М.: Советский писатель, 1983.

(Давай возобновим мысль о выступлении в Костроме и области 2 – 3 московских литераторов. Надеюсь, меня не побьют ни в бане, ни в Секретариате, куда я иду стучать кулаком: нельзя разорять дом Чуковского!..)

Февраль–март годится? И кого назвать? Или мне это поручите? Одного? Двух человек? Прозаика? Критика? Пародиста? Маршрут? Срок?

Посылаю книгу Костюковского, в которую не надо было включать нить Ариадны – ради читателя и автора предисловия, чьи оценки относятся к другому избранному К[остюковско]го. Его клеймили в 47 году именем сибирского Зощенки [...]

Игорь, очень я рад за тебя. Прозвучал твой плацдарм – тебе всегда было «можно» больше, чем другим, теперь тебе можно больше, чем Дедкову до юбилея<sup>55</sup>. С юбилейной овцы – вот какое руно. Ты воспитал журналы в уважении к себе – исполать же тебе и дальше!

Обнимаю тебя, Тамаре кланяюсь. В.

### [25.2.85]

Дорогой Игорь!

[...] На недели 2–3 улетаю в Тбилиси. Там вёрстка, там моя долговая работа, и в кассе «Мерани» мои деньги. Верстка<sup>56</sup> – наконец-то! Но боюсь цензуры: теперь грузины пользуются московской цензурой. Ничего глупее не может быть: на свой комиздатский салтык мерить грузинскую метафору.

Книга Григорьяна на рецензии у О. Дмитриева. Это вторая рецензия; первую писал Храмов, года 4 назад. В третьей вряд ли будет нужда, хотя я и сказал сыну Олега (его не было дома), чтобы потом передали рукопись мне.

Кострова не видал с год – после того как я его огорчил своим вечером. А до того – ещё год назад – он мне говорил, что всё в порядке с книгой Л. Попова. И говорил не раз. Я сам ею не занимался, а с Костровым говорил по просьбе Авенира Петровича Борисова, вохомского старика (хорош старик!). Между прочим, свою Одиссею у гипербореев он написал. (Об Одиссеях – отдельно, потом.)

Если Попов собирается в Москву – пусть бы угадал после 20 марта, когда я вернусь. Кстати, буду читать 24-го, 27 и 28.

27 – вечер Боратынского в Лит. музее на Петровке, 28 – мой вечер в библиотеке им. Некрасова на Пушкинской пл. Не окажешься ли в Москве?

Если у Попова новая книга, взяли бы ходатайство у Кострова или Ф. Кузнецова: трудно стало определять рукописи в «С.п.». Да, в Вохме несладко, не по темпераменту таким, как Л[еоид] П[опов].

А не задействовать ли его в те выступления, которые всё же должны состояться в Костроме и области этой весной? Я приеду во всяком случае в начале апреля. Но мне надо бы знать, к 20 марта, скольких москвичей Бюро<sup>57</sup> могло бы принять, примерные имена, маршрут и длительность гастроли. Не угодим ли мы в распутицу? Поэтому, конечно, с Негорюхиным надо переговорить заранее. Ну а если у Бюро энтузиазма тут не будет – мало ли какие свои трудности и планы – то нечего и затевать поездку. Я-то приеду обязательно. М.б., и лучше, если свободно?

<sup>55</sup> 11 апреля 1984 г. И.А. Дедкову исполнилось 50 лет.

<sup>56</sup> Сборник «Время твоё: Переводы из грузинской поэзии. Стихи о Грузии» (Тбилиси: Мерани, 1986).

<sup>57</sup> Бюро пропаганды художественной литературы.

Поздняев книжечку мне подарил, но я ещё не прочел её.

Нет, «Мой друг И[ван] Л[апшин]» – не смотрел такого фильма. Некогда всё, не знаю, куда уходит время. Был на Севере (Коми, Архангельская обл.) недели три – рабочая поездка.

Есть вёрстка Серёжиной книги. Храмов редактор, Н. Злотников составлял, спасибо ему, хотя кое-что опущено, а вовремя я не хватился: был в деревне. Предисловие – Олега Дм[итриева], где помянуты все университетские и раскрыт И[горь] Д[едков] как поэт. Так ему и надо!

Будем живы! Тамаре поклон. А дети вырастают – что делать!

Был бы ты плотник, соблазнил бы тебя на Кенозеро часовни рубить. На Самарской Луке возникает первый у нас Национальный парк. Элемент возврата «к сохе», к топору и другой непосредственности тут необходим. Необходимость развязанной руки крестьянина и ремесленника, очажки НЭПа 80-х годов, места без крепостной зависимости (язык мой враг мой) и просто без дураков.

*Володя.*

### [Январь 1986]

Дорогой Игорь!

Получил книжку о Залыгине<sup>58</sup> – спасибо. Этот разговор – нужнейший, убеждён, буду читать и отвечать.

Добавлю, т. к. у меня тянется Некрасовский год: разговор некрасовский.

Иль нет людей, идущих дальше фразы?

Знай свой шесток –  
служи культуре.

Залыгин прекрасно живёт, шестка не знает и идёт дальше художества. Не будь таких людей, губители русской земли давно бы её погубили.

И вот тебе анкета: счастливый случай перечитать то, откуда наши лучшие обеты<sup>59</sup>...

В феврале хорошо бы получить твои ответы (вопросы – мои), чтобы в марте провести вечер в б-ке Некрасова. А уж если сам пожалуешь...

Обнимаю тебя – поклон Т.

*Володя*

### [Февраль 1986]

Дорогой Игорь!

Пока писал Залыгину, посылая анкету, всё время думал о тебе. Книжечку о С[ергее] П[авловиче] ещё не прочел, но слышу и как бы знаю: там трепещет и гудит весь нерв нашей жизни – цельный канат с отдельными струнками.

Так как почта меня подводила не раз и делала свиньёй по отношению к адресу (или наоборот), то и спрашиваю: получил ли ты анкету о Некрасове? Ибо не послать тебе её было бы свинством, так же как... и т. д.

<sup>58</sup> Дедков И.А. Сергей Залыгин: Страницы жизни, страницы творчества. М.: Современник, 1985.

<sup>59</sup> Имеется в виду «Анкета поэтам» 1919 г. о Н.А. Некрасове. На анкету отвечали Николай Гумилев, Александр Блок, Анна Ахматова.

Вопросы в анкете 1986 г. принадлежали Вл. Леоновичу.

Стасик Лесневский возликовал, получив анкету: «Да как же ты угадал, да какой же ты...» и т. д. Он согласился вести будущий вечер со мною вместе. А не согласишься ли ты представить на нём Провинцию? (А я тебе обещаю собрать ист[орические] осколки Новомирской плеяды. Когда ещё представится такой удивительный повод? Да и вообще – ровесников, Серёжиных друзей. Многие похорошеют для такого случая.)

Это будет март, приблизительно 28 число. И не возмёмь ли с собой небольшую делегацию костромичей? Посылаю тебе пару анкет – лишнюю для хорошего человека, а если хороших больше, то можно и размножить анкету на месте.

Мои дела потихоньку идут. Неплохой был вечер (билет вот он) с опорой на 56-й, 62-й годы, намечается ещё. Почти готова книга – новая, тоненькая, чтоб не было лишнего, и называется «Чёрным по белому». Многие стихи неотличимы от прозы, напр.:

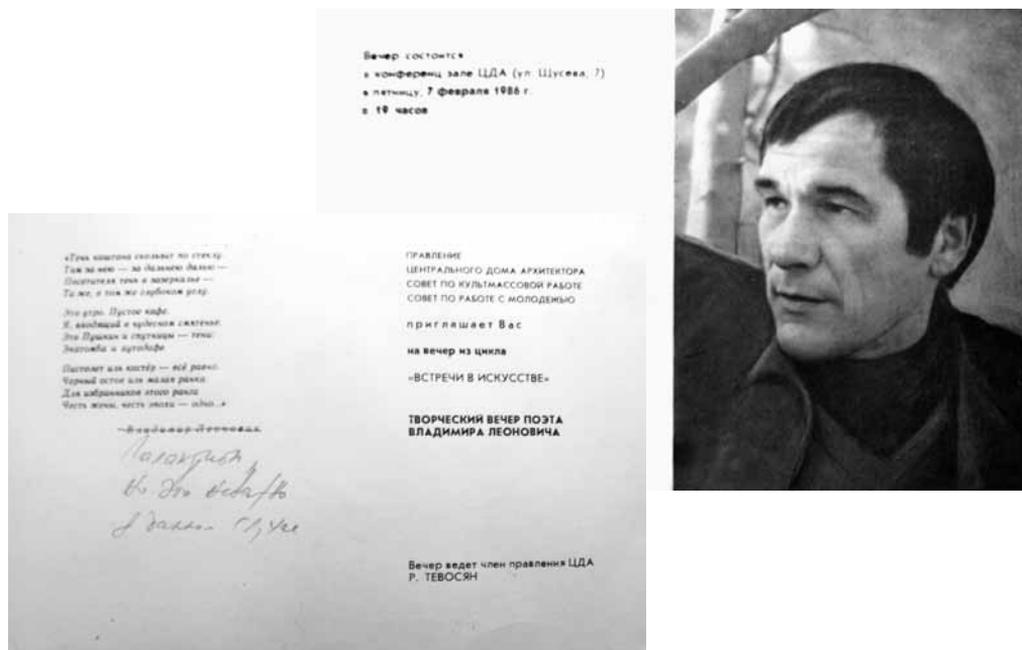
Вынув из урны хлеба кусок,  
Бабка его завернула в платок.  
Кто его бросил и кто оплевал,  
Я не увидел и не назвал.  
Но по тому, как глядела она,  
Я ужаснулся: будет война!

Переживаю сильное влияние Некрасова. Каждая строка останавливает заново.

...Всех ли нас, бедных, добром поминаете...

Тамара, вместо поклона – прямое Вам приглашение: приезжайте – поговорим – подышим.

В.Л.



[3.01.87]

Дорогой Игорь!

Всего вам доброго – тебе и твоим родным – в Новом году! Каждый новый год всё труднее даётся – одно средство: дыши глубже.

Не приехал летом на костромской семинар – как раз в эти числа был в Каргополе (о чём отписал Корнилову). Но увидел только самые начатки грандиозной перестроечной деятельности (кусок дамбы, дорога) и спускаемый чёрный флаг Минводхоза. Проехали с другом озеро Лаче, реку Свирь до порогов. И Лаче, и Свирь – без берегов, всё низко, ровно на огромном пространстве. Разливают здесь воду – чистый идиотизм. На этот раз он не торжествует, хотя толком никто до сих пор не знает, что нам грозило. Не худо бы об этом рассказать – хоть в «Новом мире». А то всё остаётся в 100 томах и под грифом ДСП. (И каргополы сами ничего не знали, т. к. рвались на работу по утоплению родной земли. А может, и знали...)

Теперь висит над душой Ржевская плотина – лишнее зеркало для Волги, да над древними землями, да над братскими могилами, да в верховьях. И так измучена Волга – не течёт, не моет себя. (О Ржеве писал Вяч. Кондратьев.)

Фогельсон отдал мне рукопись Ю. Бекишева. С удовольствием читал, написал рецензию, но отдать могу только Вите в собственные руки, а заставить его трудно. Посылаю тебе грузинскую книгу, сильно выпотрошенную мастерами этого дела. Произошло это без меня, я уж не хотел и подписывать такую вёрстку, но искреннее раскаяние директора издательства и обещание издать на будущий год такую книгу, какую хочу, меня смягчило... Плюнул – издал.

Продолжается тягомотина с домами Чуковского и Пастернака, снова дремучее поползновение скрыть д. Чуковского с лица земли – а пора бы принести извинение Лидии Корнеевне и благодарность им, что сохранили дом неприкосновенно. «Дело Чуковского» хорошо разрезает последнее двадцатилетие, но рассказ о нём – специальный, не для этого письма.

События попёрли: Залыгинский «Новый мир», возвращение Сахарова (Горбачёв ему сказал: продолжайте Вашу общественную деятельность; но на просьбу освободить политзаключённых ничего не ответил – не властен, дескать (?)), завтрашние публикации Рыбакова, Трифонова, Дудинцева, Пастернака. Думаю, и у Быкова, после «Знака беды», кое-что созрело. (Хороша была статья Л. Лазарева в № 11 «Н. мира».)

Не продышав 30-х годов, никуда не продвинемся. (Как жаль, что не доехал до тебя тогда, весной, с книгой Шаламова!)

Не видел «Покаяния» Абуладзе, но и не разделяю восторга Евтушенко в «Сов[етской] культуре» метафоричностью и всеобщностью – безразмерностью? – фильма. Должны быть точные привязки. Точное, точнее – название фильма. Название пустоты, которую предстоит заполнить. (Этому будет посвящён, по моему умыслу, вечер Некрасова, вот уже год с лишним созревающий... Твоя анкета? Стасик Л[есневский] пришёл от анкеты в восторг, но ничего не написал. Ужо ему!)

Начинаю получать приглашения от журналов, но боюсь, что в эту перестройку ещё не ужою. Приглашал и Числов, чем немало меня удивил. Книга для «СП» готова и названа: Чёрным по белому. Минимум метафористики и беллетристики,

всё это истощено в переводах, краски розданы, а себе оставил заветный простой карандаш.

С наступившим годом!

*Володя*

*3 янв. 87*

Слышал, что костромичи тоже начали кампанию за возвращение улицам их имён и начали с Нижней Дебри – это верно?

[1.03.94]

Дорогие Игорь и Тамара!

Наш пароль: «общее дело». Единомышленники собираются 9 марта к 7 вечера в Доме Цветаевой (ул. Писемского, 6 – против Гнесинки).

Наш лозунг: «МИЛОМУ СЕВЕРУ», расплывчатый в целом, но сердечно ясный в каждом слове наших масонов.

Ваш покорный слуга поделится 20-летним опытом всё более крестьянской своей жизни; представит изданную его друзьями (за его спиной) книгу «Явь»; языком провинциала будет соблазнять вас, оживлять лучшие печали жизни вашей, беречь лучшие надежды.

Слабого не соблазни – сказано, но ведь не про вас.

Надо, надо москвичам что-то внушить выжитое к 60 годам.

Приходите – подышим.

*Ваш В. Леонович.*

*1.03.94.*

*Публикация и примечания Т.Ф. Дедковой.*

Лидия Чуковская

*Лидия Корнеевна Чуковская (1907–1996) – русская писательница, дочь К.И. Чуковского.*

## «Живой, талантливый, смелый»

*Из дневника*<sup>1</sup>

**5 июля 85, среда, Москва.**

Пока я лежала без всякого дела и почти без зрения, я попросила Люшу<sup>2</sup> прокрутить мне магнитофонную запись вечера в Некрасовской Библиотеке, где месяца назад – кажется в феврале или марте – Леонович читал стихи. При встречах он молчалив, сдержан (во всяком случае, с нами), а на трибуне смел и очень громко. Читает драматически. Ведёт себя вызывающе. Вступление: «Пользуясь свободой устной речи, прочту те мои стихи, которые *вырубали* из моей книги».

Сначала грузинские переводы. Virtuозно и задушевно. Потом, наконец, свои. (Грузины обязательны, потому что книга выходит в Тбилиси.) Душевно, сильно, очень драматично. И очень противоречит цензуре, очень. Тут и Шаламов, и Ольга Степановна, умершая в тундре<sup>3</sup>, и «Гвоздями в меня вколачивали страх»<sup>4</sup> (и как били Шаламова!), и сходка мёртвых поэтов под Новый Год, а потом поэма о Твардовском. Ну конечно Александр Трифонович тут не подлинный, а легендарный (Твардовская легенда всё растёт), но взят он очень смело: т. е. рядом с доблестью показана и его верноподданность. Цитируется

Мне правда партии велела...<sup>5</sup>

Партии, которая вовсе не та, в какую А. Т. вступал. (Та, та, у этой партии никогда не было правды.) Вот, великая страна родит обильно. Откуда он? Живой, талантливый, смелый? И как сделать так, чтоб он не сломал себе шею?

<sup>1</sup> Текст (за вычетом комментария) печатается по изданию: Лидия Чуковская. «Дневник – большое подспорье». – М.: Время, 2015.

<sup>2</sup> Елена Цезаревна Чуковская (1931–2015) – дочь Л.К. Чуковской, литературовед.

<sup>3</sup> Окуджава Ольга Степановна – тётя Б. Окуджавы, жена поэта Г. Табидзе. В 1936 г. была арестована, в 1941 г. расстреляна сотрудниками НКВД.

<sup>4</sup> Неточная цитата из стихотворения В. Леоновича, которое начинается так: «Железными гвоздями в меня вбивали страх. / С разбитыми костями я уползал впотьмах. / Но призрак Чести вырос, как статуя во мгле: / вернулся я и выгрыз позорный след в земле. / И стал я набираться железных этих сил... / И стал меня бояться тот, кто меня гвоздил».

<sup>5</sup> Строка из поэмы Твардовского «За далью – даль».

Алла Калмыкова

**О себе:**

*Родилась в 1947 г. в Москве. Окончила филфак педагогического института. Работала в школе, издательстве, христианском журнале «Истина и Жизнь». Издала сборник стихов «День Марфы» (2005). Перевела с польского книги Иоанна Павла Второго «Переступить порог надежды» и «Римский триптих». Автор пьес «Зелёное знамя надежды» и «Пожалуйста, живи!», поставленных Театром детей «Тимур» (г. Харьков).*

## «Оставь герою сердце»

*Сегодня надломилась, упала моя черёмуха. Угасала она давно, однако цвела упрямо каждую весну, а в этом мае – как-то упоённо и отчаянно, будто в последний раз. Сердце – выболевшая её сердцевина – не обмануло: под долгим дождём перенасытились ветви влагой, отяжелели, ствол накренился, всюю кроной поклонилась красота земле, раздался треск, и...*

*Я вспомнила: вечером вот такого же дождливого майского дня идёт мне навстречу Володя, и белеет в темноте увечная ветка черёмухи в его руке. Лицо – потерянное, если не сказать – потрясённое. У него на глазах сломалось, рухнуло дерево – огромное, всё в цвету. Для кого-то – ничего особенного, случается такое в природе. Для него – знак, послание, пророчество. Ведь написал же, и давно:*

Перегорев и перетлев душою,  
с самим собой, с природою правдив,  
я грянусь оземь – дерево большое –  
весною поздней, в листьях молодых!

*Последняя строка – правленая, поначалу было: без сердцевины, в листьях молодых. Но понял: невозможно для него новое молодое цветение – без сердцевины, продолжение жизни – без сердца, – и переписал.*

*Придя из армии с одышкой, с посошком, Володя пережил опыт умирания – сладкое, по его словам, чувство слёзного умиления, прощания со всем живым. Но, усилием воли и здравым смыслом выходявшей его няньки Анны Ильиничны Лунёвой встав с одра, он прожил отведённое ему время как говорящий правду герой его стихов, взявший на себя свободы чёрную работу, противостояние малодушной немощи, лжи и смерти. Противостояние поэзией, впоённой Пушкиным и Некрасовым. Ломовой крестьянской работой и двумя годами добровольной школьной каторги в костромской деревне (ибо унаследованное от бабки, кологривской учительницы, народничество не должно было разойтись с делом). Ныранием в прорубь – наперекор ревматизму и сердечному пороку. Заступничеством за гонимых, оболганных, репрессированных. И – да, любовью.*

Если спросят на Суде:  
– Ты ли грешен? – Я, – отвечу.  
– И кого, когда и где  
ты обидел, человеке?

Поведу тогда рассказ  
обо всех, кого хоть раз,  
хоть нечаянно, невольно,  
я обидел, сделал больно...

*«Чем я жив? Попущеньем Божьим», – повторял Володя не раз и в разговоре, и в письмах. Правду о себе он знал, но честно признавался, что, доведись ему начать сначала, поступал бы так же. И не потому, что полагал, будто поэту всё позволено. Он оставлял за собой право слушать голос сердца. Знал, что правда правде рознь, и читал на память пушкинское:*

Да будет проклят правды свет,  
 Когда посредственности хладной,  
 Завистливой, к соблазну жадной,  
 Он угрождает праздно! – Нет!  
 Тьмы низких истин мне дороже  
 Нас возвышающий обман...  
 Оставь герою сердце! Что же  
 Он будет без него? Тиран...

(«Герой», 1830)

*Такая вот диалектика, оплаченная немалой ценой. Однако на этом остановилось. Ни мемуаров, ни «женских историй» далее не последует – слишком субъективны и, что уж там, безответственны эти жанры, и не мне подкидывать хворосту в дымящий по сю пору костёр молвы, презираемой Володей и всё же влившей в его душу и души близких немало отравы. Да и негоже искушать добрых людей, разжигая их праздное любопытство и вовлекая в суды над тем, кто год назад умолк и ответить за кого могут разве что его книги.*

Я тысячи мотивировок  
 людским поступкам нахожу  
 и потому бываю робок,  
 когда о ком-нибудь сужу.

*Вот, пожалуй, единственная робость, которую я знала за Володей. Этого качества так остро недостаёт нам сегодня! И потому, пытаюсь понять душу явлений, оставим герою сердце.*

Я не люблю молву мирскую –  
 ей в пересудах откажу.  
 «Свою п'ю, а не кров людскую» –  
 Шевченко не перевожу...

*Это из поэмы «Твардовский». Я услышала её впервые на литобъединении «Магистраль», куда меня, десятиклассницу, приняли в 1964 г. «в порядке исключения» (правда, таких «исключений» было несколько, и взрослые магистральцы нас заботливо опекали). Там мы с Володей и познакомились. Сказать, что он и его поэзия во многом сформировали меня как личность, – почти ничего не сказать. Нашему общению (в котором, увы, случались пробелы) в последнем Володином земном году исполнилось ровно полвека.*

*Когда-то Бог надумил меня делать записи по горячим следам, чаще всего – в тот же день, благодаря чему могу теперь поручиться за достоверность дат и событий. Взяв из своих тетрадок один только год – с декабря 1977-го по декабрь 1978-го, я выбрала, как мне кажется, то, что представляет общий интерес, открывает внутренний мир поэта, круг его раздумий, предпочтений, «труды и дни», через которые проступают и черты времени. Добавлены к этому лишь необходимые пояснения в сносках.*

*Кстати, та, Володина черёмуха упала 12 мая 1998-го. Так записано в дневнике.*

**Без даты**

«И было ко мне слово Господне: ...сын человеческий! запиши себе имя этого дня, этого самого дня...» (Иезекииль 24:2).

Зачем записывать? С Иезекиилем понятно: Бог открыл пророку, что «в этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму». Но у нас как будто подобных событий не предвидится.

Не предвидится, потому что мы потеряли способность видеть – пред-, вперед. Будущее, став прошлым, тоже теряет чёткость очертаний, смазывается, уходит во тьму. Да и в своём сегодня мы движемся, как ёжик в тумане, малое принимая за большое и наоборот.

«А ты записывай, – сказал мне как-то Володя, – всё записывай». Сказал, вовсе не имея в виду гёте-эккермановский вариант. Мы говорили о жизни вообще, о протекающем меж пальцев «ныне». Сам он может помнить какую-нибудь пустяковую подробность и напрочь забыть событие или положение, крупное и значимое для меня. Механизм его памяти не такой, как у всех. Он запоминает то, что взволновало его, дало толчок воображению или заронило мысль, которую он потом будет, возможно, думать, передумывать, развивать всю жизнь.

Значит, бумага удержит то, чего не сохранит память. Очень сильная внутренняя уверенность, что записывать надо. «Когда б вы знали, из какого сора...»

**1977 год****13 декабря**

Зашла к Володе домой – отдать его книги. Он собирался на переводческий семинар к Л. Озерову в Литинститут и меня позвал.

В «Дружбе народов» № 5 за 1977 г. была опубликована Володина статья о переводах и переводчиках<sup>1</sup>. Озеров назвал её «явлением художественной прозы», заметил, что журнал было трудно достать.

Володя рассказывал о Г. Табидзе, о том, как он его переводит, иногда вступая с Галактионом в разговор внутри стихотворения.

На чёрном и на золотом –  
Старинных холстов кракелюры...

**Все счёты сведу я потом  
С красотою литературы. –**

«Галактион этого не писал»...<sup>2</sup>

«Если бы история шла более счастливым образом, если бы исторических **забытий** не происходило, мы слышали бы свой язык лучше<sup>3</sup>. Пастернак, обладая словарём, обладал и слухом, и он знал, какое слово сейчас всплывёт к нему из исторической глубины. Поэт должен слышать всё, что когда-либо было сказано на этом языке – от начала и до конца...»

<sup>1</sup> «Переводчик, сломай карандаш!». Статья с тем же названием, но в другой редакции была напечатана в «Костроме литературной» №4 (11) за 2011 г.

<sup>2</sup> Стихотворение «К молодости» (Галактион Табидзе. Стихи. Вольный перевод с грузинского Владимира Леоновича, Тбилиси, 1979, с. 23).

<sup>3</sup> К этой мысли, как и к другим ключевым для него мыслям, В. Л. возвращался не раз в прозе и стихах: «Книгу доблестных **ЖИТИЙ** /перепиши на бело: /много важных **ЗАБЫТИЙ** /ИСТОРИЧЕСКИХ произошло...» («Хозяин и гость», изд. 2-е, перераб и доп., М., 2000, с. 265. Далее ссылки на 2-е изд-е этого сборника).

«...Написанное слово существует вопреки мелодии». Вся цель и метод В. как переводчика – слышать музыку Галактиона.

Рассуждал о вольных переводах, о грузинском слове, которое само ложится в русский текст, ибо его звук и выразительность превосходят смысл.

### 15 декабря

Вечер поэзии «Обещание» в Доме актёра ВТО<sup>4</sup>: Евтушенко представлял молодых поэтов. Мы ставили им оценки. Отметили М. Кудимову, М. Аввакумову, Е. Блажеевского, А. Богословского.

На обратном пути В. показал дом, где живёт Анастасия Ивановна Цветаева. Почти всю комнату занимает у неё рояль.

### 23 (?) декабря

Сходка в Литмузее на Ленинском, 64. Из наших магистральских – В. Краско, С. Петренко, Н. Саницкая, Н. Ясельман, А. Смирнов с гитарой. И ещё – М. Кудимова, Н. Генина, А. Тихомиров, А. Королёв, Н. Гуманьков, актриса Н. Кочетова и разные другие люди. Много христианских и гражданских (неофициозных) стихов. Саша Т. читал «Полугород», Кудимова – «Телеграфиста» и «Забор». Володя – о Марине: «Она всё напишет, что я не написал. У-у-у, Кудимица!».

### 1978 год

(...)

#### 9 июня

Сегодня был вечер Саши Тихомирова в Литературном музее на Петровке. Володя сказал вступительное слово. (Записываю по памяти, конспективно.)

«Поэт рождается со своим языком, то есть ему от рождения принадлежит своя область огромного нашего словаря и, если брать шире, истории. Белла [Ахмадулина] вышла из гостиницы XIX века. Александр Межиров – из благополучной купеческой семьи старого Замоскворечья. Булат Окуджава – благородный рыцарь старого Тбилиси, карачохели, который вышел из двора, оставив там свою шарманку, а музыка ещё слышна. Саша Тихомиров – из среды людей, описанных Чеховым, из разоряющихся дворянских гнёзд конца XIX века. Они и стихи писать умели... Мне кажется, оттуда – его язык, круг его зрения. Ирония: не едкая – мягкая, немного смешное – но и высокое, никак не осмеяние идеала, – вот это зрение присуще Саше.

Когда я впервые познакомился с его поэзией, мне она казалась тесной – мешало бытописание. С Сашей произошло то же, что с Юрием Трифоновым: во всех его вещах до «Дома на набережной» быт поглощал вещь, не давал сказать главную правду. Он говорил правду, но не всю. Но вот конец «Дома на набережной» и «Старик» – это уже освобождение. Это подняло самого писателя на ту высоту, когда хочется сказать ему спасибо за то, что он написал...»

Ещё было сказано о месте Саши в «протекающей» поэзии:

«А. Аронов, А. Величанский, М. Кудимова, П. Мелёхин – без этих имён, которых мы не знаем, нельзя иметь полное представление о том, что сейчас в нашей поэзии происходит. Аронов много написал, но по своей халатности ничего не напечатал. У Саши Тихомирова вышла всего одна книжка...»

<sup>4</sup> Всероссийское театральное общество.

Саша читал много: цикл «Мещанские страдания», поэму «Полугород», цикл «Импровизации», отдельные стихи. Смущался до заикания, порой просто немел. Для меня это было открытие нового поэта – негромкого, но с «лица необщим выраженьем». После его выступления Володя сказал:



«Поэзия должна жить – она и живёт и каждый раз совершается заново. Я слушал сейчас Сашу и, хотя читал это всё и знал раньше, но всё увидел вновь и по-другому. Для восприятия этих стихов не нужно напряжение. Чувство само ищет себе слова, а это значит, оно, поэтическое чувство, вышло на свободу, обрело простор, когда, не пренебрегая жизнью, смотришь на неё с достаточного расстояния. Его стихи никуда не зовут. Они воздействуют тонко, к такому восприятию мы в нашей жизни не готовы, не привыкли. К нему приложимо пушкинское “И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал”. Поэзия Саши пробуждает эти добрые чувства».

После вечера Саша позвал к себе отметить новоселье – он только что переехал на Садовое кольцо, в бывшую квартиру Можяева. Там пахло клопомором, повсюду стояли нераспакованные коробки, никак не могли найти нож, чтобы порезать колбасу, и стула тоже не нашлось – Ольгу Алексеевну<sup>5</sup> посадить. Мы выпили по рюмке вина и ушли.

В этот вечер познакомилась с Колей Герасимовым, Володиным учеником.

### 29 июня

Вчера Володю положили в Боткинскую больницу – сердце.

В № 6 «Вопросов литературы» – статья А. Абуашвили о переводах с грузинского. Ругает ругательски Володиные переводы Г. Табидзе. А он только улыбается.

Отнесла В. Мнухиной письмо по поводу цветаевского дома, который В. взялся спасать, с тем чтобы потом устроить там музей. Письмо передадут на подпись кое-кому из литературных «небожителей»...

### 6 июля

3-го звонил Лев Мнухин<sup>6</sup>, он подписал письмо у И. Андроникова и Н. Тихонова. Был у Анастасии Ивановны [Цветаевой], она не знает, написать ли ей от себя Михалкову или не стоит...

Володя с наслаждением читает ахматовские «Статьи о Пушкине». По поводу «Слова о Пушкине» сказал: «Здесь видно, что написано в 4–5 вздохов. В учебниках – о том же, но всё не так, читать нельзя»...

Вчера приходила навестить его наша магистралка Софья Петренко. Рассказывала разное. О человеке, сгинувшем в лагерях: была чудовище-врач, которая хоронила живых ещё доходяг вместе с покойниками. Когда зеков везли

<sup>5</sup> Мама В. Леоновича.

<sup>6</sup> Лев Абрамович Мнухин – историк литературы, научный сотрудник Мемориального Дома-музея Марины Цветаевой в Болшеве.



на барже в лагерь и они просили пить, в трюм сверху лили воду, и они набирали её кто в кепку, кто в ладонь, кто мочил тряпку и после тряпку эту сосал. Из трюма конвой вылавливал девочек 12–13 лет, ехавших вместе с матерями...

Володя слушал и чернел лицом.

Софья Александровна спросила, как дела с его книгой, и он рассказал о её мытарствах. Первый сборник – «Во имя» – вышел в 71-м. Вторая книга пролежала в издательстве «Советский писатель» 7 лет. Тогда редактором там сидел Митя Голубков, его друг; он много хлопотал, но сделать ничего не смог, и это было последней каплей – Митя ушёл оттуда, а книгу так и не напечатали. Третья получилась совсем другая, в неё попали только 10–15 стихотворений из второй. Володя считает, что она вышла цельной и ненарушимой; была там и «Мавра» – поэтическое переложение жития св. Мавры и Тимофея. Но в издательстве сочли по-другому. Рецензировал книжку Герман Флёров – «ничего не понял». Со времени первой рецензии прошло уже 4 года. Володя о себе – иронически: «Такова особенность творчества сего субъекта. У этого дерева слишком много колючек»...

Сегодня Ольга Алексеевна вспомнила Митю Голубкова, его смерть<sup>7</sup>. Володе позвонили из-за города (М. Г. жил на даче в Абрамцеве), он полетел туда, забирал Митю из морга. Вернувшись, плакал (О. А. говорит, что впервые видела его слёзы. Я видела раньше: по Серёже Дрофенко<sup>8</sup>). «Мама, ты бы видела, в каком грязном сарае он лежал». Митя застрелился накануне развода с женой, оставив письма ей, сыну и дочери, где прощался со всеми и призывал к честности и чистоте в жизни. У Володи остались его письма, которые О. А. отсоветовала передавать вдове для публикации...

## 8 июля

Разговор о скульпторе и литераторе З. А. Маслениковой.

В конце февраля Володя давал мне читать её воспоминания о Пастернаке, чей портрет она лепила. Зоя Афанасьевна снимала полдома в Пушкино, поближе к храму, где служил о. Александр Мень. Володя тогда ездил к ней переговорить о публикации её записок в Грузии. В своё время она отнесла рукопись Твардовскому в «Новый мир», тот хотел печатать, но не успел. Он ушёл, рукопись гуляла по рукам. Потом О. Ивинская издала свои воспоминания<sup>9</sup> «с цитатами без кавычек», по словам Маслениковой. Она обиделась, замкнулась.

<sup>7</sup> Дмитрий Николаевич Голубков (1930–1972) – поэт, прозаик, покончил жизнь самоубийством в 42 года. Ему посвящён цикл «Памяти Дмитрия Голубкова» («Ты был... Ты рыцарь был...», «Косое поле», «Почём? (последний русский вопрос)» – «Хозяин и гость», с. 204–208). Спустя годы для В. Л. стало потрясением исчезновение Митиной могилы на Ваганьковском кладбище (об этом последнее стихотворение цикла).

<sup>8</sup> Сергей Петрович Дрофенко (1933–1970) – поэт, умер в результате несчастного случая. Ему посвящены стихи «Шагала отделочница впереди...», «Гнев» («Прогулочная плоскодонка...»); Дрофенко и Голубкову – стихотворение «У двух могильных ям...» («Нижняя Дебря», М., 1983, с. 16, 17, 21).

<sup>9</sup> Ивинская О. В. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. – Париж: Fayard, 1978.

Вчера Володю навещала Лида Муранова<sup>10</sup>, которая и познакомила его с Маслениковой. Рассказала, что на днях в городскую полуподвальную мастерскую Зои Афанасьевны забрались какие-то люди, всё разворотили, разбили её работы, нашли и разбросали рукописи. К слову, З. А. говорила Володе, что когда-то её муж из ревности к Пастернаку скомкал и бросил в огонь дневники за целый год, в которых она записывала свои беседы с поэтом. З. А. якобы восстановила эти записи, но всё восстановить, думаю, было невозможно.

«Кусочком от маски Ахматовой дети во дворе играют в “классики” – что ж, это лучшая участь», – заметил Володя. Милиционер, вызванный Зоей Афанасьевной, увидев погром, сказал, что за такое расстреливал бы, но на другой день в милиции едва заметил её. Заводить дело по такому поводу им не интересно. Володя назвал произошедшее первобытным фашизмом – или провокацией. Я спросила, как она это пережила. «Её утешение – утешение сильных» (он имел в виду, что З. А. – человек верующий). Она и Лиду утешила: «Такое не пропадает».

Ну да, «рукописи не горят». И всё же...<sup>11</sup>

### 16 июля

За два дня Володя переписал и передал мне около 30 стихотворений для будущей книги. Буду перепечатывать их на машинке. Зброшенная спортплощадка, где свалены кирпичи и деревянные ящики, называется «угодья»: из ящика Володя делает стол и там пишет. «Угодья» посещает ёжик; ему положено угощение – сыр.

Уже сейчас видно, что книга соберётся такая, которую опять зарубят. Он это понимает. Говорит, что повоюет с ними. Я вспомнила о «Мавре» – Твардовский это напечатал бы, вот уж кто боролся за своих авторов! В.: «Такие крупные люди нечасто рождаются».

Думает он и о грузинской книге (переводы), где хочет собрать и «перемешать» разных поэтов, которых переводил. Гия Маргвелашвили<sup>12</sup> ему сказал, что он напереводил больше всех. Книга должна быть листов на 15<sup>13</sup>.

### 18 июля

Наташа Генина завела с Володей разговор о переводах. По её мнению, рифма – это подпорка, костыль. Но какой костыль сделает калеку здоровым? Я процитировала Тынянова, из его «Пушкина»: «Рифма была проверкой верности мысли». Володя взглядом одобрил, согласился. Это левинская<sup>14</sup>, магистральская выучка. Володины рифмы и словотворчество вообще иногда умопомрачительны:

<sup>10</sup> Лидия Муранова – сотрудница Литературного музея, звукорежиссёр, в настоящее время живёт в США.

<sup>11</sup> О З. Маслениковой и этой истории с мастерской – стихотворение «Портрет» («Хозяин и гость», с. 246).

<sup>12</sup> Георгий Маргвелашвили – критик, в те годы – редактор журнала «Литературная Грузия».

<sup>13</sup> О судьбе этой книги В. Л. упомянул в статье «Переводчик, сломай карандаш!» («Кострома литературная», № 4 (11), 2011): «Надо сказать, что книга стихов и переводов выходила несколько лет, что первоначально содержала 20 листов, а стихи и переводы были перетасованы, чтобы играл смысл и заявляло о себе право подступа скромного стихотворца к великому оригиналу, ну, великому не всегда, положим... Рукопись несколько раз курсировала из Тбилиси в Москву, в цензуру, худела, пересоставлялась и дошла от жизни такой листов до 10. Притом из одного издательства я книгу изъял, передал другому. Рассказ длинный и показательный, но скучный...». Добавлю, что книга «Время твоё», работа над которой началась в 1978 г., увидела свет в 1986-м – 8 лет мытарств.

<sup>14</sup> Григорий Михайлович Левин – поэт, критик, создатель и руководитель литературного объединения «Магистраль». Что касается рифмы, у В. есть о ней озорное стихотворение «Склад ума», из цикла «Записи» («Явь», М., 1993, с. 91): «Тут рифма – осторожно – выстрел... / Что скажешь ты – то я уж вы... / Так в складе русского ума / жива поэзия сама – / любого умного движенья / душевное опереженье».

Остался губитель и прячется в кущи –  
Чешуйчатокольчатоскоротекущий...

(Г. Табидзе)

Тут он ещё и грузинскому изобилию подыграл. А звукопись? Так и шелестит в куцах всеми своими чешуями губитель, известно какой.

### 1 августа

Ольга Алексеевна принесла письмо из Тбилиси с гранками поэмы Отара Чиладзе «Три глиняных таблички», которую Володя перевёл. Написано по мотивам шумерского эпоса о царе Урука Гильгамеше. Володя сказал, что работал над переводом полгода, откладывая и вновь возвращаясь, что «уклонился в сторону фантазии, прекрасной и богатой»<sup>15</sup>.

Пересказывала ему кое-что из книги О. Ивинской о Пастернаке. Об их игре: «Здравствуй, Магнитофоша...» («*И ничего не разумели /висящие вниз головой /запоминающие змеи /аппаратуры слуховой...*»<sup>16</sup>). О том, как при запрете переписки Б. Л. писал ей в лагерь трогательные письма от имени мамы. В. слушал очень внимательно.

А Ольга Алексеевна позабыла рассказом об их знакомстве с А. Толстым. «Володюшка, ты не помнишь?» – «Он мне не понравился». (Это в шутку, т.к. Володя был ребёнком тогда и ничего не помнит.) О. А. летом отдыхала с сыном под Горьким, там же жил на даче А. Толстой с челядью и женой. Вечерами гуляли по берегу Волги. Жена водила его как некий священный сосуд. Однажды Толстой остановился и погладил Володю по головке («И в гроб сходя, благословил»). С той поры раскланивались. Правда, очень скоро Т. вместе со всей прислугой и скарбом отбыл куда-то в другое место, кажется, в подмосковную усадьбу. «Значит, всё правильно Булгаков написал», – это я о «Театральном романе», который Володя подзабыл. Сказала, что не прощаю Толстому мерзкой карикатуры на Блока в «Хождении по мукам». В. тоже не прощает.

По какой-то ассоциации рассказал, как когда-то писал для «Знамени» статью о северных стихах Ваншенкина. Ругал и хвалил. Вменял ему в вину гибель культуры («В каждой улице – гармошка, В каждом озере – луна – кощунство!»). В редакции основной пафос изъяли, получилось нечто банальное, «как у всех». Он пришёл туда, сказал, что больше с ними не играет, а гонорар пусть они пропьют с Л. Скорино, которая так хорошо умеет вычёркивать. Только и ходил туда, когда там была Галя Корнилова. Теперь они ждут от него стихов. Он подумает.

Я рассказала, как мечтала одно время уехать, например, в Вологду, жить в деревянном доме, у реки. Володя вспомнил, что у Мити Голубкова есть стихи о женщине, которая ждала его в Вологде, писала скупо. «То, что могло состояться – и не состоялось. В этом весь Митя. Но стихи написаны слабо, это скорее повесть...». О домах: «В наших теперешних отсутствует чувство юмора: всё так разумно, целесообразно. Счастья нет. А деревянный хорошо срубленный дом – какой он ненаглядный!».

<sup>15</sup> Поэма вошла в книгу В. Л. «Время твоё. Переводы из грузинской поэзии. Стихи о Грузии», Тбилиси, 1986, с. 114–126. Ей предпослано предисловие переводчика, где он признаётся, что «стремился дать волю древней поэзии, едва ли сознаваемой её творцами» и многое привнёс в поэму, «универсальный сюжет и главная мысль» которой – борьба со смертью.

<sup>16</sup> Из поэмы «Твардовский».

### 14 августа

На днях Володя открыл наугад воспоминания Н. Я. Мандельштам (2-ю часть), попал на кусок о жене Ходасевича, стал читать вслух. Своё стихотворение о ней («Вдова»<sup>17</sup>) он включил в будущую книгу, только напечатают ли? Разве что в Грузии. С Анной Ходасевич его познакомил Митя Голубков. Портреты этой женщины в Володиных стихах и в воспоминаниях Н. Мандельштам очень схожи.

Дальше у Н. Я. было об отношении Мандельштама к женщине-жене: его идеал – девочка, намного младше, косящий дикий глаз, врушка и дурочка. Терпеть не мог энергичных деловых женщин, устраивающих дела расслабленного мужа. (В.: «Я тоже».) И заканчивался этот кусок Антигоной – о том, что в нашей стране советские антигоны не имели возможности похоронить своих мужей. «Так-то, сердечко моё...»

Вспомнила, как месяца два назад Володя сказал: «Я хочу, чтоб меня похоронили где-нибудь на отшибе, незаметно, не в этом муравейнике». Крематории и городские некрополи наводили на него тоску, если не ужас...<sup>18</sup>

12 августа Володя уезжал в Ниолу на встречу со своими выпускниками; с ним ехал и Коля Герасимов. В. вёз кучу подарков для своих «детей».

А накануне мы пили чай у него на кухне. Володя посмотрел в окно, вскочил на подоконник и закричал в форточку: «Слава!». На мостовой стоял под дождём Человек-птица в красной рубашке и слал воздушные поцелуи. Он был совершенно пьян. Через несколько минут поднялся в квартиру.

Славу Макарова можно было встретить везде, где собиралось больше трёх литераторов. На «Магистралах» появлялся часто, но большей частью молчал. Он работал где-то на заводе, лежал в психушках, писал странноватые стихи с проблесками таланта. Володя повёл Макарова в ванную – умыться: лицо у него было расцарапано, рубашка порвана, однако торт каким-то чудом уцелел. Слава, оказываясь, направлялся в тот же дом на чей-то день рождения. Умытый и переодетый, Макаров начал выступление. Минут двадцать он прыгал, принимал странные позы, говорил обрывками и мычанием, повторяя ни к селу ни к городу: «Ме-е – му-у – а – рры!» Поведал историю, как его побили и сняли часы. О ком-то – иронически: «Творец... Мастер! Маргарита... Алигер». Прочитал два стихотворения Бродского. Володе надо было уйти по делам, он мягко выпроводил Славу, потом сказал: «Вот нет уже обернутов. ОНИ идиоты: косят всех подряд. Ну и жили бы такие птицы, прыгали бы эти воробьи...»<sup>19</sup>.

ОНИ произносится с особым значением. Как-то он сказал Наташе Гениной: «ОНИ меня убьют». Впрочем, никогда не замечала у него даже тени страха перед НИМИ.

### 16 августа

С Евгением Владимировичем<sup>20</sup> провожали Володю в Калязин. Он вернулся из Ниолы уставший, почти не спал там – «от впечатлений». Был вечер встречи выпускников, его заставили читать стихи, читал «нечто хвойное».

<sup>17</sup> Позже эти стихи печатались под названием «Анна Ходасевич» («Явь», с. 44; «Сто стихотворений», М., 2013, с. 68).

<sup>18</sup> Володя похоронен у дороги, на краю лесного кладбища деревни Илешево Кологривского р-на Костромской области; неподалёку – могила художника и народного учителя Ефима Честнякова.

<sup>19</sup> Его памяти посвящены стихи В. Л. «Землёй и верой» («Хозяин и гость», с. 59).

<sup>20</sup> Е. В. Петерсон – отчим В. Леонovichа.

Лицо у Володи расцарапано: с каким-то Алёшей летели с мотоцикла. Если б не шлем, разбился бы как следует<sup>21</sup>.

Рассказывал о своих «детях» (которых учил два года и выпустил). Нина Большакова после института получила распределение в свою же школу. Нина помнит всё, что В. им говорил, все стихи его. Умница.

«Воспитывал в людях уважение к стихийным чувствам». Это по поводу того, что один из последних выпусков целиком остался в совхозе, директор и учителя – в восторге, а Володя – наоборот...

На Савёловском вокзале, пока стояли в очереди в кассу, посмеялись над электронными часами. Вблизи совершенно невозможно было прочитать, что они показывают. Ждали, когда выскочит следующая цифра, – получалось ещё непопуще. «Ну, пять ему никак не сказать... Не сможет!»...

Условились, что к его возвращению из Калязина перепечатаю стихи для грузинской книжки.

### 8 октября

Не видались с Володей почти два месяца: он был в Калязине, а я в середине сентября взяла отпуск и уехала к тётке в Псковскую область, в деревню с чудным названием Струйско. Вернувшись в Москву, Володя услышал от Лиды Мурановой, что продаётся дом в Дедовцах, близ пушкинского Михайловского. Он давно поговаривал, что хотел бы купить избу в живой, обитаемой деревне – не в вымирающей, как на Пелусе<sup>22</sup>. Ольга Алексеевна просила меня съездить с ним, посмотреть, что там за дом. Договорились, что Володя заедет за мной в Струйско.

Едва дошли от автостанции до дома, он запросился в лес. День уже стал вечереть, часа 4 было, но взяли корзинки, пошли. Насобирали грибов. На Пахомовом крыже Володя по-мальчишечьи ловко влез на самую высокую сосну – поглядеть, что вокруг. А вокруг – лес да лес, заблудиться ничего не стоит.

### 9 октября

Пошли на Белое озеро, километрах в восьми от Струйско. День был бесшумный – замерший и сияющий. Недалеко от ручья, на горе, где сосновый молодняк, Володя услышал тетеревов – и стал их звать. Он в них влюблён и говорит, что даже не песню тетеревиною слышит, а чувствует их присутствие в воздухе.

На озере он покатался немного на плотике, потом разожгли костёр. Долго, часа два, глядели на озеро. Оно такое тихое, что его вроде и нет, только по отражению деревьев и угадываешь воду.

### 10 октября

Опять пошли на Белое, но теперь через деревню Дворец. Развели костёр на вчерашнем месте, но с нами теперь был чайник, а возле Дворца нарвали букет зверобоя. День был пасмурный, поднялся ветер – северный, резкий, набежали тучи, принялся было дождь, но ветер угнал его дальше. С того берега взметало вверх листья и доносило до нас. Они кружили высоко-высоко над водой, как

<sup>21</sup> Об этом или, что более вероятно, подобном происшествии – стихотворение «Другие волосы» (из цикла «Записи»): *«Не помню сколько было выпито /но мотоцикл завели /с братухой шпарили до вылета /ему хана не довели /а у меня коробка треснула /зато поправились мозги /теперь водярой жутко брезгую /такие паря пироги...»* («Хозяин и гость», с. 33).

<sup>22</sup> Деревня Пелус-озеро в Карелии, где с весны до осени жили В. Л., поэт Я. Гольцман, их родные и многочисленные гости – поэты, музыканты, художники. Как иногда говорил В., «наш Барбизон».

мелкие птахи. Глаза плакали от дыма, но уходить не хотелось. Вдруг появилось в небе небольшое синее оконце, очень скоро ветер развеял хмарь – солнце засияло. «Изерко... Наглядеться нельзя никогда...» Володя всё повторял, что эти места: песчаные дороги, угоры, беломошники, вересковые поляны, – похожи на его Пелус: «маленькая Карелия». Пекли яблоки в золе, пили чай со зверобоем и брусничным листом. То говорили о разном, то молчали.

Назавтра решили ехать в Пушкинские Горы. Володя никогда там не был – страшился, духу не хватало. А я в последний раз была года четыре назад, после Якутии.

### 11 октября

Вышли из деревни до света, ещё четырёх не было. Кромешная темень, но звёзды – по всему небу, дорогу различить можно. Морозцем прихватило траву, похрустывает ледок на лужах, дорога из упругой стала твёрдой. Езды от автостанции Ляды до Пскова – 5 часов, можно выспаться.

Во Пскове взяли билеты до Пушкинских Гор и подались в центр – времени в запасе было часа три. Псков удивил запущенностью какой-то, стало много машин, в кремле бегают толпы зевак – и дерьмо по углам. Река Великая нехороша: будто вся городская изнанка вывернута на берега. Убежали от этой тоски в Поганкины палаты смотреть иконы – и сразу отлегло, душа отогрелась возле кармина и тёмной зелени, золотистой охры. На автобус чуть не опоздали.

Володина опаска перед встречей с пушкинскими местами сменилась радостным предвкушением. Ехал с лёгким сердцем.

...Над самым Святогорским монастырём с отчаянным тарахтением завис вертолёт – и сел на площади за горой, подняв вихрь пыли и листвы. Тётка, бежавшая нам навстречу, крикнула заполошно: «Самолёт обвалился!». Мы захохотали – и решили идти пешком в Дедовцы. Никак невозможно было сразу подняться к пушкинской могиле или бежать в Михайловское – сердцу надо было привыкнуть, глазам – оглядеться.

Километров семь отмахали скорым шагом, в Дедовцы добрались, когда уж смеркалось. Голубой домик, где у Ольги Александровны Голубевой жила летом Лидуша Муранова, нашли сразу. Грязно в избе у неё, жалостно как-то. Посидели немного, взяли питерский адрес хозяйки дома, который продаётся. Бабушка вышла проводить нас до дороги. Пошёл дождь. Автобус не ждали – он сам нас нагнал и довёз до гостиницы.

### 12 октября

Утро после дождя тихое, ясное, всё дышит и сияет, клёны светятся янтарём. Вышли из гостиницы, я сказала: «Ну, веди меня сам». И пошли мы к монастырю. Бродили по аллеям, я отстала немного от Володи – пусть побудет один. Потом поднялись наверх, сели на скамью. Положила ему на колени дубовый листок со ртутными каплями – слёзы серебряные. Жёлуди падали с двойным звуком: сперва пробьёт листву, потом шлёпнется на землю. Налетали стайки школьников, щебетали по-эстонски, пробегали мимо – и опять делалось тихо-тихо.

Володя встал, рукой слегка придержал меня – мол, посиди тут – и пошёл к Пушкину. Постоял у могилы сколько-то, вернулся – светлый и словно опустевший, с изменившимся лицом... Когда вышли за ворота, было уже совсем легко. Встреча состоялась.

Пошли в Михайловское. Было тепло, я даже плащ сняла – так пригревало... У пушкинского дома посидели на скамейке, а внутрь В. так и не вошёл.



Возвращались еловой аллеей. И тут открылось нечто: осеннее предзакатное, но яркое ещё солнце пронизало – напросвет – стволы и хвою елей, жёлтую листву, ярко-зелёную траву поляны. Володя пробормотал: «Так не бывает». И чуть погодя: «Никогда не видел такого осмысленного, торжественного леса». Это правда. Больше всего это было похоже на звучащий орган. Думаю, нам был подарен день особой осенней благодати – последнее тепло, солнце, безлюдье. Во имя...

Вечером гуляли по «Пушгорам», как именуют местные свой посёлок. «Пушгоры, – говорил В., – это что-то меховое». Одну из уютных улочек, текущую по дну оврага, мы в шутку нарекли улицей Гольцмана; был там и зацветший прудик, где памятник Яну должен был сидеть с удочкой; на углу рос красавец клён – возраста ему мы дали лет 50.

### 13 октября

Утром подъехали на автобусе до Михайловского. Бродили по парку, разглядывали самовары всех фасонов и размеров в террасе дома Гейченко, опять долго сидели на скамье. Наконец Володя решился, и мы вошли в дом. Там было зябко. Ветром в открытую дверь задувало с улицы сухие листья. Две сотрудницы громко, деловито вели перепись экспонатов, то и дело приходили экскурсии. Больше всего Володю занимали автографы-черновики в витринах, а я всё глядела в окна на синюю Сороть. На улице В. опять повеселел.

Женщина-смотрительница сказала: «Хотите – идите в домик няни, только дверь потом затворите. Там не заперто». Зашли, постояли.

Берегом озера Маленец и лесом пошли в Тригорское. Возле автобусной остановки старушки продавали яблоки. Володя купил у одной, у другой. Третья говорит: «Нас-то не обижай!» – «Да не съесть нам, и положить некуда». А видно было, что у всех бы рад купить.

В Тригорском посидели на крыльце, долго бродили по музею – он куда теплее и живее михайловского. Как при Пушкине было, так и осталось: тригорский дом роднее своего. Там найден был ответ на Володин вопрос: «А в какое окно он влезал?». Оказалось, во все перелезал. В.: «Он был обезьянка».

Тригорский парк так же одухотворён, как михайловский лес, но по-своему. Сияние клёнов наполняет всё вокруг, течёт в воз-



духе. Володя спустился с холма, хотел подойти к Сороти да не смог – река разлилась, топко.

Поднялись на городище Воронич, к старому кладбищу. Просторный, покойный вид на михайловский берег, но самой усадьбы не видно... В деревне Воронич купили килек. Влезли на старую, оставшуюся с войны насыпь, уселись. Раньше тут был мост через реку, его взорвали, а новый построили чуть дальше. Кильки были такие солёные, что В. кричал и морщился, как от лимона.



Три сосны на пути в Тригорское

Садилось солнце, а мы собирались ещё раз зайти в Дедовцы. Володя оставил Ольге Александровне письмо и свой адрес для владелицы дома, посмотреть который внутри так и не удалось. Бабушка рассказала нам о войне – как после освобождения здешних мест от оккупантов жители вернулись в деревню, а она сожжена немцами дотла. Стали рыть землянки. О. А. с малыми детьми четыре года в землянке жила, пока дом не построили...

Уже стемнело, но дорогу было видно хорошо: луна поднималась. Тёплый упругий ветер освежал при быстрой ходьбе. Говорили о том, как славно быть путешественником. Володя рассказывал о своих скитаниях – последние десять лет долго на месте не сидел, вот только в Николе осел на два года. Со 2-го курса университета его метнуло в Красноярск, Новокузнецк. 1960 год встречал на берегу Енисея... Потом уехал в Грузию. В промежутке без конца были поездки – то от «Смены», где работал литконсультантом, то по другой журнальной надобности. Я вспомнила, как весной 1969 года он, вернувшись из Грузии, собрал у себя на Гиляровской «Магистраль» – куча народу набилась, сесть негде было. А он ничего этого не помнит.

### 14 октября

В автобусе на Псков Володя устроился на заднем сиденье со своими листочками: по просьбе Майи Луговской должен был перевести с подстрочника чьё-то «любовное лирическое» стихотворение. Он как-то рассказал байку, будто Смеляков с похмелья ходил утром в трусах по комнате и кричал жене: «Танька, где моё любовное лирическое стихотворение, которое я вчера написал?». О Смелякове говорил: «Он хам, раб из рабов, но... свободен и – поэт. Откуда это бралось?».

В Пскове на автостанции Володя поглядел расписание – автобус на Ленинград уходил через 10 минут. Каким-то чудом



Тригорское

втиснулся в очередь, взял билеты. Сами не успели опомниться, как уже ехали в Питер. Это была чистая импровизация...

В пути В. продолжал колдовать над бумагами. После какой-то остановки пересел ко мне. Спрашиваю: «Как?» – «Полторы строчки». Вот как даются ему переводы!

В Питере выяснилось, что завтра мы, оказывается, едем искать дом в вологодские края. Похоже, Дедовцы отменяются – не глянулось ему это место. И правильно. Там уклад не деревенский, а дачный, дома вокруг раскупили ленинградцы.

### 15 октября

За час дошли не спеша от Коломенской до Адмиралтейства. У меня была назначена встреча с двоюродной сестрой. Володя отправился на Дворцовую площадь<sup>23</sup>, а мы сидели возле Медного всадника. Потом нас свозили на острова, к заливу, где запускают модели самолётов. Распрощались мы с моими родственниками у Кировского моста. Прошли насквозь Летний сад, где дети и взрослые собирали кленовые листья в гирлянды и букеты, двинулись в сторону вокзала.

### 16 октября

В Череповец приехали ночью, пересидели до утра на вокзале. В. купил в киоске книжечку Е. Винокурова из «Библиотеки “Огонька”». Киоскёрша предупредила: «Это стихи». В.: «Несмотря на это дайте мне её, пожалуйста». Читали вслух, посмеивались.

Автобусом доехали до Кириллова. Номера в тамошней гостинице были «бездружные», нам посоветовали сходить в котельную. Там кочегарил молодой парень, ничуть не удивившийся, что люди к нему помыться пришли. Это мы удивились, что по профессии он водолаз. В. оставил ему свой московский адрес.

### 17 октября

В Кирилло-Белозерском монастыре, в музее, великолепные иконы, особенно праздничный ряд из Успенского собора, ни на что не похожий.

В Ферапонтове Володе сразу понравилось: и озеро, и монастырь (вход оказался закрыт; проникли туда через лаз в заборе). Под навесом лежали доски. В.: «Ага, вот здесь я буду плотничать». Побродили по монастырю – и пошли к стогам на ближнем лугу. В. на четырёх лапах залез на верхушку стога, я за ним, достали бутерброды. Две женщины шли мимо: «Не развалите стог-то?» – «Не развалим». Они улыбнулись. Опять попустительство (Володино словечко). Знали бы, сколько таких стогов сметал он в Карелии.

Обследовали деревню Щёлоково на том берегу озера: несколько заколоченных домов, один – полуразвалившийся. Влезли на горку, которая полуостровом вдавалась в озеро, – вот идеальное место для дома: с трёх сторон вода и лес, позади – деревня, поле. Постояли, помечтали, побрели назад.

Из-за леса вставала огромная красная луна. В Кириллов возвратились на попутном самосвале.

### 18 октября

На остановке одна старушка сказала, что продаёт свой дом в Яршево, в 3-х км от Ферапонтова. Поехали с ней. Домик оказался мал, убог – решили идти дальше.

<sup>23</sup> Позже поездка в Пушкинские Горы и короткая прогулка по Дворцовой вылились у В. в одно из программных его стихотворений – «Могучий поздний возраст»: «*Через туристскую толпу /к Александрийскому столпу...*» («Хозяин и гость», с. 286).

Миновали Мурганы – хутор из двух-трёх изб. Вышли на берег Итклы, загубленной лесосплавом. Сразу стало понятно, что жить у такой реки нельзя: она мёртвая, хотя берег красивый, лесной. По берегу дошли до Емишова, на дырявой лодке переплыли на ту сторону, гребя шестами. На реке пищал и стрелял лёд, намёрзший за ночь. Поглядели деревни Митьково и Варовино, где продавался дом, – он-то хорош, а река уже всё решила.

Вернулись в Ферпонтово и полезли на гору, которая приманивала издалека. Преодолели первый подъём, вышли на поляну, к деревянной, в лесах и запустении, поздней церкви, погосту, каменному дому с зелёными железными ставнями (дом, нам сказали, купил художник – и разбился в автокатастрофе). Какой-то грустью повеяло от этого места, и всё же от небольшого «изерка» двинулись выше, к деревеньке Загорье, а оттуда – к Левушкино. Сверху виден стал наконец монастырь, и дали, и леса, но и слышен шум большой автостреды. 3–4 дома купили здесь художники из Москвы. Из одной избы вылез бородатый запущенный мужик, спросили у него дорогу, он ответил как-то нехотя. Мы стали спускаться вниз и веселились по поводу того, как скоро они одичали в башне из слоновой кости...

### 19 октября

Мороз и солнце. День... лица. В Кирилло-Белозерском монастыре Володя радовался деревянной церковке: «Ты нарисуй её в точности, надо будет такую срубить». По монастырю бегали глухонемые интернатские дети, играли, смеялись. Пока рисовала, замёрзла, пошла искать Володю на берег Сиверского озера, снова вернулась к церковке – тут он меня сам нашёл. Съездили в Горицы. Шексна, непомерно широкая от потопленья, глядела сердито, дул ветер. Монастырь на горе – в забросе и упадке, над куполом громыхал под ветром, грозился вот-вот упасть крест. Орали вороны, какая-то собака увязалась за нами, долго шла следом...

### 20 октября

Доехали до Вологды. Билетов на Москву не было. Мы бросили вещи и поехали в Прилуки. В Спасо-Прилуцкий монастырь одиночкам не попасть, хотя воинскую часть оттуда убрали; нам ничего не оставалось, как присоединиться к экскурсии студенток пединститута. Экскурсовод оказался забавный дядька: уклонялся в стороны от стандартного рассказа, обещал мигом научить отличать архитектуру XVI века от XVII. Вывел нас на каменную галерею – гульбище, откуда хорошо видны церковь и могила Батюшкова, пофилософствовал о законах красоты в архитектуре, о золотом правиле: удобство + конструктивность + красота. Бегом прошёлся по биографии Батюшкова: «Родился, служил, видел чудовищную гибель товарища на войне, в конце жизни – мрачные настроения, жизнь бессмысленна, на этом я кончаю, у кого есть вопросы – пожалуйста». Мы рассмеялись, и Володя подошёл, постоял возле оградки...<sup>24</sup>

В автобусе я вспомнила редкое издание Батюшкова с пушкинскими комментариями на полях. У Батюшкова: «Как ландыш под серпом убийственным жнеца, / Твоя краса склоняется и вянет...» – и помета Пушкина: «Ландыши растут в лесах и лугах, а не на полях засеянных». (На день рождения я подарила Володе малень-

<sup>24</sup> Из поэтов пушкинского круга Батюшков стоял у В. следом за Боратынским (-о- в фамилии Б-го – принципиальное). Стихи «Батюшков» («Утро ночное, слепое окно...» – «Нижняя Дебря», М., 1983, с. 65) – попытка проникнуть в безумие поэта. Как полагают, после свидания с Батюшковым в 1830 г. Пушкин написал знаменитое «Не дай мне Бог сойти с ума...».

кий томик Батюшкова – и вот оно как закольцевалось. В. тогда очень радовался книжке.)

На вокзале 3 часа с лишним промаялись в очереди за билетом. Вся Вологодская область едет в Москву за продуктами – сегодня пятница. К Володе проникся симпатией человек с тяжёлым лицом – зек, отпущенный на побывку (разве так бывает?). Сидит за участие в драке, кого-то поранил ножом. Многие постарались бы отделаться от такого собеседника, а В. говорил с ним как с любым другим. Тот позвал: «Пойдём покурим» – В. пошёл, хотя не курит. О чём они там говорили, не спрашивала. Наконец объявили, что на ночные поезда билетов нет. Пошли в ближайшую гостиницу для туристов – спать.

### 21 октября

Всю ночь в моём общежитском номере происходила какая-то жизнь: стучали в дверь, уходили, приходили... В полвосьмого пошла будить Володю. Он: «Пошто вставать?» – однако встал, собрался.

В картинной галерее, куда не успели вчера, В. показал мне маленький этюд Левитана «Сарай»: угол бревенчатого, ярко освещённого солнцем сарая – и ничего больше. Долго стояли и радовались сараю этому. Понравилась ему и картина Коровина: солнечная просторная комната или терраса с окнами в яркую зелень, гитарист на диване. Тона яркие, но ничто не кричит, всё собрано воедино. Вкусов его в живописи я не знаю, но мне кажется, что он может любить не художника, а – картины. Девушку на скамье я узнала: «Это же “Девочка с персиками”», – а В. подтвердил: «Да, конечно, это Вера. Смотри, как она руку положила» (свободно, легко лежащая на скамейке рука). Как будто ничего особенного, но – родное, тёплая волна узнавания. «Свои» – осенние берёзы Грабаря, две работы Стожарова (о нём много рассказывала Ольга Алексеевна, которая его хорошо знала) – деревня где-нибудь на севере Вологодчины или в архангельских краях. В. о Стожарове:

«Он это понимал...»

А вот графику Ф. Леже мы, ретрограды, своей не признали. В.: «Плакатики».

Была у нас такая игра: когда мы слышали по радио песни – как правило, «прославляющие» или «любовные лирические», я объявляла голосом конференсье: «Слова Роберта Рождественского» (иногда это так и было), и мы смеялись. По аналогии В. решил: «Все плакаты нарисовал Леже».

Почти весь день пробыли в краеведческом музее – он очень большой. Сначала глядели зверей и птиц местных, В. показывал своих тетеревов. Я нашла фотографии: осиротевшие лисята и лосёнок после затопления Рыбинского водохранилища – большая тема Володи. В. учил читать биографию деревьев по сре-



зам: плотное и необъёмистое дерево с узкими годовыми кольцами росло в чаще, широкое, свободное, более рыхлое – на открытом месте.

Добрались до исторической части. Володя рассматривает не бросающиеся в глаза экспонаты, а карты, книги в витринах, читает текстовые пояснения. Смотрительница в одном из залов удивилась: «Молодые люди, наверное, первый раз у нас – так внимательно всё смотрят». Устали молодые люди. В. присел на стул возле макета крестьянской избы. Вдруг из соседнего зала – голос маленького мальчика: «Мама, а дядя живой?».

Бродили по городу. Моросил дождик. Обошли много деревянных улиц, всё искали «мой» дом. Володя потом показал его мне – в кремле: терем-светёлку где-то высоко. Я радовалась, что ему понравилась любимая мною София – суровая, мощная, очень северная, с серебристыми куполами.

Раз-другой напомнила про вокзал и билеты, а он: «Ну что ты, Алёника, я на них обиделся», – и мы шли дальше. «Давно мы с тобой в кино не были. Ты когда была в последний раз?» – «Стыдно сказать, но когда смотрела “Древо желаний”». – «Значит, в тот же день и тот же час»...

Только после кино В. сознался, что уже взял билеты на автобус. «Ты проявила себя мужественным человеком, который не заботится о мелочах». – «Да я же страшная зануда, весь день тянула тебя в ту сторону». – «Нет, зануда – это я. Я бы весь день нудел и не дал бы тебе покоя». Наговаривает на себя. Зануда не встал бы в 5 ч. утра и не совершил бы «сомнамбулический рейд» за билетами!

Автобус всю ночь вёз нас в Москву. Она встретила обложным, серым осенним дождём...

### 30 октября

Володя встретил меня с работы, и мы пошли в гости к Наташе Гениной – пешком от Пушкинской по Страстному бульвару и дальше до Арбата. Уже горели фонари, выпавший накануне снег не растаял, слегка морозило, звёзды зажигались. «Зима будет хорошая, я думаю» (почему-то у меня возникла такая уверенность). – «Дай-то Бог. Осень была – огромная».

Говорили о книге Ивинской. В. заметил, что воспоминания А. Gladкова, Маслениковой, Ивинской о Пастернаке дополняют друг друга. Я спросила, нашёл ли он места, о которых говорила ему Масленикова. Нашёл. О том, как к нему приходили брать подпись за смертную казнь по делу Тухачевского, Якира и др.: он не дал, а в газете подпись появилась – чудовищно! Но вся книга Ивинской так и сделана: она не только свои записи даёт, но использует много другого материала – воспоминания Gladкова, документы, письма, газетные статьи. Как о человеке о Маслениковой она пишет очень тепло. «Я не знаю, что это, может быть, ревность, но обижаться не на что. Я кое-что выписал, покажу Маслениковой, успокою её...»

Ещё В. сказал, что в письмах Пастернака из Грузии его поразило одно место: П. пишет, что кругом очень милые, чистые люди, занятые жизненно необходимым делом, и он чувствует себя безнадёжно виноватым – он один становится всё хуже, и это навсегда. Смысл такой, а дословно не помню. В., мне показалось, воспринял эти слова как сказанное о нём самом. Мы как раз вышли на угол Калининского проспекта, где по мостовым ходит уважаемая, хорошо одетая публика. В.: «Они такие чистые, живут себе – зачем их трогать? Зачем всё? А я становлюсь всё безнадежнее...»

Зашли в книжный, купили Шкляревского, Митину книгу (уценённую), сборник песен Ленинградской области. Когда спустились к Щукинскому училищу, он

показал мне угловые, в первом этаже окна, где жили Журавлёвы – и Серёжа<sup>25</sup>. Окна были тёмные, нежилые.

У Гениных собралось человек двадцать, а то и больше. Молодые славные лица. Это гнесинцы, консерваторцы и филфаковцы МГУ – друзья Володи Генина, музыканта, Наташиного брата. Обещано было чтение поэмы о Мусоргском Льва Болеславского. Пока его ждали, Наташина подруга завела литературный разговор – о готовящейся реабилитации Гумилёва. А за дверью друзья Вовы Генина играли и пели Баха. Потом у них что-то не сладилось, они рассмеялись и поставили пластинку – орган и хор. В. слушал это, а не светскую беседу. Обернулся: «Как непрерывно перетекает...» Слушает музыку он удивительно: в местах особо напряжённых, на взлёте голосов кивает медленно головой, как если бы его внутренняя мелодия или мысль нашла подтверждение. Так и стихи слушает – вникая и соучаствуя.

Болеславский наконец начал читать. Володя слушал, низко опустив голову, – верный признак внутреннего протеста. С первых почти строк стало ясно, что в этой вещи – всё внешнее, много банальностей, пафоса, шума. После чтения долго молчали – никто не рещался высказаться. Володя начал первый. Вот суть его оценки:

«Я с большой ревностью слушал стихи о Мусоргском<sup>26</sup>. Это то, о чём надо писать, и много здесь несказанного, ненаписанного. Нет такого, что сказано непреложно. Во всём этом меня огорчило обилие риторики, которая убила вещь. Всё уложилось в уже имеющийся костяк, в заданные рамки... Вчера я читал книгу о прекрасном актёре Леонидове. Он играл Митю Карамазова. Леонидов пишет: “Шекспира идёшь играть, а Достоевского идёшь страдать”... Может быть, автор – поэт лирического склада, и он мог бы сказать о Чайковском...»

Потом стал говорить юноша в очках, с длинными лохматыми кудрями. Я никак не могла сообразить, где видела его раньше, пока не назвали его фамилию – Миша Аркадьев<sup>27</sup>. Он сказал, что для профессионала Мусоргский – явление не внешнее, а составное, т.е. часть «я». Отношение к нему – кровное. Драммы Мусоргского М. не увидел в поэме.

Высказывался ещё кто-то, Володя добавлял. Я тоже поругала Болеславского, заметила, что поэзия появляется лишь там, где идёт диалог с Шевченко и звучит украинская речь (Володя сказал, что в этом месте начал волноваться, а до и после слушал спокойно).

За чаем В. беседовал с Болеславским, я – с Мишей. Его друзья с большим любопытством наблюдали нашу встречу. Наташа попросила Володю почитать, он не хотел, но ребята, по существу, пришли, чтобы его послушать. Начал он, конечно, с противовеса: «А был Модест Петрович...». Читал много, почти не делая пауз между стихами, из больших вещей прочёл «Мавру». Слушали его буквально не дыша: когда стихотворение кончалось – выдыхали, потом опять замирали, до следующей паузы. Чуткие...

Когда шли к метро, Володя засомневался: «Наверное, не надо мне было читать» (это он усомнился перед Болеславским). Я успокоила: «Да что ты! Они только этого и ждали». В. – о поэме Л. Б.: «Конечно, всё здесь в порядке, и это будет благополучно напечатано». Зато не мог скрыть радости, что ребята пригласили его

<sup>25</sup> С. Дрофенко был женат на дочери Народного артиста Д.Н. Журавлёва Маше.

<sup>26</sup> В. высоко ценил его музыку, у него есть стихотворение «Мусоргский» («А был Модест Петрович / учитель первый мой. /Его я крови крович, /ближайший и прямой...» – «Нижняя Дебря», с. 72).

<sup>27</sup> Тогда студент Гнесинки, М. Аркадьев сейчас – известный пианист, дирижёр, музыковед, публицист. Мы познакомились, когда ему было 12 лет, в летнем лагере, где я была вожатой, а он – пионерчиком в моём отряде.

читать на филфаке МГУ: «Когда я учился, филологи ничем не интересовались и никого не приглашали». И потом: «А знаешь, как-то странно: я читал отстранённо, как бы и не свои, отошёл...» – «Ну, значит, напишешь другие».



### 3 ноября

Володя показал мне письмо Баруздина по поводу его публикации в №10 «Дружбы народов» – благодарность и поздравление.

Пишет ему ответ: приглашаю Вас вместе со мной побороться с цензурой и прочими за «Мавру» – и объяснение, что это за вещь.

Второе письмо – от Л. Аннинского по поводу Володиного отказа от писания статьи. Письмо блестящее – свободное, ироничное, не без цинизма, и стиль хорош. Суть: я бы с удовольствием печатал Ваши прекрасные письма, но это дело далёкого будущего, а пока могу только хвастать ими перед знакомыми. Несмотря на Ваши польские корни, Вы истинно русский человек – отсюда Ваше смирение и ответственность перед задачей. Но пока Вы смиряетесь, кто-нибудь менее щепетильный сделает это за Вас – и погубит идею. Так просто я от Вас не отстану. Выступите с диалогом в журнале – кстати, поделитесь опытом, как у Вас не получаются переводы с древнерусского на русский...

### 21 ноября

Звонила Володе в Пахру, на дачу Костюковского. Он читал сегодня статью С. Куняева о Заболоцком в «Литературной учёбе». В. говорил о С. К. примерно следующее:

«Он начинал с хамства... Про него был стишок:

Ходил по улицам прохожий,  
На всех прохожих не похожий.  
Но люди все до одного  
Похожи были на него.

Он и вправду всеми перебивал: и Евтушенкой, и Межировым – кем угодно. Потом это стало отпадать. Я читал его статьи... С Окуджавой у него получилось очень плохо, это ему зачтётся как грех. В Грузии сразу к нему переменялось отношение, они невзлюбили его за Окуджаву и не могли простить – обсуждали статью и говорили: «Кого мы вскормили!..» Я слушал, помалкивал и даже поддакивал. А Шура [Цыбулевский] написал стихи [стихи я не запомнила, но смысл такой, что ходит по Грузии поэт, хам и хулигатель, как старший брат грузинского народа]. Потом... потом он стал дарить мне свои книжки. На одной написал о протопопе Аввакуме и его огне. Потом была статья о Винокурове, где он жёстко и прямо сказал о нём – и сказал правду. Ты ведь знаешь, как у Винокурова: чуть ли не в баню – с посохом пророка, и это так, ради красного словца. С. над ним поиздевался. Я говорил ему, что это, может быть, напрасно. Но видел, что тут появился разум, хотя ещё не было сердца. А я написал стихи:

Рассудок – мы его винили хором  
и рассуждали про сердечный холод...

Стихи плохие, и я не к тому, но я твёрдо уверен (и там это сказано), что *разум – сердца тёплого дитя* и без этого оказывается в пустоте – *в пространстве замкнутом, в кольце напрасном*. Я видел в нём это движенье, огромную работу: обламывание себя и воспитание сердца. Никто на это не обращает внимания.

Потом мы были в поездке с грузинами на Бородинском поле. Бесик Харанаули мистифицировал всех, что будет играть Багратиона в каком-то фильме; все провозглашали тосты в его честь, было очень смешно. Стасик со стула читал стихи, были какие-то красотки... Потом мы вышли с ним вдвоём – он был пьяненький, а я нет, как-то мне не хотелось, – и он сказал:

На кого ты пошёл, мальчишка,  
С кем тягаться задумал ты?<sup>28</sup>

Я тогда не понял, к чему он это, и прочитал эти стихи.

Потом мы на какое-то время перестали видеться. И вдруг года три назад, точно не помню, я пришёл к нему и ему одному прочитал “Мавру”. Вошёл Межиров, и тут я понял, что он – отчётливо мешает. Межиров спросил: “Я не помешал вам?” Я сказал, что нет, а подумал, что помешал. Стасик, с его далёкими и противоположными взглядами, – слушал... Он не мученик, конечно, и не тиран (это явления одного поля, хоть и разных полюсов... да, одно поле – и разные полюса). Он сказал что-то о том, что его поразила сила этого духовного явления, которая так огромна, что вызвала столь большую работу поэтического духа.

И вот я пишу ему письмо: я растроган статейкой в “Литучёбе” о Заболоцком, читаю время от времени то, что ты пишешь, и не могу не радоваться, видя, что разум растит сердце (это для тех, у кого есть, что растить, – но это я не пишу, это он должен сам подставить). Помнишь, под Бородином ты мне прочитал: “На кого ты пошёл, мальчишка?..” Я тогда дочитал стихи, не понял тебя. А если бы понял, то ответил бы: на того же, на кого и ты пойдёшь».

Дальше Володя говорил уже о Заболоцком.

«Стасик пишет прямо о трёх периодах: период “Столбцов”, время без истории (это с 39-го по 46-й годы, когда З. сидел) и последний, когда пришёл к настоящим, ясным стихам. Я не мог никогда читать “Столбцы” без отвращения – захлопывал книгу. Даже, помню, отдал кому-то – у меня дома Заболоцкого нет. Вот я тебе прочту...» – и Володя прочёл из статьи Куняева о «Столбцах», где очень жёстко и прямо сказано, что это – эстетствующая хищность, когда поэт пишет об инвалиде неведомо какой войны с деревяшкой вместо ноги или о том, который зубами ведёт инвалидную коляску; это бесчеловечно и за пределами искусства. В.: «Да, поэты писали, а политики делали своё дело, и это одно и то же...»

Тут В. вспомнил о Багрицком, которого Куняев тоже ругал – «не за это, но за рядом лежащее с этим. Какой-нибудь Кедрин, поэтические возможности которого далеко не беспредельны, на их фоне выглядит как чистое золото – на фоне этих медных фанфар. Я говорил с Гариком Бебутовым, который очень резко относится к Заболоцкому, ненавидит его почти. Он рассказывал (он всё помнит и многое знает), что Заболоцкий “утопил” кого-то в Ленинграде. Я слушал магни-

<sup>28</sup> Из стихотворения Я. Смелякова «Пётр и Алексей».



тофонную запись его поэмы, прославляющей Сталина – без вдохновения, слава Богу, но так, как положено. Да, и это было...

Как-то я слышал ещё выступление Македонова (он тоже сидел в лагерях) на вечере Заболоцкого. Кстати, мне говорил Твардовский, что слышал от Македонова обо мне. Я не знаю, по какому поводу Македонов меня вспоминал, но у Твардовского была блестящая память, он никогда ничего не забывал и не путал, ошибиться он не мог, а я тогда запомнил эту фамилию. Это был старый человек, но он – лагерник! – был самый молодой из всех в зале. Он восторженно говорил о Заболоцком, о его поздних стихах. Вот какой путь проделал человек, пока поэзия его очистилась, пришла к простоте».

Да, где-то по ходу разговора, когда речь шла о Куняеве, о разуме и сердце, В. прочитал любимого им Боратынского:

Старательно мы наблюдаем свет,  
 Старательно людей мы наблюдаем  
 И чудеса постигнуть уповаем:  
 Какой же плод науки долгих лет?  
 Что наконец подсмотрят очи зорки?  
 Что наконец поймёт надменный ум  
 На высоте всех опытов и дум,  
 Что? точный смысл народной поговорки.

Говорили о подборке стихов Н. Гениной в «Московском комсомольце» с Володиным предисловием – обрубленным. В. посмеялся над названием рубрики «Книга в газете»: это хулиганское название. Решили, что придумал его Саша Аронов. И ещё В. думает о вечере на филфаке МГУ, что покороче и получше им почитать.

### 23 ноября

Сегодня – вечер Володи на филфаке МГУ, в новом корпусе на Ленгорах. Днём звонила Диме Леванскому, хотела позвать, но он сказал, что сам читает сегодня в Педагогическом институте и ещё – что умер Юра Смирнов, поэт из «Магистрала». Умер на улице, возле ЦДЛ, 42 года ему было. Дима просил сообщить Володе. Мы с Ольгой Алексеевной условились сделать это после вечера.

В аудитории помимо студентов уже сидели Наташа Генина, Рита Губина, Майя Луговская, Лена Уманская, Гарри Андреев, компания Володи Генина. Миша Аркадьев пригласил на завтра на их с Гениным концерт.

Володя открыл портфель, стал перебирать свои бумажки, сказал, что к вечеру не готов. Начал с благодарности к тем, кто сидел в аудитории. «Я рад, что пришёл в этот дом. Когда я учился здесь – правда, это было на Моховой, – мы были очень заняты: таскали большие стопки книг, были очень научные и не подозревали о черновой текущей литературе. Я рад, что вы – другие. Я пришёл к вам не вещать, а разговаривать».

Первые несколько стихотворений из цикла «Город» читал с листа и холодно-вато, ещё не вошёл в настроение, не почувствовал отклика. Читал посвященное С. Дрофенко «Прогулочная плоскодонка...», «Ты, дерево, прости людей...», «Я тысячи мотивировок...». «Теперь я хочу почитать о деревне, которую очень люблю» («Учитель», «В Калязине душном...»). Дошло до «Твардовского» – всегда бывает тревожно, когда он это читает, но стукачей в аудитории, кажется, не было. Впрочем, его бы это не смутило. Читал он не тот вариант, что давал мне на перепечатку. Здесь было о том, как Твардовский гонит *палкою и матюком правительственного лакея*, о *Люськиных хором*х (даче Зыкиной), занявших пространство, в котором разлита была сила этого человека. Как-то раз В. лукаво так говорит: «Какая будет рифма к слову “Зыкина”? – И, не дождавшись ответа: – Косыгина!»

После перерыва была «Мавра», стихи о Грузии и наконец – Галактион. Читал его прекрасно – легко, светло. У девочки, сидевшей рядом, увидела перепечатанные на машинке самиздатские тонкие сборнички – переводы.

Закончил, ему поаплодировали, он стал собирать бумаги, но никто не двинулся с места, и все рассмеялись. Странноватый человек из литобъединения Богучарова задал длинный путанный вопрос: какое место по отношению к сегодняшним стихам занимает книга «Во имя». В. ответил, что никуда от этого не ушёл. Во второй книге перепечатал намеренно те стихи из первой, из которых что-то выросло, но их зарубили, хотя сами же до этого печатали. «Я иногда жалею, что отхожу в сферу более разреженную, там мне холоднее». Дяденька ответом удовлетворился, но бормотал: «Вопросов много, много...»

Какой-то мальчик спросил: «А вы знаете грузинский?» – «А вы как думаете?» – «Как звучит Галактион по-грузински?» – «Для меня это музыка». Мальчик решил, что В. знает язык, Володе, по-моему, это было лестно.

Созорничал: предложил филологам угадать, о чём это, и прочитал на диалекте написанное «Нащо картозина склизкая глупая...». Вызвал восторг, но не уверена, что со слуха все могли бы перевести с русского на русский.

Кто-то попросил почитать из цикла «Портреты». В. читал «Евтушенко», «Межирова», «Анну Ходасевич», а закончил стихотворением «Узнает всё и переверёт...», где последнее слово – «тависуплба», и пояснил: «Это значит – свобода». Ребята захлопали очень горячо. В. подписывал книжки: у кого-то был Галактион, у кого-то – №9 «Литературной Грузии».



М. Луговская после вечера сказала Володе и Ольге Алексеевне, что как в церкви побывала – очистилась. Володю это обрадовало. С его слов: Майя ругала его за «Твардовского» – и за то, что прочёл, и за то, что В. его идеализирует. Я ответила, что это не так, что он знает о нём главное, а некоторые подробности – дело второстепенное. В.: «Да, да, я это знаю, были какие-то стихи о Сталине, “За далью – даль” мне не понравилась – я был тогда в Сибири... И она не права, когда говорит, что это Хрущёв дал возможность писателям говорить откровенно... Когда я увидел А. Т. и увидел “Новый мир”, я понял, какое это гигантское духовное явление – и это сделал Твардовский. “Новый мир” и “Тёркин” – вот уже два памятника ему можно ставить».

### 1 декабря

Володя рассказал о покойном Лесючевском<sup>29</sup>, как дважды беседовал с ним: «один раз хорошо, другой – плохо». В первый раз – когда пришёл узнать о книге. Тот встретил Володю словами: «Я знаю, вы пришли о книге просить». В. ответил, что ни о чём *просить* не намерен, а пришёл *узнать*, собираются ли они её печатать, и просто поговорить. Тон разговора сразу переменялся. Выяснилось, что Лесючевский знал все Володины грехи, и даже несуществующие (ему приписывали участие в демонстрации на Пушкинской площади, к чему В. не имел отношения). Знал и про Сибирь, про газету<sup>30</sup>. В. сказал: «Если это вам так интересно, я как-нибудь расскажу подробно и покажу документы». – «Да нет, не надо...». Звал Володю приходиться поговорить.

Второй раз было иначе. В. пришёл к Лесючевскому и сказал: «Знаете, я шёл по узкому тёмному коридору, прислонился к стене, стена подалась, открылась дверь – и я попал в райский сад, где росли золотые яблоки и пели птицы. Я открыл древнерусскую литературу и пришёл вместе порадоваться. Вот, сделал перевод...» (Это он о «Мавре».) Тут Л. сразу понял, в чём дело, и открестился: «А это, знаете ли, не по моему издательству, это по издательству “Искусство”»<sup>31</sup>.

### 5 декабря

Володя познакомил меня с Ильёй Дадашидзе<sup>32</sup>. С ним и Ю. Ряшенцевым они должны были выступить на семинаре у Иды Беставашвили<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> Николай Васильевич Лесючевский – главный редактор издательства «Советский писатель», литературный критик, умер 26 ноября 1978 г. В «оттепель» всплыли его доносы на Б. Корнилова, О. Берггольца, Н. Заболоцкого и др. деяния. Так, в 1954 г. при обсуждении партгруппой Правления СП СССР решения ЦК КПСС «Об ошибках журнала “Новый мир”» Лесючевский посоветовал Твардовскому поступить с его детищем – поэмой «Тёркин на том свете», как поступил Тарас Бульба со своим изменником-сыном, т.е. убить его (см.: Документы XX века. Всемирная история в Интернете. [www.doc20vek.ru/node/1612](http://www.doc20vek.ru/node/1612)).

<sup>30</sup> Имеется в виду история со статьёй В. Л., приуроченной к 70-летию Маяковского, в газете Запсиба «Металлургстрой» №№ 55, 56 и 57 от 7, 19 и 24 июля 1963 г., где В. свободно цитировал «литературного героя Евангелия Иисуса Христа», восставал против пошлости советских идеологических штампов и защищал Евтушенко, попавшего тогда в опалу. Разразился скандал, и В. уволили, правда, «по собственному желанию», без вольного билета.

<sup>31</sup> В этом – весь Володя. С литературным чиновником, стоящим на страже соцреализма, как, впрочем, с любым другим человеком, он говорил, не выходя из круга своих понятий, не снижая планки. Даже заполняя гостиничную анкету, на вопрос «Цель приезда» (в Пушкинские Горы) В. ответил: «Поклониться Пушкину» (а не «Посетить музей», например).

<sup>32</sup> Илья Юрьевич Дадашидзе – поэт, переводчик, сотрудник радио «Свобода». Умер в 2001 г.

<sup>33</sup> Анаида Николаевна Беставашвили – переводчик грузинской литературы, критик, публицист, общественный деятель. В те годы читала лекции по теории художественного перевода в Литературном институте, преподавала грузинскую литературу на Высших литературных курсах.

Илья начал первым – сказал несколько слов о Днях русской литературы в Тбилиси, потом читал свои стихи и переводы.

Володя не читал, а стал рассуждать о сущности перевода – излагал своё кредо. Это было связано с оживлением дискуссий в журналах по поводу переводов. «Дружба народов» № 11 опубликовала статью Джусойты: он ругает Володю, причём В. не в обиде и считает, что Д. где-то прав, когда говорит о точности определения жанра.

Рассказал В. и о замысле новой книги, где переводы и собственные стихи (а он не делит эти два рода творчества на первый и второй сорт) «должны войти в сцепление вот так» – и показал, как сцепляются две руки, когда пальцы одной входят между пальцев другой, – «взаимовлияние состояний, мыслей, взглядов, интерес к одним и тем же вопросам». Он искал аналогий в таком построении книги – ему помогли, назвав Жуковского, Лермонтова. В. признался, что так далеко назад не оглядывался, а в близкой по времени поэзии не нашёл. Размышлял о Пастернаке, его работе над «Фаустом» – о силе влияния Пастернака на всё, к чему прикасался: «Я уверен, что литературовед, не чуждый мистицизма, легко мог бы доказать, что и Пастернак влиял на Гёте, а не только Гёте на Пастернака».

Говорил о Белле – её перевоплощении в Галактиона. О том, что нельзя брать переводить чуждое по духу, о своих «случайных» работах (история с Карло Каладзе – его поэмой «Зульфигар», когда, переводя её, он время от времени падал на пол в тбилисской гостинице и лежал без сил; о мучениях с Лианой Стуруа: «Цирлих-манирлих, верлибр, дамские стихи – но моё мужское сердце дрогнуло, и это грех»). К концу его занесло к Пушкину, к «Борису Годунову», когда речь пошла о трагедии – не помню, как договорился до этого.

Ряшенцев выступил, как всегда, артистично. Сопоставлял себя и Володю: подход к переводу схожий, метода разная. «В. ищет себя в переводимом, ищет созвучия, а я ишу, чего у меня нет, и если нахожу в себе это, перевод получается». Признался, что никогда не прочитывает подстрочник до конца – избегает заданности.

После перерыва их попросили ещё почитать. В. прочёл «Сентября 26-го...» и «Гляжу на безобразье сброда...» – и осёкся. Но Ида попросила Галактиона – он прочёл несколько стихотворений, затем – «Как у Шекспира пляшет строчка...» (читал неважно, забывал).

Из института двинулись на «Магистраль», на вечер Окуджавы. В раздевалке В. встретил жену Мити Юлубкова и Марину, его дочь. Поговорил с ними. Поднялись в зал – вечер уже начался. Левин позвал Володю на сцену. Булат читал куски из «Путешествия дилетантов», опубликованные в журнале. Выступали люди, В. – предпоследним, перед Левиным. Прочёл некрасовское, им особо любимое «Еду ли ночью по улице тёмной...», заворожил весь зал, сказал, что Булат остаётся во всём – человеком, о его нравственном авторитете...

В. продолжает интенсивно работать над книгой, дал для перепечатки новые стихи и «Гильгамеша» из журнала. «Ты правь побольше, как следует, очень строго посмотри – что здесь ещё не окончено». Править стихи, по-моему, дикость. Но одно, «непроявленное», ему вернула.

## 11 декабря

Володя позвонил поздно вечером – зачитался книгой о христианстве в России в XX веке, «увлёкся, как студент». Читал мне отрывки из биографии Флоренского. Вспомнил свою пропавшую книгу «Письма Нестерова» с пометами на полях:

«Очень мне нужна сейчас». Я пообещала отыскать для него свои выписки из статьи Флоренского «Обратная перспектива»<sup>34</sup>.

### 27 декабря

Меня поражает интенсивность и напряжённость внутренней жизни Володи, непрерывная работа ума и сердца. Сказанное им в беседе, написанное в письме или статье вижу потом в стихах. Впечатление, событие, поразившее его, ищет форму, жаждет сказаться. *«И снова, глядя на отца, напишет сына Модильяни...»* (строчки из «Твардовского») – и в статье в «Дружбе народов», и в будущей грузинской книге о том же.<sup>35</sup> Видела черновик стихотворения о Булате, который идёт «как дромадер через пески». В статье, которую В. мне диктовал, тоже это есть. Эти самоповторы – оттого, что написанное становится частью внутреннего опыта, живёт в нём. Он думает главные свои мысли всю жизнь и потому правит, прописывает, переписывает стихи, иногда не к лучшему. Межиров, кажется, его за это упрекнул.

В четверг на «Магистрале» празднуют Новый год. В. думает пойти...

*Рисунки автора.*

---

<sup>34</sup> Не помню, кто именно из литературных чиновников обвинил Володю в богоискательстве (что свидетельствовало в ту пору об идеологической неблагонадёжности, а сегодня, напротив, было бы сочтено признаком лояльности системе). Володя на это отвечал: «А что мне Его искать, если Он у меня везде, на каждом шагу?» Чтением того лета были у него жития святых. Мы читали вслух житие царевича Димитрия, житие Мавры и Тимофея. Тема «исторических забытий», национальных корней, истоков русской словесности, духовного стоицизма никогда не уходила из его поля зрения.

<sup>35</sup> Речь идёт об истории одного портрета Модильяни. Позировавший ему человек не увидел сходства с собой и забросил «мазню» на чердак. Через много лет сын нашёл портрет и узнал – себя. *«Да будет то, что быть могло, /но в силу недоразумений /буквально не произошло. /Да здравствует душа явлений!»* Пожалуй, это можно назвать творческим кредо Володи, которому он следовал и в собственных стихах, и в переводах.

Алла Калмыкова

# Любовью отреченной

\* \* \*

Косноязычие души,  
отвычка говорить.  
В цвету поляны хороши,  
да некому дарить.

Лепечут листья невпопад  
и птицы гомонят  
о том, что ты любил меня  
всю жизнь... тому назад.

Живёшь во времени другом,  
мне не догнать твой бег.  
На сердце — камень, в горле — ком,  
и ты — нужнее всех.

1975

## ЗАПОВЕДНИК

\*

Разумный светлый лес,  
не знающий разора,  
где слитный шум древес  
органа или хора  
напоминает строй,  
где фальшью звуковой  
не поколеблет свода



экскурсия народа,  
горланящего вразнобой...

Как сдуло толпу –  
и эхо отлетело,  
один листок задело –  
кружится на ветру.  
А воздух опустелый  
робеющее тело  
выносит на тропу  
к усадьбе...



\*

...Сквознячок  
забвенья. Ток янтарный  
сквозь занавесь. Учёт  
предметов инвентарный,  
посмертные дела.  
И голосок бравады  
приумножает мгла  
пустынной анфилады.  
Но – дрогнула строка  
с глухим подземным гулом,  
и душу захлестнула  
волна черновика.  
Разлив реки, стиха  
расплав – густая магма.  
Погибельно легка  
над бледною бумагой  
шафранная рука...  
Походкою слепой  
тебя несёт – с листвою –  
прозябшим помещеньем,  
и если ты живой,  
то – Божьим попущеньем.  
Скорей – в оглохший сад!  
Над круглою куртиной  
блистает паутина  
сквозь слёзы невпопад.

\*

Огромный длится день.  
От бедного макета  
шагни в густую тень  
и вновь дойди до света.  
Там, в глубине аллея  
торжественного леса  
стволов летящих месса  
всё выше, всё смелей.



Творит и мыслит свет,  
 пролившийся сквозь хвою.  
 Вот где твоё, поэт,  
 именье родовое –  
 твой облик, твой завет.

1978

*Пушкинские Горы*

\* \* \*

Тобою, тобою единым  
     оправдана, освящена  
 жизнь моя. Если сердце  
     разлуки не стерпит,  
 поздних щедрот твоих чашу  
     выпив до дна,  
 в страх обращаюсь,  
     в слабый осиновый трепет.



Ты уходишь за край  
     небесный или земной.  
 В сени моей душно тебе и тесно.  
 Не горюй обо мне.  
     Воля твоя и покой  
 мне такая отрада,  
     земной мой, небесный.

К тёмному своду  
     вечерняя лития  
 тихо восходит  
     в облаке росного дыма.  
 Гаснет твой голос,  
     и дивная ткань бытия,  
 меж пальцев скользя,  
     истончается непоправимо.

1987

\* \* \*

Какая пустота дохнула за плечами!  
 Зиянием её глаза отемнены.  
 Я двадцать долгих лет несла обет молчанья –  
 обет глухой стены.

Сгорели двадцать солнц. Чернобыльского пепла  
 осело облако. Война... Ещё война...

Я не была, о нет. Стояла, глохла, слепла,  
как Лотова жена.

Ни перед Чёрною Мадонной Ченстоховской,  
ни в Умбрии, среди сна её холмов,  
ни италийской музыкой, ни польской  
не отогрела кровь.

Обведена Пьета резцом небесным света.  
Но как бледна рука, как непреложна смерть!  
Я думала: когда с тобой случится ЭТО,  
мне не дадут тебя оплакать и отпеть...

И в вечной мерзлоте есть камень неостывший.  
Моей епитимьи ещё не полон срок,  
но присно и вовек — едва тебя услышу,  
блаженная земля уходит из-под ног.

1998

\* \* \*

Я слепила гнездо на краю скалы,  
птица глупая, чуть живая.  
Слишком близко встают ледяные валы,  
пенной белую обдавая.

Слишком ветер яростен и суров —  
вот и крылья уже слабеют.  
Я цепляюсь за камни и ранюсь в кровь,  
но иначе я не умею.

Этот тёплый комок, сонный мой птенец,  
взыскан к жизни моей любовью.  
Если вниз сорвусь — нам один конец,  
я его увлеку с собою.

Он не встал на крыло ещё, не летел  
высоко и неодолимо...  
Но когда меня накрывает тень  
мощных крыльев твоих, любимый,

когда ты приносишь глоток воды  
и даёшь небесного хлеба,  
я не знаю крепче той правоты —  
жить на кромке земли и неба.

1998



## У БЕЛОГО МОРЯ

О тебе, о тебе, о тебе  
 ночью белою в Ковдской губе  
 раскричится кочевница-чайка,  
 как в степи плачя-половчанка.  
 О тебе — сквозь туман — острова,  
 голубая, по пояс, трава,  
 чёрный камень с прожилкою рдяной,  
 в древней церкви канон покаянный  
 и расплавленный перламутр  
 этих то ли ночей, то ли утр,  
 где предметы, лишённые тени,  
 словно призраки смертного сна,  
 где небес световая стена  
 и морская волна — нераздельны.  
 Всё — тобою, с тобой, о тебе.  
 Половица ли всхлипнет в избе,  
 оскользнусь ли на узкой тропинке,  
 всё — приметы, зиянья, поминки.  
 Я к холодному морю хочу.  
 Я, как зверя, беду приручу,  
 напою её вдосталь слезами,  
 чтоб настигла тебя и в раю,  
 чтобы глянула в душу твою  
 проливными моими глазами.

1998

\* \* \*

Жить, как будто умер ты?  
 Но зачем тогда на свете  
 эти тающие льды,  
 блики солнечные эти?

И зачем меня томит  
 отдаляющийся голос,  
 если дрогнул монолит  
 и земная связь расторглась?

Жить, как будто смерти нет?  
 Но зачем нездешней тьмою  
 твой очерчен силуэт  
 и зачем ты не со мною?

Ангел твой не уследил  
 или в небе заблудился —



слишком близко подпустил  
к бездыханным водам Стикса.

Отвернись и не гляди!  
Нераздельны, неслиянны  
свет и тень в твоей груди.  
Я целую эти раны,

эти меты бытия.  
И сплетаются, и рвутся  
боль твоя и боль моя,  
не умея разминуться.

1999

\* \* \*

Минует всё, сказал Екклесиаст.  
Великую депрессию и смуту  
перемоги, и кто-то знак подаст  
молиться — de profundis — за Иуду.

Запишем ноль, когда один в уме.  
Забывтая, пропавшая без вести  
в психушке ли, в Чечне, на Колыме,  
обрящется душа на прежнем месте,

в своём подъезде, посреди двора  
вороньего, песочниц и площадок,  
где бледная пасётся детвора  
и снег горит — зимы сухой остаток.

Озонная дыра, куда стекло  
отчаянье, на ветхий мир надета.  
Замутнено весеннее стекло,  
но резче грань видна меж тьмы и света.

Как в реставрационной мастерской,  
раскрыта жизнь в обратной перспективе,  
где всё мало, что можно взять рукой,  
и где чем дальше, тем неотвратимей

огромный зрак... Синица просит: «Пить-  
пить-пить» — зовёт небесной быть, ничейной,  
и — падшее взыскать, и полюбить  
любовью невозможной — отреченной.

2005



\* \* \*

Время чужое, мёртвое,  
 закрыв глаза, пробегу  
 и окажусь на том, на раннем,  
 на твоём берегу,  
 где туман не стал ещё облаком,  
 и река ещё не утекла,  
 и я не стала рекою,  
 пока в неё не вошла.  
 Воздухом быть не умею,  
 водою не смею, лишь  
 слышу, как дышишь,  
 знаю, что слышишь,  
 несу в себе эту тишь,  
 оплаченную судьбой,  
 не связанную обетом,  
 сравнимую с детским светом,  
 наполненную тобой.



2013

\* \* \*

Электронная почта безлика, пуста.  
 Напиши мне письмо своею рукою,  
 напиши, чтоб по чистому полю листа  
 полетели слова, как вольные кони.

Напиши мне чернилами, перьевой  
 ручкой, для характера утяжелённой,  
 и увижу, где сердце дало перебой,  
 где вздохнул, где поднял бровь удивлённо.

Мне о гневе резкая скажет черта,  
 о таимой нежности – многоточье.  
 После мёртвой воды живая вода  
 так желанна – другой вовек не захочешь.

Всё бы длить и длить воздушную связь,  
 голос гаснущий слушать бессонной ночью.  
 Всё бесплотней, прозрачнее становясь,  
 напиши мне...  
 Но письма теряет почта.

2014

\* \* \*

Полвека в тебя как в огонь смотрю.  
– Ты мне родина, – говорю.

И ты в меня как в воду глядишь.  
– Сама такая, – смеясь, говоришь.

Смеялись, плакали, то вместе, то врозь,  
и вот оно как, родимый, сошлось:

в изголовье твоём (а покров так бел!)  
нараспев читаю Псалтырь по тебе.

Я не плачу, нет, только голос высок.  
Вот кладут тебя в белый речной песок

на скрещенье дорог, где от смертного сна  
в воскресенье разбудит тебя сосна.

Мне привиделось – это навек сберегу:  
ты стоишь один на ночном лугу

в рубахе белой, и выше колен  
зыблется туман, будто тает тлен.

Таким и придёшь на последний суд.  
Осквернил лукавый твою красу

земную – всего-то! – да не уловил  
душу, вместившую столько любви.

9.08.2014

\* \* \*

Уехал, ушёл, затерялся, истаял, пропал –  
ты так захотел. Ты на ветер слов не бросал.  
Расчёлся со временем подлым, со всей сволотой,  
и Бог согласился, не спорил с такой правотой,  
с такой простотой, что в десяток уложена строк.  
Ты верил. Не лгал. Не убил. Ты любил, сколько мог,  
да так, что и сам стал любовью и светом в конце –  
и тихо сияешь на каждом любимом лице.

17.09.2014



\* \* \*

Вот теперь мы навек неразлучны с тобой.  
 Я не верю, я – знаю.  
 Неразлучней, чем древний как мир прибой  
 и галька береговая.  
 Эта сила и власть уже никогда  
 не узнает отлива,  
 ибо жизнь сбылась, и смерть не беда,  
 и всё справедливо.  
 Меж любовью и смертью различья нет,  
 они сёстры-двойняшки.  
 Та и та – мгновенный слепящий свет,  
 по коже мурашки.  
 Та и та – железная хватка – плен –  
 усилие свободы.  
 Ты опять впереди – я иду – до колен  
 мне горькие воды.  
 Ты опять позади – не хочу обронить  
 из бывшего ни капли.  
 Ты опять везде – что толку бранить  
 океан, не так ли?  
 Ты опять обтачиваешь и моешь мои  
 валуны и песчинки,  
 все напластовавшиеся слои,  
 личины, морщинки  
 совлекаешь – и я выхожу на свет  
 под теми же небесами  
 девочкой шести, не более, лет  
 с распущенными волосами.  
 Я смеюсь, прижимаю руки к груди  
 от немого восторга,  
 оттого, что вижу тебя впереди  
 и идти недолго,  
 оттого, что в мёртвой схватке с судьбой  
 накануне отлёта  
 ты зачем-то поставил перед собой  
 моё детское фото.

16.02.2015

*Рисунки автора.*

Наталия Генина

**О себе:**

*Поэт, переводчик, журналист, редактор детского европейского журнала «Остров Там-и-Тут». Родилась в Москве, там же окончила филфак пединститута. Работала в московских библиотеках, редакциях газет и журналов, десять лет руководила литературной студией, преподавала (и преподаю) русский язык и литературу. Автор книги стихов «Пятый угол» и нескольких книг поэтических переводов, сотрудничаю с российскими и германскими периодическими изданиями. Живу в Мюнхене.*

## Грузинские записки

*Знакомству с Владимиром Леоновичем я обязана целому ряду случайных и неслучайных совпадений.*

*25 октября 1974 года мой отец<sup>1</sup> был приглашён на день рождения Григория Михайловича Левина, руководителя знаменитой московской литературной студии «Магистраль». Здесь, в доме Левина, отец познакомился с Булатом Окуджавой и Владимиром Леоновичем – они когда-то посещали эту студию и считали Левина своим учителем. Леонович позвал всех присутствующих на свой творческий вечер, который должен был состояться на завтра в Малом зале Центрального дома литераторов. По просьбе отца приглашение досталось и мне тоже, и на следующий день я отправилась в ЦДЛ.*

*Малый зал был набит до отказа. Леонович читал больше трёх часов, но никто и не думал уходить. Это был глоток кислорода, которого нам всем тогда так не хватало. Когда чтение закончилось, вокруг автора стихов выфосла толпа желающих выразить ему благодарность за прекрасную встречу. Выполняя просьбу отца, я тоже подошла к Леоновичу, представилась и поблагодарила.*

*Вскоре после этого я оказалась на его выступлении в ДК автомобилистов – в литобъединении, которым руководил друг Леоновича, поэт Александр Богучаров (Морковкин). А через некоторое время я встретила Леоновича в музее Пушкина на 30-летию «Магистрала». Я пришла туда со своим отцом, которого Левин пригласил принять участие в концерте.*

*– Здравствуйте! Я вас помню, – сказал мне Леонович.*

*Я спросила, не может ли он как-нибудь прийти к Богучарову ещё раз: многие, пропустившие встречу, очень сожалели, что их не было. Он ответил утвердительно.*

*Кроме случайно попавшей мне в руки первой книги стихов Леоновича «Во имя», в печати я его стихов не встречала. Мне удалось найти только публикации его переводов с грузинского. К тому времени у меня был уже небольшой опыт перевода стихов – с латышского, по подстрочникам. Кое-кто из поэтов, в том числе Левин, стали советовать мне заняться этим делом серьёзно, но с Прибалтикой у Григория Михайловича не было тесных контактов. В «Магистрала» существовала многолетняя традиция перевода грузинской поэзии, и Григорий Михайлович предложил мне поехать в Грузию с его рекомендательными письмами – они были адресованы некоторым известным тбилисским литераторам, знакомым Левина. Грузия была моей старой любовью, и я с радостью согласилась отправиться за тридевять земель к своим дальним тбилисским родственникам.*

<sup>1</sup> Михаил Генин (1927–2003) – писатель, работавший в жанре сатиры и юмора. (Здесь и далее – примеч. автора.)

19 марта 77 г. к нам пришли Григорий Левин и Булат Окуджава с жёнами: отец получил в «Литературной газете» премию «Золотой телёнок» и решил отметить это событие. Были приглашены и Владимир Леонович с Валентином Берестовым, но они прийти не смогли. Мой поезд в Тбилиси уходил на следующий день, и Окуджава произнёс напутственный тост, пожелав мне успеха.

Оказавшись в Тбилиси, я в первые же дни встретилась с Георгием Маргвелашвили<sup>2</sup> (Гией, как его все называли). Он очень тепло меня принял и между прочим сообщил, что со дня на день в Тбилиси прилетает Леонович. Эта новость была для меня полной неожиданностью. Мало того, оказалось, что в ближайшие дни в Тбилиси приедут поэты Ян Гольцман, Марина Кудимова и Валерий Краско.

Через пару дней после разговора с Гией я отправилась в Главную редакционную коллегия по художественному переводу и литературным взаимосвязям Союза писателей Грузии, где находилась библиотека подстрочников. Там я перебрала гору подстрочников, которую мне дали, и была в отчаянье оттого, что ничего подходящего найти не получается. Вдруг дверь в библиотеку открылась и вошёл... Леонович. Я от неожиданности онемела. Он сразу меня узнал и заинтересовался, что я тут делаю. Запнясь, я попыталась объяснить, что сижу здесь уже целый день, но среди множества подстрочников не могу найти ничего, что бы мне хотелось перевести. Леонович с сочувствием выслушал мой лепет и сказал:

– Вот и нечего здесь делать! Мы пойдём к моим друзьям!

Конечно, в этот момент я и предположить не могла, что с этой встречи начнётся наша дружба и что она будет длиться не один десяток лет.

Я переводила грузинскую поэзию и ездила в Грузию – с перерывами – до 1990 года.

Я очень любила – и люблю сейчас – эту страну, её язык и культуру и, конечно, моих друзей-тбилисцев. Мне хотелось не забыть о том прекрасном времени, которое я провела в городе, ставшем мне родным, и я стала записывать то, что там видела и слышала. Получилось что-то вроде дневника, который я вела только для себя, никогда даже и не подозревая, что он кому-то в будущем может оказаться интересен. Я перелистываю эти страницы и встречаю имена многих замечательных, дорогих мне людей. Вот только несколько записей, в которых присутствует Владимир Леонович.

#### 03.04.1977, гостиница «Тбилиси»

*Вот что Леонович рассказал мне о себе*

Первую книгу он выпустил поздно, в 1971 году, т. е. в 38 лет (родился в 1933).

Говорит, что вырос в тиши: «У меня не такой темперамент, чтобы расти на глазах». Начал писать в 1954 году, в одесской мореходке, куда поступил по просьбе матери. Но понял, что военная муштра не для него, и написал об этом поэму, которую послал матери. Смеётся:

– Прозой я, очевидно, не мог объяснить, почему я не остался в мореходке.

Это, по его словам, было первой причиной, побудившей его писать стихи.

Потом Володя учился на военного переводчика – тоже бросил. Дальше был филфак МГУ. Второй причиной, побудившей писать, Володя назвал желание за-

<sup>2</sup> Георгий Маргвелашвили (1923–1989) – грузинский критик, литературовед, поэт, переводчик; многолетний ведущий в журнале «Литературная Грузия» рубрики «Свидетельствует вещий знак», в которой публиковались русские авторы; один из первооткрывателей творчества Беллы Ахмадулиной и многих других русских поэтов.

щитить одну из студенток: этому он посвятил своё послание в стихах, которое отправил в партбюро факультета.

Шёл 1957 год – год 20-го съезда, год оживления надежд. Володя перевёлся на заочное отделение и уехал в Сибирь, как он выразился, «по личным причинам».

Первая книга лежала в издательстве «Советский писатель» 7 лет (несмотря на поддержку А. Межирова).

Володя смеётся:

– Мне надо прожить ещё 300 лет!

Это звучит особенно оптимистично, если знать его кардиологические диагнозы. Как-то раз он настоял на том, чтобы я послушала его пульс. Я не хотела, было не по себе – и недаром: его сердце то билось, то замирало.

### Октябрь 1977, Тбилиси

#### *Из наших разговоров с Леоновичем*

На вопрос, почему Володя предпочитает переводить грузинскую поэзию, он ответил:

– Люблю грузинский народ за то, что у него не хватает одного винтика, как у нас, русских. У прибалтов – лишний винтик. А у армян – все винтики на месте.

\* \* \*

– Сильву Капутикян переводил, как я всегда перевожу, – вольно. Она не очень-то узнала свои вещи в переводе. Я, вспомнив Модильяни<sup>3</sup>, сказал, что, может быть, переводил её детей, откуда она знает? На том мы и расстались. С Отаром Челидзе – по-другому. Он говорит: «Я мыслю поэмами». И вот она у него дрожит, поэма (описывает руками овал и показывает, как этот овал дрожит). И – у меня дрожит. А что там внутри – уже не важно.

\* \* \*

Володя говорит:

– Есть поэзия, а есть стихотворство. Стихотворец может написать на любую тему.

– А поэт?

– Нет, наверно.

– Есть разные мнения.

– Ну вот один переводчик сказал, что может в день перевести двести строк. Это меня насторожило.

– Почему?! Разве это плохо? Я вот вчера пыталась перевести одну строчку два часа! Два!!!

– (Обрадованно.) Вот-вот! Это мне нравится! Это – ближе к истине!

– Но почему же? Разве поэзия это или стихотворство определяется количеством времени, затраченного на написание стихотворения? Разве, если человек пишет легко, он обязательно стихотворец?

– Легко?! Пусть говорят что угодно, мы-то знаем, как это делается! Кто это писал легко?! Пушкин, что ли?!

---

<sup>3</sup> «И снова – глядя на отца – напишет сына Модильяни...» (В. Леонович, «Твардовский».)

\* \* \*

Телефонный звонок.

Володя берёт трубку:

– Здравствуйте, Цаца!.. Нет, что вы, я рад слышать ваш голос...

– Цаца влюблена по уши в Галактиона<sup>4</sup>. Она светится, когда говорит о его поэзии. Я смотрю на неё, слушаю её...

– Что я здесь делаю? Работаю? Да, конечно. Но в основном хожу, слушаю, сижу в музеях... Это похоже на зарядку аккумулятора. Слушаю Цацу...

### *Рассказ Гиви Маргвелашвили*

Леонович переводил стихи Галактиона Табидзе, пользуясь подстрочниками. Всех текстов Галактиона он не знал, т. к. для него были сделаны подстрочники только части стихотворений. Мистическая история: в одном из переведённых Леоновичем стихотворений появилась метафора, которой в грузинском тексте не существовало, но она была в другом стихотворении Галактиона, которого Леонович не мог знать, потому что подстрочника этого стихотворения у него не было.

Гивя объяснил это переселением душ.

### **05.10.1977, Тбилиси**

Утром по телефону договариваемся с Володей зайти вечером к Вике с Робертом<sup>5</sup>.

– Я давно к ним стремлюсь, – говорит Володя.

Решили, что я поеду вместе с Викой из редакции журнала «Литературная Грузия», а Володя приедет сам.

Вика с Робиком (так все зовут Роберта Кондахсазова) живут на Авлабаре<sup>6</sup>, в двухэтажном сказочном доме, на крыше которого когда-то росла трава и паслись барашки. Мы с Викторией заворачиваем в Метехский переулок – он находится за храмом Метехи, который смотрит с крутой скалы на Куру.

Заходим в дом. Внизу – большая гостиная с камином, наверху – мансарда с мастерской Робика. Сверху виден старый город, Святая гора – Мтацминда – с Пантеоном, телевышка, крепость Нарикала. Разговор заходит об архитектуре: о том, как много наломали дров и в Тбилиси, и в Москве. Говорим о дочке Вики и Робика Дине, которая уехала учиться в Москву, в Литинститут. Это – лейтмотив.

– Она мне сегодня ночью снилась, – вздыхает Робик.

Спускаемся на террасу обедать. Шесть, половина седьмого. Смотрю на часы: Володя сказал, что придёт ранним вечером. В семь – звонок. Вика с Робиком выходят встречать Володю. Слышу:

– А где же Наташа?

– Здесь, здесь! – отвечает Вика.

<sup>4</sup> Галактион Табидзе (1892–1959) – один из ведущих грузинских поэтов XX в.

<sup>5</sup> Роберт Кондахсазов (1937–2010) – заслуженный художник Грузии, член Союза художников СССР, Грузии и России. Виктория Зинина – переводчица, жена Роберта Кондахсазова, долгое время была редактором отдела поэзии и искусств в журнале «Литературная Грузия», живёт в Москве.

<sup>6</sup> Авлабар – один из древнейших районов Тбилиси.

Входит Володя и, здороваясь, пожимает мне руку, как обычно, двумя руками вместе. И сразу принимается за еду – он голоден.

Вика:

– Мы тут пили без тебя, Володя.

Я:

– Уже три тоста было (показываю на свою полупустую рюмку).

Вика (иронически):

– Да, на три тоста – полрюмки.

Володя:

– Как она пьёт, я знаю. А это что? Это что-то родное...

Вика:

– Скумбрия.

Володя (радостно):

– Да-да!

Вика:

– Скумбрия, превращённая в воблу.

За столом говорим обо всём на свете.

Я:

– Послушайте, я чудесно живу!

Володя:

– Наконец-то! Этого-то я и ждал!

Я:

– Нет, вы послушайте, что я хочу сказать! Я ежедневно два раза в день слушаю гимн Советского Союза!

Володя смеётся:

– Достойное продолжение!

Я:

– Да, слушаю гимн два раза в день по радио: в 6 часов утра по Тбилиси и в 7 часов по Москве. Родственники, у которых я живу, радио не выключают круглосуточно. А в день открытия концертного сезона в филармонии я слушала гимн три раза, потому что открытие началось с гимна!

(Всеобщее бурное веселье.)

Володя:

– Я так соскучился по дереву, строить хочется... Сегодня снилось, что я строю дом...

Я признаюсь, что моим увлечением в школе было столярное дело, поэтому надо мной все смеялись: девочки должны шить и так далее. Володя смотрит на меня с любопытством.

Он рассказывает о своей работе в Костромской области, в Нее, в феврале-марте:

– Строили дом – хорошо! Только брёвна очень уж тяжеленные были, в три обхвата.

Переходим в гостиную. Холодно. Робик зажигает камин. Потрескивают дрова, горят свечи. Придвигаем наши кресла ближе к камину. Остановись, мгновение...

Я:

– Как странно! Камин, дрова трещат... Кажется, что за окном метель, сугробы...

Володя радостно поворачивается ко мне и кивает. Он любит зиму.

Приходит друг Робика Алик, тоже художник, с семилетним сыном. Ребенок чудесный: светлые кудри, голубые глаза.

Вика спрашивает:

– Гия, какие у тебя глаза?

Гия застенчиво шепчет:

– У меня глаза, как небо Италии...

Кто-то научил его так отвечать. Все смеются.

Вика:

– Гия, а кто самый красивый мужчина?

Гия (полушёпотом) :

– Роберт...

Робик:

– А каких ты маршалов знаешь?

Гия:

– Жукова...

Робик:

– А ещё?

Гия:

– Черчилля...

Потом Гия рассказывает, как устроена турбина. Все рассуждают о том, что дети сейчас очень развиты, начинают говорить очень рано.

Володя:

– У меня тоже так было. Столько мне было прочитано книг, столько всего в голове осело... А потом начался обратный процесс, я всё стал обратно выдавать. Просто бредил, даже температура подскочила. Врач пришёл и возмутился родителями: что ж вы делаете!

Алик рассказывает, что Гия, когда был совсем маленьким, вместо «пшеница» произносил «шепница».

Володя:

– Простая инверсия, а как чудесно сказано! «Кажется, шепчут колосья друг другу...»

Поднимаемся на мансарду. Работы Робика на стенах и кипа его работ в углу, на полу у стены. Робик показывает свои прекрасные иллюстрации к книге Иосифа Гришашвили «Литературная богема старого Тбилиси». Стихи для этой книги перевёл Володя, а издать её должен Марк Златкин<sup>7</sup>.

Робик:

– Я долго не знал, как здесь делать иллюстрации. Вот Шмаринов берёт строчку: «Наташа стояла у окна» – и иллюстрирует её. Не так же поступать, в самом деле! И вдруг понял. Обобщённая картина вышла, так?

Робик показывает свои иллюстрации, разложенные на столе, и они нам очень нравятся. Володя очень хочет, чтобы они были в книге.

Робик показывает замечательные портреты Дины, Алика и другие свои работы. Володя смотрит, напрягшись. Это его черта: с напряжением, душевным и мышечным, всматриваться, вслушиваться.

Вика:

– Тебе надо устроить выставку!

<sup>7</sup> Марк Златкин долгое время был директором издательства «Мерани» в Тбилиси.

Робик:

– Я бы хотел это сделать для того, чтобы посмотреть на все свои работы, итог подвести для себя, что мною сделано. А то я вижу свои работы только тогда, когда кто-нибудь приходит и я ему их показываю.

Вика:

– Я пойду добиваться твоей выставки.

Робик:

– Слушай, а нельзя ли где-нибудь снять помещение и развесить работы на денёк только, чтобы мне на них посмотреть?

Вика:

– Нет уж, пусть и другие посмотрят.

Подходим к лестнице, ведущей вниз, в гостиную.

Володя трогает трубу на потолке:

– Это что?

Вика:

– Отопление.

Я замечаю на столике в углу сову из кукольного театра, в котором Робик работает главным художником. До прихода Володи мне Вика показывала, как эта сова устроена. Я беру её, дёргаю за верёвку – сова хлопает крыльями. Вид угрожающий. Володя поднимает руки, заслоняясь ими от совы. Сова наступает – он отмахивается.

Я:

– У неё ещё глаза зажимаются, да только вот батареек сейчас нет.

Володя, кажется, этому рад, ему предостаточно крыльев.

Мы собираемся уходить. Вика предлагает мне свой шерстяной жакет: на улице холодно, ветер. Я надеваю его, потом беру плащ с вешалки. Володя галантно выхватывает его у меня.

Я отстраняюсь:

– Спасибо, не надо, я люблю сама.

Володя:

– Ничего, один раз потерпеть можно, я думаю?

Робик сообщает, что из этого дома их хотят выселить, а вместо них вселить иностранцев, которым здесь будет в тысячу раз лучше, чем в какой-нибудь «Иверии»<sup>8</sup>.

Володя:

– Ни за что не отдавайте! Обороняйтесь до последнего!

Разговор в прихожей продолжается, расставаться, похоже, никому не хочется.

Робик говорит, что некоторые не понимают, зачем он рисует:

– «Рисуете, а потом? Складываете в угол? Для себя?!» – Они думают, что я сумасшедший: ничего ведь с этого не имею.

Володя понимающе кивает.

Мы открываем входную дверь – свет из прихожей падает на тёмную улицу.

Спускаемся по ступенькам. Идём, всё время оборачиваясь: машем Робику и Вике. Они стоят в дверях и тоже нам машут. Сказочный дом всё дальше и дальше. Мы заворачиваем за угол. Всё. Спускаемся вниз, на Шаумяна. Володя что-то напевает. Я иду молча, говорить не хочется. Володя прерывает молчание:

---

<sup>8</sup> «Иверия» – гостиница в центре Тбилиси.

– Наконец-то я дождался холодов!

Эту фразу он произносит сегодня уже не в первый раз. Так я всегда жду тепла, как он ждёт холода. Володя сообщает, что ещё вчера был болен, поднялась температура, его всего ломало. А сегодня он идёт, распахнув свою чёрную кожаную куртку всем ветрам навстречу. Я предлагаю ему застегнуться. Он отвечает, что носит куртку нараспашку даже на севере.

Входим в метро «26 бакинских комиссаров». Володя останавливается, прислонившись к колонне. Молчим. Потом он сообщает, что опять – в который раз! – потерял мой телефон и опять хочет его записать. Я смеюсь и замечаю, что не стоит этого делать: всё равно потеряет ещё раз. Володя возражает, что на этот раз не потеряет, потому что запишет в телефонную книжку. Диктую. У Володи ужасно усталый вид. Он прислонился к колонне, едва не падает. Я хочу попрощаться, но он начинает говорить:

– Я вчера заболел, а сегодня ничего, уже вроде бы прошло... Вчера я так устал, что... – не договорив, машет рукой. – Галактиона три тысячи строк... Книгу складывать тяжело.

Говорим о книге. Володя вдруг вспоминает, что его стихи опубликовали в «Доме под чинарами»:

– Я думал, что они дадут их на следующий год.

Спрашиваю, доволен ли он подборкой. Отвечает:

– Ничего...

– Но в «Литературной Грузии» подборка, по-моему, лучше.

Володя кивает.

Я спрашиваю, как у него в Грузии обстоят дела с собственной книжкой.

– А что – с книжкой?

– Будут её издавать?

– Не знаю, пока никто меня не просил.

– Странно. А если предложить?

– Не хотелось бы... так...

– А в Москве?

– Там предлагают. Но это предложение лицемерно.

Спрашивает, читала ли я статью Дедкова в № 7 «Нашего современника», и, услышав, что я ничего об этом авторе не слышала, произносит с укоризной:

– Игоря Дедкова надо знать! Эта статья на новомировском уровне!

Мне стыдно, и я обещаю её прочитать, как только вернусь в Москву.

Тут Володя переключается на мои проблемы и начинает говорить о том, что должен мне помочь получить заказ на переводы. Я возражаю, мне неловко его нагружать своими делами:

– Володя, я не хочу, чтобы меня совесть замучила, это ведь понятно?

– Нет.

– Мне определённо лучше по-другому, сейчас объясню. Вот стоит, к примеру, тяжёлая сумка. Можно взять её, а можно пойти без неё. Я её обязательно возьму. Хотя, конечно, так и подмывает этого не сделать. Но: чем хуже, тем лучше. Я не знаю, понятно ли то, что я говорю.

– Конечно, я сам так живу.

– Тогда в чём дело?

– Наташа, всё гораздо проще.

– Нет, не проще: нужно кому-то звонить, кого-то просить, куда-то идти...

Володя молчит и смотрит на меня иронически:

– Всё не так. И потом... Это и мне самому тоже нужно.

– Доброе дело сделать?

Володя отрицательно мотает головой и молчит. Потом с трудом говорит – медленно, тихо, устало:

– Мне нужны люди, которые меня заменят... Смена нужна... Я хочу подготовить себе смену.

– ?!

– Да, я здесь сворачиваю дела.

– А Галактион?! Никто его лучше не переведёт. А ведь там столько ещё...

– Знаю... Посмотрим...

– А другие поэты как же?

– Ну, я Челидзе обещал поэму перевести, Чиладзе переведу несколько стихотворений...

– Так всё-таки, значит...

– Но – горизонт уже виден ясно, круг очерчен.

– Володя, почему?

Он долго молчит. Он часто останавливается перед тем, как ответить. Благодаря этому весомость ответа вырастает.

Наконец он говорит медленно, с паузами:

– Это дело себя... исчерпало... Я хочу заняться другим... Соединить два начала: древнерусское и современное...

– Понятно.

Он улыбается:

– Мне самому ещё не понятно, что это такое будет.

– Понятно, что есть желание полностью повернуться к себе.

Володя кивает.

– Ну вот. И я думаю, что должен помочь человеку, который в Грузии не случайный...

– Странно, как можно выдавать такие авансы.

– Можно. Я чувствую.

– Тогда у меня просьба: только, пожалуйста, без лишних усилий!

– Я же уже сказал, что всё это проще.

Володя сообщает, что ещё не собирается уезжать, и просит меня задержаться в Тбилиси:

– Только не надо спешить с отъездом, надо побыть здесь ещё некоторое время.

Я хочу, чтобы это было как можно дольше. Dixi! (Поднимает руку, прощаясь.)

Мы расходимся: я спускаюсь в метро, Володя выходит на улицу.

## Марина Кудимова

### О себе:

*Выросла в Пермской области среди эков, только что поменявших лагерь на лесоповал. Моей нянькой была украинка Маруся, и по-украински я заговорила раньше, чем по-русски. Мне было 9 лет, когда мы с бабушкой приехали в Тамбов к умирающему деду, и от потрясения первой смертью я написала первые стихи. Покинув Тамбов в 35 лет, я поняла, сколько этот город значил для меня и каким неиссякаемым источником поэтической энергии был. Первая книга вышла в 1982 г.*

*На излёте советской власти занималась переводами. Во многом благодаря Владимиру Леоновичу оказалась в Грузии. Там была возможность многое понять о русской поэзии. Что могла – вместила. В том числе – место и миссию самого Леоновича. Благодарна пожизненно.*

## Под одной крышей

Мемуары – совершенно не мой жанр. Память моя индуктивна и склонна обобщать, а не вычленять. Я практически не помню частных – только крупные планы. Мемуар же кричит: «Давай подробности!», как зал в песне Галича. Но в данном случае, возможно, это то, что нужно.

Хотя случилось – и не один раз, – что мы с Леоновичем жили под одной крышей, я решительно не помню ничего бытового. Как, например, он брился. Или стирал носки. При этом он – или его образ в моей памяти – всегда был идеально выбрит и вымыт. Брюки – пусть единственные – отутюжены до состояния водной глади (спал он на них, что ли, по-армейски?). Дабы никого не смущать «одной крышей», сообщу о нашей общей вечной бездомности и постоянном гостевании. Тбилисская квартира, ютившая нас, была большая, по расписанию мы почти не совпадали. Я тихо возвращалась часов в 5 утра оттуда, куда без Леоновича никогда бы не попала: он дарил мне Тбилиси щедро, последовательно и прицельно; все подарки остались со мной на жизнь. И ещё: в отличие от самоаттестации Цветаевой, которую якобы все видели *спящей*, а *сонной* – никто, я никогда не наблюдала Леоновича в этом пограничном состоянии. Кажется, мы тогда вообще не спали, а главное – не хотели спать. Всё время куда-то шли и ехали, где-то сидели за столом – отнюдь не за письменным, хотя работали много – или очень много. Но ни пьяным, ни *пьющим* я Володю тоже не помню.

Зато хорошо помню, как он с Яном Гольцманом встречал меня, когда я впервые приехала в Тбилиси. Именно приехала – почему-то на поезде, ереванском, хотя билет на самолёт стоил копейки. Мне тогда казалось, что из поезда *лучше видно*. На самом деле *лучше видно* было меня – армянским мужчинам, заполнявшим плацкарту. Мы шествовали под «одну крышу» по Челюскинцев (ныне Царицы Тамар) на улицу Хетагурова, и Ян нёс мою сумку как мешок – держа согнутой в локте рукой за плечом. Не помню, чтобы мы когда-нибудь пользовались общественным транспортом. Или, например, говорили «о смысле жизни». Мы здорово умели молчать, и я думаю, что за это быстро постигаемое искусство меня и приняли в их круг. И Ян, и Володя почти бессловно гордились тем, что это их город, что они знают его, как свою рукопись. И когда потом началось человеческое рассеяние и

отвеивание Грузии от России, я всегда представляла эту дорогу от вокзала и двух поэтов, на поэтов не похожих, а похожих на работяг в выходной день.

На тему «Леонович и Грузия» наверняка напишут много. А я дорожу тем, что Володя умел постигать город ногами, а великое – в малом, и меня на это натаскал; что подарил мне Эллу и Петю, Этери и Гию, Киру и Сашу, из которых только двое были грузинами, но Грузию мне являли остальные – «некоренные», которые часто любят землю обитания острее и нежнее «коренных». Про всё это написано в стихах – и нечего добавит в мемуарах.

В Тбилиси стояла весна – то есть такое состояние города, когда он ещё не поражен зноем до основания и не всё в нём ещё отцвело и припеклось, а по среднерусским меркам – натуральное лето в разгаре.

Всего лишь минувшей зимой Саша Тихомиров привёл меня к Леоновичу в московский бивак на Гиляровского, и Леонович был в валенках, а квартирёнка почему-то осталась на сетчатке таким деревянным теремком. Перезабазировав наше общение в Тбилиси, судьба больше меня туда, на Гиляровского, никогда не приводила. Мы с Сашей пробыли там не более часа и говорили так скупно, что как будто молчали, но когда вышли, Саша сказал: «Ты принята!» А я не знала, кто такой Леонович, – только что узнала, и то смутно, и не без иронии чувствовала, что тут какое-то «гуру». Юность поклоняется знаменитым, а Леонович не был знаменит и меня научил не быть. Но это выяснится много позже. И не гуру, а Учитель предстанет памяти во всей драматической безвыборности.

О поэзии Леоновича не написано фактически ничего. Андрей Турков достойно поздравил его с 80-летием, но юбилейные заметки и серьёзный стиховедческий анализ – не одно и то же. Почему так случилось с одним из самых несомненных поэтов XX века, безошибочно узнаваемых с одной строфы?

Идут года – стоят дела.  
Накапливается утрата,  
как призрачная тьма Рембрандта  
или собора полумгла.

В одном из писем Володи ко мне заключался вопрос-ответ, взывание-недоумение по этому поводу: «Неужели ОНИ не слышат!?»

Да, ОНИ именно и прежде всего не воспринимали акустики, которая определяет поэзию Леоновича. Звука, недоступного «экспертам» по вопросам премий и грантов, специалистов на тему «где чего дают». А уж до расшифровки, считывания и усвоения смыслов дело и вовсе не доходило, стопорилось на ранних подступах. О приятии тут говорить излишне: ИХ должно было воротить и корчить от каждого посылы, каждой ноты и модуляции. Всё скомпенсировано. И если ты хорошо знаешь, где и чего, то напрочь не слышишь, ЧТО, и не соображаешь, КАК. Отношения медведя и уха здесь ритуально добрососедские, договорные.

У Леоновича было два крупных «недостатка», с которыми невозможно войти ни в какую «обойму», тем более тусовку. Первый заключался в принципиальной и органической внешней антиистеблишментности. В уровне непохожести на НИХ, неотмирности. В какой бы версии публичности ни появлялся Володя, невооружённым глазом было видно, что не этого он поля ягода. Хуже чем чужак – чужак. Способностью к социальной мимикрии Леонович не обладал. Он знал единственный способ достижения общественных целей – пушкинский. Но «истинным царям» говорил уже без пушкинской улыбки. Её, похоже, навсегда стёрло с уст

всенародное телевизионное веселье и олигофреническое балагурство тех, кто занял место Поэта, – по-зощенковски, «с подселением». Оболочки цинизма – нет, не идейного, а игрового, защитного – Володя не нарастил. Особенно это было заметно на писательских сходках начала 90-х. Большинство просто пользовалось тем, что стало «можно». Меньшинство выжучивало – и выжучило – те или другие предпочтения. Один Леонович оставался серьёзным, а значит, заведомо проигрывал.

Исключение составляли моменты, когда он занимался тем, к чему Бог предназначил, – читал стихи. Тогда, на дистанции между ним и залом, его непохожесть принималась и понималась теми немногими, кто так же, как он, поэзию считал Служением, а не оказанием «культурных услуг».

Вторым «изъяном» было его неколебимое народничество. С тех пор как в нашей культуре возобладал смердяковский снобизм, с леоновичевскими поэтическими воззрениями и жизненной практикой делать – тем паче ловить – там стало нечего. Все, кому он нагадал неизбежное:

и встанет горла поперёк  
у нищих отнятый кусок,

временно потеряв возможность физически уничтожить такого гадателя, получили власть бойкотировать, игнорировать его. Иногда думается, что этот садизм замалчивания покруче лесоповала и одиночки в «Крестах».

На горестный вопль «Отец Небесный, нет народа/и не бывало никогда!» в наши дни имели право лишь несколько человек. Леонович – из равных первый. Потому что не от лакейского презрения, а из недр кровной сопричастности это вырвалось – и тут же прощением о милости микшировалось, жизнью трудника, выбранной им, рафинированным и насквозь прокультуренным, оправдалось, бабушкой, певшей слышанные «от народников» песни в Кологриве, утешилось. Из тех песен, из некрасовских *стонов*, из причитываний карельских и костромских старух («– Слушай, праведный лес, земля праведна,/водушка праведна!/ Не запугай, тропинushка, сынушку моего! – бабка Лиза с крыльца ворожит»), из нечленораздельного мычания русских алкашей, из высокой музыки русского аристократизма Леонович создал «сводный хор» своей поэзии и стал его регентом:

По крайней мере, некий сводный хор  
мне слышится – *так* дышит мой народ.

«Дети сельских учителей» – Павел Васильев и Борис Корнилов, приняв мученическую кончину, поворотом политического руля были вынесены на гребень новой волны (и под ней же вскоре погребены). Сельский учитель Владимир Леонович был проигнорирован своей эпохой. Но, может, это прижизненное пренебрежение теперь является залогом бессмертия, как прежде – «на десять годиков биллонтень»? Остаётся только по мере сил погашать этот страшный заём.

Леоновича через запятую величали «поэт, переводчик». Но то, что он «перевёл в слезах от счастья», доступно лишь тем, кто хотя бы отчасти знаком с оригиналом:

Ты жива, моя родина...  
Ты жива. Затаилась. Ноябрь. Ничего, ничего...



В. Леонович и Я. Гольцман, в центре – Аниота-почтальонка. Пелус-озеро, Карелия.

В доме на Пелус-озере.



## Вера Арямнова

### О себе:

Изданы три книги стихотворений, три небольшие книжечки прозы. Есть культурологический проект «Феномен российской провинции» – на материалах о жизни и творчестве выдающихся костромских шестидесятников. Есть множество неизданных рассказов, роман «Нездешние женщины»; готовлю рукописи четвёртой книги стихов, книги рецензий «Минуя прах черновика». Есть пока недописанный роман «Провинция»... Надо успеть. Иначе стыдно будет появиться там, куда уже ушло большинство моих дорогих друзей и учителей.

## Живой Леонович

### Владимиру Леоновичу

Здравствуй, дивное время итогов, слышу голос земли и воды, и мучительный ход ледокола, и шелкóвый восход лебеды. А года, а прощанья и встречи – всё приснилось, морока и тлен. Говорили мне: время залечит, но не вечен и времени плен. Впереди от печалей свобода, от любви, от лукавства людей. Надвигается гул небосвода... Пожелай, пожелай, пожалей!.. Ничего в небесах не забуду, пусть не помнят меня, всё равно – расставание это свобода, я усвоила это давно. Лишь её я тебе и желала, я лишь к ней устремляла мечты, жизнь не злая, о смерти – не знаю... Может – вдох до её нематы. Но пока что тропинка петляет, к небесам приближая шаги. Всё о том – голоса птичьей стаи и стремительный холод реки, и вот этот последний, безгласный, суховатый отрезок пути, без попутчиков, сказки и ласки, с светлячком стихотворной строки.

«...Я мистик, но здоровый», – сказал как-то адресат моего стихотворения. Уход Игоря Александровича Дедкова из нашей «абсурдной и быстротекущей» не мешал Леоновичу писать другу письма. На бумаге и мысленно. Собственно, было одно нескончаемое письмо к человеку, без памяти о котором Владимир Николаевич не прожил, думается, ни дня. Вопрос, есть ли что-то вообще за гранью нашего мира, там, куда в своё время уходит каждый, на земле неразрешим. Леонович пообещал: «Я, по всей вероятности, окажусь ТАМ раньше тебя. И, как только прибуду на место, сразу дам тебе знать». Не уверена, что это была шутка.

...Известие об уходе Леоновича застигло меня в состоянии переезда из Казани обратно в Кострому: готовила скарб к погрузке в уже заказанный грузовик. До встречи оставалось всего ничего... «Мы – твоя семья, а ты – наша», – писали мне из Кологрива. Да, решение вернуться в богохранимую было продиктовано и желанием оказаться поближе к друзьям, Виктории и Володе. Может быть, даже переехать в Кологрив. В любом случае грело ожидание близких встреч, возможность «договорить» письма. Думалось, каждое слово Леоновича буду записывать на диктофон... Но всё внезапно переменилось. Он заснул и не проснулся, что случается с людьми, свою жизнь заслужившими лёгкий уход.

Оглушённая в то утро 9 июля вестью из Кологрива, без видимой мотивации начала щёлкать мышкой в поисках определенного блога – и помнит-то в тот час о нём не должна была... Сразу бросилось в глаза, что эпитаф там сменился: висела не прежняя цитата, а всего одно слово: «Встретимся!» – тут и вспомнились Володины слова. Не внушение ли сверху подвигло выйти на тот ресурс? Понимаю:

*догадка притянута за уши, но пренебрегать ею не стоит – каким ещё образом Леонович мог выполнить обещание, как не с помощью нужного слова? «Материал» для него родной, надёжный...*

*Именно слово прочнее всего связывало его с людьми. Слово, которое было Делом. И любовью. К Соловкам и Карелии, Карабихе и Карабаху, к Москве и Еревану, Харькову и так далее. Но где бы он ни был – общение с костромичами не прерывалось. И я тоже не помню ни дня своей работы в газете «Северная правда» без невидимого и видимого присутствия Леоновича, его дружеской и интеллектуальной поддержки, не говоря уж о конкретном участии в делах. Дела были разными, но объединялись в его разумении как строительство «Костромы Дедкова». Всё, что касалось его кумира и друга, было его личным делом. Участие в Дедковских чтениях. Дискуссия в газете о переименовании областной библиотеки им. Н.К. Крупской в Дедковскую. Спасение Дедковской премии, которую, после трёх лет саботажа разработки положения о премировании, вознамерились было и вовсе упразднить. Спасение отдела культуры в областной газете, который некогда возглавлял Игорь Александрович. Спасение Литературного музея, необходимого творческой интеллигенции Костромы и её будущим поколениям (но всё же выметенного с главной площади города чиновниками от культуры).*

*Можно вспомнить, как замыслили и поставили на рельсы культурное приложение к газете «Северная правда». Пока я «обхаживала» департамент культуры и редактора газеты, сочиняла обоснование для приложения, смету и прочее, Леонович в нескольких письмах с Соловков, где работал топором и мастерком, обозревал свои возможности связать Кострому через эту газету со всей пишущей Россией...*

*Наш первый, «дедковский» номер оказался последним. Виною тому даже не то, что не нашли общего языка с начальницей департамента. Просто разные были у нас задачи – начепе желала сделать газету вестником департамента, информирующим область о его прекрасной деятельности, не более. От новорожденного приложения его «родителей» отстранили. Оно выходило ещё какое-то время, ничего не меняя в костромской культуре, а уж тем более в печальной картине разорванного поля российской культуры тех лет... С таким редактором, как Леонович, в то время у Костромы был шанс стать, в определённом смысле, литературной столицей России. Увы, этот шанс она упустила...*

*Радение Владимира Николаевича о родном крае, культуре, людях было праведно, деятельно и искренно. Его письма всегда читала с восхищением и благодарностью – они УТОЛЯЛИ. Особенный почерк, как нельзя более совпадающий с его голосом – ярким, сильным, делает письма почти «звуковыми»... Перечитываю с изумлением: сколько же там растворено любви, доброты, мужества великой души; какой неогороемый запас мудрости, сердца, ума, опирающегося на широкие и глубокие знания! Для меня он остаётся живым – пусть и находится ТАМ, откуда пообещал встретиться и где многолетний монолог его, обращенный к Дедкову, наконец-то обратился в долгожданный диалог.*

## ИЗ ПИСЕМ И УСТНЫХ СУЖДЕНИЙ ЛЕОНОВИЧА

\* \* \*

«Спи, кто может»... Не слабо, а? Но перед этим:

Пожелай ей спокойного сна –  
утомилась, кормилица наша.

Какая запятая! И я, глухой, раньше её не слышал! А она делает всё: интонацию, обращение – оборванное... и к ней, и к нам, и к себе.

\*\*\*

Есть бочка и есть обруч, который не даёт ей разлетаться. Есть свобода инстинкта и волеизъявления, и есть этические нормы, которые ограничивают форму и степень волеизъявления. Беспредел-то нам известен, ему обучились люди у государства. Увы, мы попали в такое время и место, где удивляться не приходится ничему, но подумать есть о чём.

\*\*\*

У меня первая книжка стихов «Во имя» выходила в издательстве «Советский писатель» семь лет. Таких длинных родов природа не знает. Но родовспоможение – на совести директора издательства Лесючевского.

\*\*\*

Пластику Лаокоона надо понимать костями.

\*\*\*

Отчего Фазиль не хочет просыпаться поутру? Газеты! Отчего Кондратьев – застрелился?.. По Екклесиасту: многие знания – многие печали. Мера знания и ответственности подводит к этой черте.

\*\*\*

А в простоту мне и впадать не надо – я в ней живу.

\*\*\*

Толпы рифмуются у меня с ОЛПами – отдельными лагерными пунктами.

\*\*\*

– Какие возможности пребывания свободного человека в этих условиях?

– Да тупиковые.

– Нет. «Я, не внимаемый, довольно награждён за звуки звуками, а за мечты мечтами». Это мой любимый Боратынский. Ты что-то сделал на бумаге. Чувствуешь, что останется. Как «Гренада моя» – одно стихотворение! Или как у Саши Аронова: «Остановиться, оглянуться». А я взял из Библии и перевёл Исайю – две строки: «или спасёшься спасая, или погибнешь губя». Я спокоен. Я оперся на Исайю.

\*\*\*

Александр Межиров о Евтушенко: «Опубликовал больше, чем написал». И ведь не он один.

\*\*\*

Буллат Окуджава – моцартианское, лёгкое, пушкинское слово. Владимир Львов – в сторону от Булата, в проклятую поэзию вослед Боратынскому. Нелёгкое поэтическое существование. В 16 лет ушёл на фронт. Первая его книга называется «Без отдыха».

Человек, забудь о тёплом доме,  
Навались на времени рычаг.  
На крутом, без отдыха, подъёме  
Шестерни истории рычат.

\* \* \*

Борис Чичибабин будет расти и разъясняется людям как поэт времени и вечности вместе. Жаль, не дойдёт до ваших мудрецов из газеты, КОГО отвергли. Но библиотека должна такие вещи чуять. Дело Бориса надо делать: доказывать идиотам политики, что славянам границ не надо, вражды не надо, что наша свобода имеет главным основанием христианское добро. Проще и детальнее, чем Борис Чичибабин, никто этого не сказал. Он сумел обнять ныне враждующие (враждующие!) страны и любовь к ним внушить всем, кто расположен её принять. Вот какой он «красный», какой «советский»... Бедные люди, не знают иных мерок.

\* \* \*

У польского узника Освенцима Юзовского более объёмное отношение к Пушкину, нежели голый восторг. А как там с Ольгой Калашниковой? Ведь ты её обрюхатил... Юзовский вынес из лагеря сомнения в честности замечательных художников эпохи рабства, Возрождения, Средних веков и т. д. Мысль не лишняя и не праздная, и пренебрегать ею не стоит.

И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалуясь, и горько слёзы лью,  
Но строк печальных не смываю.

Это – исповедь, но художественная. Над ней быт, грехи... наши.

Напрасно я бегу к сионским высотам,  
Грех алчный гонится за мною по пятам...

Пушкин сказал всё, но по-своему, оставил нам договаривать.

\* \* \*

Сын плотника в ненайденном ещё апокрифе немало всякого и везде понастроил, перед тем как приступить к тонкой работе над материалом человеческой души.

\* \* \*

«Кампания» во имя Дедкова принесла мне Сергея Яковлева, принесла мне Вас... Ещё раз: будьте мудры, не хлопните дверью, когда покажется, что не хлопнуть – бесчестно. Это не так. Игорь, как выясняется, имел в Костроме больше врагов, чем друзей. Вы появились – он Вам рад. Ни в коем случае не уходите из газеты!

\* \* \*

А «Дневники» Чуковского у Вас есть? Это прекрасный курс по литературе и по истории XX века в России – прочитанный изнутри предмета.

\* \* \*

Перечитываю Ваше письмо. Что за дичь несут: статья о Бондареве – плата за переезд в Москву, имя Дедкова на фасаде библиотеки – еврейский символ?! ...На Колодозере, глубоко в лесах Карелии, во дворе, где скотина, отхожее место и очко в виде пятигранного могоендовида: и тут они!

\*\*\*

С чем сравнить обиходный российский антисемитизм? Лишайник на елях, на камнях. Такой – он безобиден, естественно паразитирует на необразованном патриотическом чувстве. Но людям лень оглянуться на фашизм = уродливый патриотизм, любовь к собственной исключительности, каковой нет: исключительны все. Антисемитизм серьёзный страшен. Этот лишайник пожирает дерево и камень. Только хруст стоит. Отрадно лишь то, что негодяй ищет стаю, без неё он нуль.

\*\*\*

Плохо. Но нагрузишь Пегаса, и он вывезет! Держись и ты за лебединые лапки своих стихов. Они вынесут. Поднимут. Сейчас пол-России пишет (поёт, рисует) – авось и до Пушкина допишется!

\*\*\*

Не люблю шариковые ручки. Шарик – он беспринципный, поэтому люблю перья рондо, а так как нет рондо, то я их вытачиваю из плакатных.

\*\*\*

Не вздыхай. Люди и получше меня жили и похуже меня.

\*\*\*

Нынче на Соловках я заработал несколько сотен. Пахнут морем и щебёнкой, лесом и потом, стружкой и суриком, живым огнём русской печки, что перекалдывал...

\*\*\*

За труды по обустройству и спасению одной карельской деревни (гати, мосты, крыши, печи, постройка дома и часовни) получил я экологическую премию «Водлозёрье». Иначе, чем через собственный крестьянский пот, не узнать меру вандализма, опустынившего родину. Горжусь этой премией, как Нобелевкой!

\*\*\*

Кроме христианской грузинско-армянской древности преподносил я Дедкову, долговременному атеисту, такие отечественные вещицы, как переложённые в ямбы житийные истории из Четий-Миней. Надо было видеть его изумление: «Вот куда тебя потянуло...». Не только Игорю, но и другим (Слущкому, Межирову, Винокурову) это было чужим спервоначалу. Стасик Куняев сказал: «Чтобы в наше время такое писать... Не понимаю, но завидую. Мученичество мне чуждо...»

\*\*\*

А ты, выговаривая для меня рубрику в газете, должна их предупредить, что я не учёная крыса, а нормальный филолог-недоучка с идеями.

\*\*\*

Для моей вредности: сфотографируй вывеску – «Департамент культуры, истории и кино». Такие валенки такие вывески заказывают и под ними сидят!

\*\*\*

Мог бы написать статейку о языке газет: пошлость прёт, как толпа... Но читать их перестал. Себе дороже.

\* \* \*

Ленин не знал, как пашут землю, как рубят избу; усугублённое европейской образованностью российской невежество сего руководящего мозга обернулось бедой и для России и для мозгов Владимира Ильича. Мудрый Лев Толстой добирал «простые» народные знания к своей начитанности. Пилит бревно с мужиком, пилу начинает заедать, и тогда Лев Николаевич всаживает топор туда, где рез смыкается, зажимая пилу. Надо чувствовать материал, из которого задумал что-то строить. Кто ломает, тому чувствовать не надо.

\* \* \*

Как грустно и завидно читать о цеховых братствах. Об уставах амкари (мастеров), их гербах и знамёнах. О заповедях мастера ученику, где торжествует стремление к оригинальности и красоте изделия, иногда такого, что его грех продавать, а надо только дарить... Где это всё?

\* \* \*

А «Верушка» – это мой север, мои родные места. Я там – Вовушка и никак иначе. Язык мне тридцать лет ставили старухи, как ставят голос педагога.

\* \* \*

За Кострому я зацепился душой, вижу лица, слышу людей, для которых... Отрецензирую книгу «За что?» по-человечески. Все журналы мои о ней напишут. Эта тема – лакмусовая бумажка. Боюсь, наша начдепша Иванова учуяла чужое – именно это, постоянно звучащее и больное у Дедкова, неуютно власти, столь же нелепой и безобразной, как чугунная лапа Ильича над Костромой. На закате, когда смотришь с моста, это безобразие особенно заметно.

\* \* \*

С нашей неудачей – «СП-Культура» – что-то во мне оборвалось. Такое нужное, такое правое дело. И нелегко ведь было мне решиться, бросить на этот алтарь много и много свободы...

\* \* \*

Статья твоя про меня хороша. Но есть какая-то неловкость – читать про себя, поэтому лишь пробегаю, хватывая главное. В ясные минуты кажется мне, что я всё сказал, а то, что сказал хорошо, уйдёт на эпитафии и цитаты. В минуты ещё более ясные видел мой беспросветный долг перед Русским Словом.

\* \* \*

Ахматова – нерв эпохи, центральный, который в позвоночнике. Это реакция человека «на все времена», человека, несшего в себе Пушкина, Достоевского, Толстого, Анненского, – во времена победившего хама. Чрезвычайно ценная реакция, к тому же женская. Сейчас об этом пишу статью. Некогда мужлан кроме дамского рукоделья в стихах Ахматовой ничего не усмотрел. Такие люди раньше меня возмущали – теперь вызывают скуку безнадежности. Не жалость – скуку и тоску.

\* \* \*

...быть может, на всю Кострому ты одна – неспящая. Такая редкость. И знаешь, я сам себе понравился в твоей публикации: и во врезке, и в стихах (это две строфы,

которыми кончаются стихи о пацифистах), которые ты придумала сюда вставить, и в самой статье, кажется, достойной имени Игоря. Будем вдальблывать в родной менталитет замечательные вещи – и выдалбывать из него всякую пошлость.

\* \* \*

В Костроме (в Ярославле?) издать бы Чичибабина, отобрав лучшее и насущнейшее, оперевшись, скажем, на отношении Игоря Дедкова к нему. Это была бы как фибринная ниточка – остановить (предотвратить!) кровотечение... Боже, как я устал от идиотов, очных и заочных...

\* \* \*

Плюнь ты на них сквозь зубы. Да неужели я им нужен? Им нужен не я, анти-я, и таких они найдут. Игорь был исключеньем; лишь по внешности да по распределению подошёл, а по сути был блистательно чужим всей культурно-партийно-идеологической сплотке, раздираемой лишь мелкими самолюбиями, но единой в главном.

\* \* \*

Игорь Дедков – прежде всего мыслитель. Бодрый, тонкий, глубокий, совестливый и потому такой чужой гнилому болоту базанковых. «Знать – понимать – думать» – одинокий вопль Игоря на пустоши, на пепелище или среди базарного здорового шумка, поплёвыванья семечками, вороватого хохотка удачливых кожаных ребят с плечами... Был сирота – останется сиротой наш с тобой любимый человек. Но из этого ничего не следует. Нормальная жизнь!

\* \* \*

...зачем я это пишу? Затем, что ты доходишь до отчаяния, до крайней спешки в выяснении отношений с Богом, занятым – тобою же... Живы дети твои; голова твоя на месте; всё остальное – как быть должно; свобода именная твоя – при тебе; правда с тобой, а не с ними. В твоём положении глубже читается книга Иова; в твоём положении трактат Д. Бруно о героическом энтузиасте – это мысли о тебе же. Всё это надо ценить.

\* \* \*

Живу сурово, ты знаешь. Семь лет – биологический срок любви, потерпи, ты сказала. Семь таких лет – невозможный срок. Дикий образ – но будто проглотил огромную жабу, и она там живёт как хочет. Иногда обращается царевной... Нет, тут не семью годами пахнет...

\* \* \*

От Него я получал и получаю неслыханные милости – от меня Он слышал всякие слова, вплоть до укора Его сонности (проспал Россию Русский Бог...). И гордыню, кою считают первым грехом, я собираюсь донести до могилы и оставить при себе... Она у меня – синоним свободы в поступках. Молитва, которую Борис Чичибабин получил в дар от Зинаиды Миркиной – Да будет воля Твоя, а не моя – меня не устраивает.

\* \* \*

Насчет Окуджавы, кухонь, диссидентов и проспавших самих себя шестидесятников – что ответить? Не знаю. Мне было всегда некогда в 60-е-70-е-80-е-90-е

годы. Что-нибудь делал, кого-нибудь вытаскивал, как-нибудь шевелился в комиссиях (по природе, по памятникам, по репрессированным). Мои дела (издания, публикации, квартира...) делали другие за меня – потому что я делал за других. Сейчас подписываю договор на книгу «Подсудимое слово». Деньги даёт нам Солженицын, и тут – копнём: Дом Чуковского (на стихах которого поколения вырастали, пока читали) мы, кухонные мараты, спасли = спасли это «гнездо диссидентов» и очаг культуры русской. У Чуковских жил Солженицын, чуковские люди помогали ему материалами, без этой помощи он не сдвинул бы свою гору. После моего сводного письма наверх Люша (внучка Чуковского) сказала, что теперь она спокойна: сделано и сказано всё. (В трудную пору получаю от них тысячу рублей и не смею отказать). Солженицынский фонд, не имевший крыши, приютила Красовская в Доме Цветаевой (и этот Дом мы спасали когда-то), где я вёл «Магистраль» и проводил всякие вечера, не думая, что мне что-то должны за это... Но видишь, ничто не пропало, вспомнилось и связалось: каторжную книгу издаёт не власть (тюремная), но сам каторжник № 1. Деньги чистые, чище покаянных. И не надо рвать эту живую ткань, эту поруку.

## Григорий Зобин

### О себе:

*Поэт, член Союза писателей Москвы. Автор поэтических сборников, статей о русских поэтах и прозаиках. Окончил Литературный институт. Работал в Некрасовской библиотеке, преподавал русскую литературу и религиоведение в высших учебных заведениях. Сотрудник Государственного литературного музея в Трубниковском переулке (Дом С. И. Остроухова).*

## Что я помню о нём

Первый раз я увидел Владимира Николаевича, когда мне было семнадцать лет. Тогда я ходил в литературную студию «Алые паруса» при Республиканской юношеской библиотеке. Вёл её Александр Иванович Зорин, с которым мы дружим и по сей день. Нередко он приглашал на встречи со студийцами своих друзей – поэтов. Из них мне особенно запомнились и полюбились Александр Тихомиров, Марк Рихтерман и Александр Радковский. Двоих первых уже нет на свете, третий и ныне здравствует, чего желаю ему ещё на долгие годы. Но встреча с Леоновичем врезалась в мою память необычайно ярко и отчётливо.

В тот вечер, когда я вошёл, он уже читал стихи. Мне сразу бросились в глаза необычайно выразительные, мужественные черты его лица и сильные натруженные руки. Так обычно выглядят геологи, моряки, путешественники, люди, исходившие много дорог и многое испытавшие в жизни. Гораздо позже я узнал, что Леонович знает всю крестьянскую (и не только) работу и что очень мало есть такого, чего он не мог бы сделать своими руками. В русской литературе, особенно XX века, земной труд немало дал слову, немало помог ему освоить мир. Достаточно вспомнить «земляную работу» Пастернака, плотины, электростанции и пруды Андрея Платонова...

Но больше всего меня поразило звучание стихов Галактиона Табидзе в переводе Леоновича, их графичность, их возвышенная и благородная красота, неминуемо сопряжённая со страданием, удивительная способность передать русским словом самый дух грузинской поэзии. Я и сейчас помню, как он читал эти строки:

Метель!  
Изменит слово – глаз не выдаст.  
К Неве от Исаакьевских колонн,  
Колеблясь, шёл пирамидальный слон  
Сквозь призрачную взвихренность и взвитость.

Затем  
Серебряная пальма Heine,  
Едва ступив на чёрный гололёд,  
Вальсировала – ветви наотлёт –  
Я позавидовал кому-то – втайне.

Говорил он и о самоубийстве (а точнее – убийстве) Галактиона. В каждом слове Леоновича слышалось глубинное, сущностное, нескрываемое неприятие царившей тогда в стране подлости. Недаром уже позже вместе с Виталием Шенталинским он, преодолевая сопротивление тех, кому правда страшна и смертельна, занимался судьбами загубленных ГУЛагом писателей, воскрешая имена.

Потом мы встретились десять лет спустя. Я незадолго до этого окончил Литературный институт и пытался зарабатывать рецензиями. Анаида Николаевна Беставашвили, которую я хорошо знал благодаря тому, что посещал занятия в переводческом семинаре Льва Адольфовича Озерова, предложила мне написать о книге Леоновича «Время твоё», вышедшей в издательстве «Мерани». Книга включала в себя и стихи, и переводы Владимира Николаевича. Я с радостью взялся за эту работу.

Вскоре Елена Марковна Аксельрод, книгу которой «Лодка на снегу» я рецензировал, на своём вечере в ЦДЛ познакомила меня с Леоновичем. В разговоре он сказал мне: «Когда будете писать, всегда помните, что собственные стихи и переводы для меня нераздельны». *Чужого* в поэзии для него и в самом деле не было. Опыт соприкосновения в переводе всегда проходил через сердце. «Подвиг – подвигом переводим»...

Книга эта далась мне не сразу и нелегко. Рецензия появилась в «Литобозе» в конце 1987 года. К тому времени я работал в отделе краеведения Библиотеки им. Н.А. Некрасова у Эсфири Семёновны Красовской (ныне – вот уже более четверти века – замечательной хозяйки Дома Марины Цветаевой). Леонович был другом, соратником и частым гостем Эсфири Семёновны. Когда мы встретились с ним в «Некрасовке», он мне сразу сказал: «Здесь можно делать очень много хорошего». Вместе с Эсфирью Семёновной Леонович подготовил и провёл и прекрасный вечер Н. А. Некрасова по материалам архива К.И. Чуковского (тогда же по ним «Некрасовкой» был издан уникальный каталог) и вечер памяти А.Т. Твардовского, на котором собрал старых «новомировцев» и где впервые были обнародованы документы, связанные с травлей и изгнанием А.И. Солженицына. Леонович читал на нём свою поэму «Твардовский» – один из лучших словесных портретов великого поэта и великого редактора, и в том и в другом – наследника Некрасова, а главное – наследника по совести. Провёл он в «Некрасовке» и два вечера Бориса Чичибабина, с которым крепко и сердечно дружил. Я счастлив, что и мне довелось по мере сил поучаствовать в этих добрых делах.

Когда вышла моя рецензия на «Время твоё», я попросил Леоновича подписать мне мой рабочий экземпляр книжки, сплошь исчерканный карандашом. Леонович показал его Эсфири Семёновне и сказал: «Вот как надо работать с кни-



В. Леонович выступает в Центральном Доме архитектора.

гой!», чем очень согрел мне сердце. И в самом деле, книга для литератора – это рабочий инвентарь.

Позже я перешёл в Литературный музей, где обитаю уже двадцать пять лет. И у нас, в Доме И.С. Остроухова в Трубниках, Леонович стал другом и всегда желанным гостем, участником и вечеров, и дружеских застолий.

Памятен мне и один из самых прекрасных вечеров в моей жизни (поистине из тех, цветаевских «нездешних вечеров»), когда мы в октябре 1997 года встретились у Алёши Смирнова в Большом Харитоньевском переулке. За столом сидели Алёша с Наташей и дочками Машей, Леной и Катей, приехавшая из Харькова Лилия Семёновна Чичибабина, Владимир Николаевич и Алла Калмыкова с сыном Сашей и мы с мамой. Трёх из этого круга – моей мамы, Наташи Смирновой и Леоновича – сегодня уже нет с нами... Мы читали стихи, говорили. Казалось бы, ничего необыкновенного не происходило – но этот вечер остался в моём сердце навсегда...

Предмет моей особой гордости составляет ещё и то, что Леонович написал предисловие к моему сборнику «Сквозь стены», вышедшему в 1993 году, а кроме этого – дал мне рекомендацию в Союз писателей Москвы и вместе с Александром Ивановичем Зориным вёл мой поэтический вечер в ЦДЛ в декабре 1999 года. После вечера мы всей компанией отправились в наши Трубники, чтобы отметить встречу. За столом Леонович мудро схулиганил. Он встал и спел песню о «молоденьком парнишке», который влюбился, а отец ему на это сказал, что «надо всех равно любить», а парнишка «взял саблю востру и зарезал сам себя», и – «вот когда отец поверил, что любовь на свете есть». И что же после этого мне оставалось делать, как не объявить всем, что они присутствуют на помолвке и что прекрасная девушка, сидящая рядом со мной, очень скоро станет моей женой. С этой прекрасной девушкой мы живём вот уже больше пятнадцати лет, растим сына и дочь. А Леонович у нас на свадьбе в Доме Остроухова спел ту же самую песню вновь.

Потом Владимир Николаевич переселился в Костромскую область, в деревню Илешево, затем в Кологрив. Когда он приезжал в Москву, мы несколько раз встречались. Жалею, что так и не собрался побывать у него на костромской земле.

## Николай Муренин

### *О себе:*

*В 1974 г. после окончания института в Саратове приехал по распределению в Кострому, где и живу по сей день. С 1981 г. – в журналистике, был редактором ряда периодических изданий, многих книг по истории Костромского края. Последние 20 с лишком лет – редактор историко-краеведческого журнала «Губернский дом», который в 2010 г. был признан победителем российского конкурса краеведческих изданий.*

*Автор двух книжечек стихов и двух – рассказов. Стихи печатались также в журналах «Юность», «Волга», «Дон», «Русская провинция», «Русский путь», в литературно-художественных сборниках и альманахах. Лауреат двух премий в области культуры – имени И.А. Дедкова и Д.С. Лихачева. Награждён медалью Союза исторических городов и регионов «За вклад в наследие народов России».*

## Долг и дело

Жизненный путь бывает разный, но главное в нём – начальная и конечная точки. В этом смысле жизненный путь, а точнее, круг поэта Владимира Леоновича можно считать костромским. Родился в Костроме, упокоился на костромской земле. Да и творчество его пропитано мотивами и названиями родного края: сёла Никола и Сумароково, речки Вохма и Сендега... Названия двух его книг – «Нижняя Дебря», «Хозяин и гость» – тоже из этого ряда.

В журнале «Губернский дом» Владимир Николаевич гостем был всегда самым желанным. За двадцать лет напечатал не одну подборку стихов, а кроме того была публицистика, замечательные очерки и эссе памяти Игоря Дедкова, Александра Твардовского, Даниила Андреева. Произведения свои он иногда заносил в редакцию, иногда присылал (письма, написанные крупным почерком на листах большого формата, с традиционным «Будем живы!» в конце – это отдельная песня). Когда Леонович жил в Костроме, то и я к нему в гости заглядывал. Встречал он радушно, ходил в валенках. Говорил: носи эту обувь на босу ногу – долго проживёшь. Валенки-то я примерил, а вот ходить зимой купаться в Берендеевском пруду, как он, не решился.

Костромскую пишущую братию Леонович отмечал, некоторых оценивал весьма высоко: Леонид Попов – «лирик глубокий, пронзительный», Юрий Бекишев – «лирическое обаяние», Татьяна Иноземцева – «чистая душа». Всегда с любовью говорил о поэтах Сергее Потехине и Ольге Коловой, об организаторе Пушкинских праздников в усадьбе Давыдково Александре Бурлуцком и его семействе.

Хорошо помнится первый такой праздник в 1999 году. Руководитель областной писательской организации Михаил Базанков сделал что-то вроде доклада, а затем выступил Владимир Николаевич, сказал о Пушкине ярко и образно, прочитал свою любимую «Птичку». С той поры Пушкинские праздники стали ежегодными, с непременным участием Леоновича. А вот Базанков на них больше не появлялся. Руководство Костромской писательской организации «хозяина и

гостя» как бы не замечало (в электронной библиотеке местного Союза писателей России он значился одной строкой – «другие писатели»). Однако Владимир Николаевич внимания на это не обращал, не до мелочей ему было.

Занимали и тревожили его другие дела – создание в Костроме культурно-просветительской газеты, присвоение областной научной библиотеке имени И.А. Дедкова, открытие в городе памятника собаке Бобке, спасшей во время пожаров не одну человеческую жизнь. Газета вышла в свет, но содержание и направленность её не понравились начальнице департамента культуры, на том дело и закончилось. Вопрос о новом наименовании библиотеки решался на общем собрании её коллектива, а он высказался против, так что и это дело, несмотря на старания общественности, кончилось ничем. С Бобкой тоже не получилось: деньги, собранные Литературным музеем на памятник, ушли не по назначению. А вскоре и сам Литмузей прикрыли.

«Погиб поэт, невольник чести...» Но Леонович не погиб, он уехал в Кологрив, о котором иронично упомянули Ильф и Петров в своём знаменитом романе. Уехал, конечно, не за стульями, а чтобы быть ближе к Ефиму Васильевичу Честнякову, художнику, поэту, сказочнику. И там, в маленьком городе на берегу реки Унжи, он сумел создать вокруг себя культурную среду, оставаясь до конца своих дней поэтом и гражданином. В последнее время особенно был озабочен вопросом сохранения памяти уроженца тех мест генерала Дмитрия Павлова<sup>1</sup>...

Незадолго до смерти, в конце июня 2014 года, он позвонил мне из Кологрива: «Говорят, «Губернский дом» опять закрывают. Кому звонить? Куда писать?» Я успокоил Владимира Николаевича, мол, это всё досужие разговоры. Как оказалось, один костромской поэт сказал об этой «новости» другому, а тот сообщил о ней Леоновичу. В этой истории важна его первая реакция: в любом случае он всегда был готов лично прийти на помощь.

В очерке «Спи, кто может...», опубликованном в журнале «Губернский дом», Владимир Николаевич писал: «...Жизнь Дедкова – ответ на вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ в России одарённому человеку». Эти слова можно отнести и к самому автору очерка. Он был делателем и сделал очень много. На земле остались срубленные им часовни, сложенные им печи, написанные им книги, воспитанные им ученики... А сколько ещё могло быть добрых дел, если бы ему не мешали!

«...И смерть приму от нарастающего долга». Долг свой Владимир Леонович выполнил до конца.

<sup>1</sup> «Что знаю, приблизительно? Ослушался Сталина. Отступил под Минском, сдал город, но не допустил огромного КОТЛА.

Ошельман как изменник Родины, пытан и расстрелян. Не похоронен.

Здесь ему нужен памятник...»

Из письма В. Леоновича Н. Герасимову. (Примеч. ред.)

## Александр Зорин

### *О себе:*

*Автор восьми поэтических книг, книги прозы «От крестин до похорон – один день», воспоминаний об отце Александре Мене «Ангел-чернорабочий», а также книги эссе о русских поэтах «Выход из лабиринта». Печатаюсь в русских и зарубежных периодических изданиях. Член Союза писателей с 1979 г.*

## Во Имя...

1971 год. Малый зал ЦДЛ заполнен до отказа публикой, в основном молодого возраста. В молодом возрасте преобладают молодые поэты. Идёт обсуждение поэтических книг, вышедших недавно. Среди прочих – книга Леоновича «ВО ИМЯ». Выступают мэтры. Не помню имени поэтессы, имеющей административное положение в Союзе писателей, которую возмутило слово «душа» в стихотворении Леоновича. Её обличительная речь была посвящена «отжившему понятию», которое, как она считала, давно вышло из употребления, его нет и не должно быть в сознании советского человека. Это архаика, «душа» давно пылится в музейной витрине. В человеке вы её не найдёте – ни в сердце, ни в голове, ни в других частях тела. Докладчица вещала страстно, убедительно, никто в зале не посмел улыбнуться.

В общем, душе вход в человека запрещён. Однако же она давала о себе знать, особенно по соседству с залом, в буфете, в пьяном откровении её невольных обладателей, а то и в душеспасительном мордобое. Изгнанная из официозного словаря, из человеческой природы она уходит не собиралась.

Да и в самом названии книги «ВО ИМЯ» таилось что-то подозрительное, смутно-религиозное. Во имя чего или во Имя Кого? Набранное на обложке сплошь прописными буквами ответа не давало. К этому тоже могла бы прицепиться титулованная поэтесса, но или название её никак не задело, или, оттоптавшись на «душе», уже растратила все свои физические ресурсы.

В те годы нашим связующим звёнышком был Саша Тихомиров, поэт, любвеобильный человек, с душой нараспашку. Чаше, чем в ЦДЛ, мы собирались в его доме на кухоньке. Володя замечательно пел, без гитары. Помню, впервые услышал от него «Виноградную косточку в теплую землю зарюю...». Слова, мелодия окупавские, а исполнение – своё. Что-то неуловимо авторское звучало в его исполнении. И, кстати говоря, эту вещь обогащающее. Так настоящий актёр, артист добавляет своё понимание к образу, в который перевоплощается. Играет не только заданность, но и себя.

В ту пору моей запозднившейся молодости я открывал для себя Пушкина. И современную поэзию процеживал через его неувядаемую реальность. И вдруг слышу от Леоновича категоричное: «Ни дня без Пушкина». В буквальном смысле, как он пояснил, прикладывается к Пушкину ежедневно.

Шкала ценностей выстраивала и приоритеты. Нельзя сказать, чтобы он чуждался литературной среды. Но её было явно недостаточно для понимания того, что происходит вокруг, для полноценной осмысленной жизни. Ведь не случайно же оседал, и подолгу, в далёкой от Москвы глухомани. Калязин, Карелия, Кологрив. Грузия... Правда, в Грузии окунался с головой в переводы. Это был ещё и заработок. Гостеприимная страна, так не похожая на торгашескую Московию.

В театре на Таганке мы отмечали 60-летие Александра Радковского – чудного поэта, тишайшего лирика. Ему тоже приходилось переводить с грузинского гекзаметра подстрочников. Я считал да и считаю, что переводы глушат поэта. Как говорила Анна Ахматова, поэт, переводящий чужое, «ест свой мозг». В заздравной речи о достоинствах юбиляра я помянул и это трагическое обстоятельство. На что Леонович непререкаемо возразил: «Нехорошо кусать грудь своей кормящей матери».

Да, конечно, переводы кормили многих поэтов. И многие поэты похоронили себя в этом почти механическом ремесле. Но для Леоновича оно не было механическим. Его переложение оригинала не следовало букве, а часто и духу стихотворения. Это было переложение в себя, в свою поэзию. Его переводы – очень авторские, узнаваемые, как та окуджавская песня в его исполнении.

И всё-таки это была компенсация собственного творчества, на которое не хватало ни времени, ни средств.

И ещё один эпизод, запавший в память. Горком комсомола курировал творческие союзы, молодую поросль. Вывозили за город в какой-нибудь Дом отдыха, давали возможность поделиться написанным, заодно пронюхать, чем дышат. В Красной Пахре мы с Леоновичем попали в семинар к Владимиру Соколову. Там преобладала русопытистая публика. Антошкин, Валентин Солоухин, Примеров держались дружной когортой. Володя в своей неизменной кожаной куртке похож был на утёс, рассекающий мелкую зыбь. Молча и отстранённо смотрел на них. Потом, на следующем семинаре, Борис Примеров с трибуны произнёс речь о гитарной поэзии. Метил в Окуджаву, которого накануне у камина распевали семинаристы. Оратор угрожал: мол, сочинителей гитарной поэзии вешать надо. Арсений Александрович Тарковский, сидевший в президиуме, возмутился и решительно заявил, что таким вешателям в культурной среде не место.

Леонович, с его сыновней преданностью русской деревне, порой был склонен как поэт восхититься натурой, превознести её до небес, принимая видимость за реальность. Но трезвость в конце концов не оставляла его, видевшего примеры извращённой любви к отечеству. Таковую он отрицал и стихом и поступком. Надутый патриотизм огорчал его и в последние годы.

У меня в компьютере сохранилось письмо к Володе. Отклик на его избранное «Хозяин и гость». И кое-что помимо, имеющее отношение и к книге, и к её сочинителю, ибо, как поэт подлинный, Леонович от книг своих неотделим.

*Володенька!*

*Листаю, перечитываю в который раз «Хозяина и гостя». Пейзажи, лица, характеры, разговоры, словарь – всё рельефно, значимо, всё останавливает. Это **крупная** поэзия, если можно так сказать. И вовсе не в обиду мелкой, например, кушнеровской или какой там ещё, – современную знаю мало.*

*О первом впечатлении я тебе как-то сказал мельком, при встрече. Ты, наверное, и не помнишь. Повторю. Главное: болевая нота. Болевая реакция на уродство мира. Но тут же*

*реакция противоположная: восторженная – на красоту и богатство его. Они соседствуют и одна без другой не живут в душе, от рождения впечатлительной.*

*Хороши Записи («Затеси»). Даже если они и записи, то с собственного голоса, впитавшего этнический колорит: русский ли, грузинский. Этнос для тебя – ценность первостепенная. И, наверное, естественная, хотя иногда ты это стараешься доказать. Например, в «Костромских старухах», где ты кланяешься каждой. У Есенина, где он кланяется каждой нарисованной корове, – гипербола. У тебя долженствование: «надо поклониться». А не исключено, что среди тех, кому кланяешься, много Катюш Измайловых (советского разлива). А пожалуй, что большинство. Это наша извечная дань идолопоклонству: будь на месте идола народ, искусство или какая-нибудь эзотерика. Толстой говорил: «Народ талантлив, но – жулик».*

*Горожане, усохшие от шаблонного языка (от формальных общений), радуются, как дети, живому натуральному слову, кое-где сохранившемуся. И готовы идеализировать его носителей. Вспомни Лескова, лучше других знавшего народную толщу. Он не идеализировал.*

*Пишу тебе неделю спустя, пунктиром, лишний повод открыть книгу. Письмо нельзя не продолжить, не закончить. Совестно. А стихи или ещё что-либо начатое бросаешь без зазрения совести. Никто ведь их не ждёт.*

*Книга сплошь испещрена моими плюсами, восклицательными знаками. Есть и вопросительные. В такой полноте я тебя не знал. С голоса ты менее доходчив. До меня, по крайней мере.*

*Есть одно положение... кажется, неколебимое для тебя. Всё прошлое своё ты оправдываешь и не склонен его в ключевых моментах переоценивать. Я подумал об этом, прочитав: «Изволь же век мне повторить: увы, он будет столь же грешен...» И вспомнил твои же слова в Костроме, мы с тобой ночевали в одном номере: «Повторись жизнь сначала, я вёл бы себя точно так же». Скажу честно, я тогда ужаснулся, если, конечно, правильно тебя понял. Это или абсолютная незречность, или что-то большее, чем самоуверенность. Всякое самооправдание ищет выражения. Тем более у человека совестливого. Но ведь оно кровоточит противоречиями. И это остаётся в слове, которое у тебя не врёт. Ты обращаешься к «Тому, Который», мягко говоря, непочтительно: «изволь». Даль объясняет этот глагол как «насмешливый способ повелительного выражения». Кровоточащие противоречия мешают наладить отношения с высшей правдой, которая всё-таки есть, вопреки утверждению пушкинского Сальери. А точнее – разрушают. И слово вибрирует, выпадает из фокуса.*

*Разве наша жизнь свободна от роковых ошибок? Стоит ли за них держаться! Другое дело, что они воплощены в написанном. А Он на воплощённое не посягает. Тем более когда оно, как у тебя, воплощено живо и трепетно. Разве Пушкин отрещивался от всего созданного до 28 года, когда с горечью констатировал: «И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слёзы лью, Но строк печальных не смываю». Не о строках речь, а о печальном опыте, которого он повторять не хотел. Что и вознесло его на ещё большую высоту. Знать цену своим заблуждениям не значит предавать себя. Напротив – создавать опору для восхождения.*

*А какие замечательные стихи о Юре Шавырине!!! В общем-то, о каждом поэте, недобравшем признания. А кто добрал?.. Но вот опять: «Господь, НЕ ПРОСТИ...» Да ещё сажеными буквами. Чего ты Ему указываешь? Он Сам с ними, с убивцами, разберётся. Я понимаю твою горячность... Но уж коли к Нему обращаешься, должен помнить, что у Него свои методы воздействия, не юридического порядка. Открой 2 послание к Тимофею, 4:14. Апостол Павел не менее нас правдолюбив и уж поболее натерпелся от всяческого зве-*

рья. Посмотри, как он распорядился со своим обидчиком: «Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его».

Я говорю о неточности соотношений двух планов: высшего и низшего. Между ними дистанция. А у тебя она, увы, не всегда соблюдена.

Надеюсь, ты меня не осудишь за столь дерзкие вторжения. Но я пошёл на них лишь потому, что ты взыскуешь правды, окончательной правды, а она без абсолютного доверия к «Тому, Который» непостижима. Ну и, конечно, потому, что твоя поэзия близка мне...

Ал. Зорин.

Ай-я-яй!!!

Таня не послала ещё деньги для твоего Дедкова....

Сегодня-завтра пойдёт.

Таня, жена моя, упустила срочность денежного перевода. Володя бросил клич по друзьям – близким и далёким – о деньгах, кто сколько может, на посмертное издание книги Игоря Дедкова, критика и публициста, которого ценил.

Это в его духе. Бросался на помощь, отстаивая Дом Цветаевой, Дом Чуковских, помогая обществу «Мемориал». Отстаивал Правду, как он её понимал, в нашем далеко не совершенном мире.

## Сергей Кузнечихин

### **О себе:**

*Родился в 46-м. Вырос в центре России: Костромская, Ярославская и Тверская области, но любимые места и любимые реки – на Востоке. В 1969 г., после окончания Калининского политехнического института, взял распределение в город Свирск Иркутской области. Потом перебрался в Красноярск.*

*Первое стихотворение напечатал ещё школьником. Первая книжица вышла в Красноярске (в 33 года). Прозу стал писать после женитьбы (в 30 лет). Первый рассказ напечатал в 1981 г. в альманахе «Енисей». Первая книга прозы вышла в издательстве «Советский писатель».*

# Писёмушко о Леоновиче

## ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА

Где родиться? – воля случая,  
В годы смутные весьма.  
Есть места, наверно, лучшие,  
Но случилась Кострома.

Ослепит столица золотом,  
Увлечёт игрой ума,  
А потом ошпарит холодом –  
Отогреет Кострома.

Откопают между строками  
Смыслы вольного письма  
И обступят дяди строгие,  
Но укроет Кострома.

Молча критики мутузили –  
Жёстче разве лишь тюрьма.  
Сыто и свободно в Грузии,  
Но надёжней Кострома.

Неподвижна акварельная  
Озера густая тьма,  
Дремлет в красоте Карелия,  
Но роднее Кострома.

Может быть, не очень нежная,  
Не накормит задарма,  
Но брела душа мятежная –  
Не прогонит Кострома.

Примет старого и хворого  
 Без претензий и обид.  
 Ветреность и взрывы норова –  
 Всё поймёт и всё простит.

Собирался в очередной отпуск. Вечером пришёл приятель пожелать мягкой посадки. Пока я доставал из холодильника груздочки, разделявал хариуса, он взял с полки попавшийся под руку журнал, полистал и говорит:

– Вот смотри, очень даже приличный поэт Владимир Леонович, но спроси о нём рядового читателя, и тот недоумённо пожмёт плечами, и нечему удивляться – книги в магазинах не лежат, в журнале вижу впервые, критики о нём не пишут.

Шёл 1982 год. Журналы крепко знали, кого печатать, критики почти безошибочно просчитывали, кого ругать, кого хвалить и на кого не стоит тратить рабочее время.

В Домодедове я приземлился до полудня, а поезд на Рыбинск уходил поздно вечером. Позвонил Борису Костюковскому, который полтора года назад проводил у нас в Красноярске семинар молодых писателей, увёз мою повесть «Ноль пять» и тщетно пытался пристроить её в столице. «Дружба народов» сначала хвалила, обещала, потом... В общем, история до боли знакомая многим моим ровесникам. Борис Александрович позвал в гости и сказал, что у него будет очень интересный человек – Володя Леонович.

Вот так-то! Остаётся только гадать, какая сила водила рукой моего приятеля перед выбором журнала.

Володя пришёл с плетёной авоськой, в которой болталась картонная папка с чьей-то рукописью и бутылка водки. За столом выяснилось, что мы оба костромские, а он в молодости отдал дань сибирской романтике. Мои костромские впечатления очень скудны, зато по Сибири успел помотаться значительно дольше его. Но сблизила нас, наверное, не только география.

С тех пор, оказываясь в Москве, я не упускал возможности встретиться. Были, разумеется, разговоры и о литературе, куда же без них, но чаще говорили, что называется, «за жисть»: о затопленной Мологе, о сибирских реках, течение которых мечтали повернуть авантюристы от науки, о вымирающих русских деревнях. Заметив мой беглый взгляд на беспалую руку, он усмехнулся и сказал:

– У Володи Трофименко есть гениальные строки:

Сруб рубили вчетвером  
 (сорок пальцев, восемь рук).  
 Тюк топором, тюк топором,  
 тюк топором, тюк! –

Но у меня другое, по глупости потерял.

Он любил плотницкое дело. О часовне, которую срубил в Карелии, говорил с мальчишеской гордостью. Он и стихи о ней читал. Есть у него и поэтический памятник, но для монумента он выбрал более прозаический материал – не карельскую готику, не чугун, который мешал двигаться Ярославу Смелякову, не бронзы многопудье, а луговое разнотравье, скошенное и поставленное

в стожок<sup>1</sup>. Не на века, но на пользу и радость одиноким деревенским старухам. И опять же, не без гордости мастерового человека, похвастался, что сконструировал и сделал из подручных деревенских материалов лёгонькую лодку, каркас которой обтягивал портяночной тряпкой. Он даже инструкцию по изготовлению написал, довольно-таки внятную, и Красноярский журнал «Сибирские промыслы» с удовольствием напечатал её. Так и тянет соврать, что кто-то воспользовался добрым советом. Но воздержусь. Не знаю. Однако ещё не поздно. Правда, в нынешние времена спортивные магазины изумляют изобилием плавсредств, но эти красавицы по карману только богатым туристам, а деревенскому рыбаку впору и теперь воспользоваться инструкцией Леоновича. Не собираюсь лукавить,



Леонович-плотник. Строительство часовни.

что все эти крестьянские заботы были для него важнее стихов, но уверен, что крестьянин и плотник не соперничали с поэтом, а помогали ему.

В «Строфах века» Евтушенко написал, что в 1963 году «Комсомольская правда» опубликовала издевательскую статью о нём, и единственная газета в стране осмелилась поднять голос в его защиту. Это была многотиражка одного из заводов Новокузнецка. Реакция на слушание последовала незамедлительно, и ответственный секретарь многотиражки Владимир Леонович был уволен.

Я спросил, так ли было на самом деле. И почувствовал, что вспоминать о Сибири ему в радость.

– А уволили по статье «за использование служебного положения». Но всё обернулось к лучшему. Занялся мужским делом. В Хакасии побывал, Красноярский край увидел. Красиво там у вас...

Служебному положению ответсека многотиражки, солидности его и возможностям можно позавидовать. Чиновники наши старательно и безоглядно рисовали и продолжают рисовать карикатурный автопортрет, веселя свой народ, – впрочем, они же называют себя «слугами народа», так что всё в рамках служебных обязанностей...

А Володя, коли уж зашла речь о Евтушенко, продолжил:

– Встретились недавно, и он предложил перевести на русский его английские стихи. Ты, мол, профессионал, у тебя лучше получится.

– Разыгрывал, что ли? – удивился я.

– На полном серьёзе. Это мне пришлось отшучиваться.

<sup>1</sup> «Себе по праву и по праву, / как повелось от римлян, сам / воздвиг я ПАМЯТНИК на славу: / охлопал стог и очесал. / На памятнике разумею / КОРОВЬЕ СЛОВО обо мне: / ОН БЫЛ ПОЭТ, НЕ ГНУЛ ОН ШЕЮ / В РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ СТРАНЕ, / КОГДА ЧТО ДЕЛАТЬ, ЗНАЛ И ДЕЛАЛ, / БРАЛ В РУКИ ВИЛЫ И ТОПОР, / В СТРАДУ ОТЕЧЕСТВА НЕ БЕГАЛ, / ЗА НЕДОСУГОМ, ЗА БУГОР». В. Леонович. (Примеч. ред.)

Он был знаком со многими знаменитостями, но до сплетен не опускался и к чужой славе не пристраивался. С большим оживлением и теплотой рассказывал о Саше Тихомирове, о Мите Голубкове или о старушках из карельских и костромских деревень.

Мой друг, хирург и поэт Гамлет Арутюнян был влюблён в его «Писёмушко». Так случилось, что мы одновременно оказались в Москве и Гамлет попросил познакомиться его с Леоновичем. Очень часто бывает, что автор полюбившихся стихов при встрече не оправдывает ожиданий. Но здесь обошлось без разочарований. Скорее – наоборот. Хозяин в валенках, крепко сработанный из некрашенных плах кухонный стол – всё это было ближе к родному Енисейску, нежели к Москве. А если ещё вместо набивших оскомину разговоров о собственном недооценённом творчестве властвует живой интерес к жизни гостя, застолье всегда в радость, и остаётся единственное сожаление, что не хватило времени обговорить всё, что хотелось. Но для стихов время нашлось, и Гамлет попросил прочесть «Писёмушко». Без кокетства усталого мэтра – мне даже показалось, что с благодарностью – Володя откликнулся на просьбу. Он и встать не поленился. Читал не просто с выражением, но со страстью. Не делая скидку, что перед ним всего два слушателя. И это было не самолюбование, а всего лишь ответственность мастера перед своим творением.

Через месяц или полтора Володя прислал мне стихотворение и просил показать его Гамлету, если, конечно, я буду уверен, что оно не обидит его.

#### ЕНИСЕЙСКИЙ ГРУЗИН

Любезный сердцу генотип!  
 Хоть нос твой в первом поколенье  
 хакаска-мать укоротит,  
 но в третьем, всем на удивленье,  
 ту седловину взгорбит хрящ,  
 а глаз, мерцавший в щёлке, в пятом  
 весь выскочит, круглогорящ!  
 И назовут дитя Багратом.  
 В крови раздор и непокой,  
 живые струи неслиянны –  
 и с кахетинской тоской  
 глядишь ты на свои Саяны!  
 Ты вниз ушлыл и там осел.  
 В седьмом – по тундре ты размазан...  
 Что ж так неласков Енисей?  
 Уехал бы... ах, не к хакасам!  
 В девятом – крепкий автохтон –  
 примчишься на саях в Дудинку  
 и в сумраке, как мех густом,  
 увидишь – деву-кахетинку!

Дело в том, что отец Гамлета армянин, а мать русская. Познакомились они в енисейской деревне Каргино, куда попали после лагерей на вольное поселение. Володя из деликатности отдалил героя от прототипа, но стихи, без сомнения, были навеяны тем добрым и уютным застольем. Превращение матери в хакаску потребовалось для завершения образа.

Гамлет на стихи не обиделся, а после моих разъяснений сказал:

– Жаль, что он поделикатничал. Был бы вместо грузина армянин, я бы и отцу стихотворение прочитал...

Последний раз мы виделись в 1994 году. Володя приехал на Савёловский вокзал часа за два до отхода моего поезда. Нашли укромное местечко на запасном пути, укрытое от недобрых милицейских глаз служебным вагоном, и присели, опустив ноги к шпалам, заросшим чумазой травой. У меня только что вышла книжка рыбацких историй. Байками закусывать можно, но лучше оставить их на десерт. Мои традиционные гостинцы – солёная черемша и рыба – оказались весьма кстати, особенно для человека, побывавшего в Сибири и полюбившего её. Меню его очень обрадовало. Он даже вспомнил, что в Кемеровской области черемшу называют «колба́», а в речке Кия красивейшая рыба ленок живет под именем «кускуч». Полностью лишённый снобизма столичного интеллектуала, он с жадностью впитывал и костромские, и сибирские, и северные говоры. Отсюда и богатейший словарь его «записей» и «портретов». Возьмите хотя бы замечательное стихотворение о затейливом мужике «Русью пахнет». Яркий живой портрет, легко узнаваемый запах. И этим запахом пропитаны все его книги. А с каким восхищением рассказывал он о нашем земляке Сергее Максимове, о котором я, к стыду своему, до знакомства с Леоновичем не знал.

Когда в Красноярске стал выходить журнал «День и ночь», мы напечатали «Енисейского грузина» и другие стихи Леоновича. Однако без казусов не обошлось. Денег на квалифицированного корректора не было, и одну из подборок «оживила» весёлая строфа:

Незамедлительно и прямо.  
Так действует пружинный спуск.  
Так выгонял меня из храма –  
под зад коленом – Иисус...

Утерянная при перепечатке буква «л» уравнила «менял из храма» с ни в чём не повинным автором. Не знаю уж, какими словами поминал меня Володя в далёкой от Красноярска Костроме. Но когда через полгода я набрался смелости позвонить, чтобы извиниться, он уже отошёл и говорил о менялах с юмором: «Может, я тоже заслужил, чтобы и меня из храма – под зад коленом».

Последняя публикация в нашем журнале тоже не убереглась от опечатки. Поздравляя уважаемого автора с юбилеем, редакция состарила его на 5 лет. Вместо 80 стояла цифра 85. Написал ему, что ошибку следует понимать как провидческую, гарантирующую пятилетку плодотворной жизни. Искренне верил, что так оно и случится. Надеялся обмануть судьбу. Не вышло.

## Владимир Леонович

*Не помню даты, когда Володя прочитал на «Магистрале» эти стихи. Помню только испытанное потрясение, и не мною одной. Меня, девочку, школьницу ещё, услышанное если и смутило, то лишь в самом начале, но поразила правда жизни – той, о которой я знать просто не могла. И тем не менее поняла, что это целомудренные стихи. Теперь не у кого спросить из старшего поколения, как они восприняли эту вещь; никаких внешних знаков неприятия память не сохранила, как и обсуждения. Но нашёлся один тип, крайне неприятный дядька (он был железнодорожник, а мы – нет, т. е. он «законно» ходил на ЛИТО в ЦДКЖ, а мы – «незаконно»; на больших выступлениях «Магистрале» Левин вынужден был представлять ему сцену, и он играл на балалайке, выделявая с ней всякие штуки, и пел частушки). Он не просто не понял «Тёплое», но написал донос на Левина и «Магистраль». Это было одной из причин разгона «Магистрале».*

*Из статьи Володи «Землей и верой» (Дружба народов, №5–6, 1992):*

*«Нас прикрыли году в 68-м, кажется, по доносу нашего «товарища», чьим именем не хочется махать бумагу. Господи Боже мой! Как тяжело было смотреть на Григория Михайловича – его так перевернула эта подлость, это горе, будто убили или отняли у него единственное дитя. Да так оно и было. В деле о роспуске «Магистрале» фигурировали «известные своей пошлостью и бездейностью песенки Ожуджавы» и «порнографическая поэма» вашего покорного автора (о том, как солдаты ночуют в бараке у торфяшек,*

*Кровати бедные разбросаны,  
колющий стосвечевой свет  
и ослепительные простыни –  
как будто март, как будто снег...*

*Я же говорил, что они ненавидят всё чистое! Оно же было внутри предосудительного того положения, когда и т.п.). И всё же – простите меня, Григорий Михайлович!..»*

*Ещё Володя рассказывал, что давал читать поэму Твардовскому. А.Т. сделал какие-то пометы и сказал: «Всё-таки не конуса, а конусы», – на что В. возразил: «Конуса – потому что их два (фары машины), двойственное число».*

*Отрывок из «Тёплого» под названием «Чёрное озеро» был напечатан как самостоятельное стихотворение в посмертно изданной книге В. Леоновича «Деревянная грамота» (М., 2014, с. 69). В полном виде «Тёплое» публикуется впервые по сохранившейся рукописи (возможно, один из ранних, неокончателных вариантов).*

*А. Калмыкова.*

## Тёплое

Лесное озеро черно.  
Вода прозрачная и жуткая,  
и кромка торфяная чуткая  
бежит по берегу. И дно  
уходит глубоко под берег.  
Он зыблется, плывёт, висит.

Чем тоньше он, тем мягче стелет.  
Берёзка слабая стоит  
и клонится, прошив торфяник  
кореньями: а где земля?  
И сохнет деревце и вянет,  
нужды своей не утоля.  
А озеро черным-черно...  
Свершится тихая работа –  
обволоknёт его болото,  
сомкнёт над ним второе дно.

\* \* \*

Холодный ветер бьёт в глаза.  
Прямого света конуса  
вперяются в глухие сосны.  
Дорога гладкая разостлана  
песком по сосняку  
ленивыми большими петлями.  
Мы едем тайно – едем с песнями  
прогнать солдатскую тоску.  
А за лесными поворотами,  
за горями и за болотами,  
куда мы держим тайный путь,  
стоит – не может утонуть –  
местечко под названьем  
Тёплое.  
А уж такое место топкое...  
Здесь мы когда-то помогли  
перестилать гнилую гать,  
но это место не ругали  
недаром, надо полагать.  
Потом сюда едва ль не ротами  
являлись в ночь с большой земли,  
пока дремали за болотами  
дневальные и патрули.

\* \* \*

Места озёрные, безлесные,  
затерянные и безвестные,  
чёрно-коричневая топь.  
Здесь бабы добывают торф.  
Торфушки – лет до сорока –  
не отбывали здесь срока,  
а представляли только следствие  
народного большого бедствия –  
той самой страшной из причин,  
пубивавшей их мужчин  
и давшей им как бабью долю  
большое торфяное поле,

где не присядешь ты, устав,  
большой барак, где койки сдвоенны,  
где изредка ночуют воины,  
нарушив по нужде устав.

\* \* \*

Визг тормозов и смех и крик:  
– ..... приехали!  
– Женихи приехали!  
(Вот я и жених.)  
Заахали, забегали.  
Зашевелились и зажглась  
теснота барачная.  
Стояла ночь прозрачная,  
луна чуть поднялась.  
В открытом кузове простыв,  
протопав сапогами в сенцах,  
входили, жмурясь, как от солнца,  
от лампочек и от простынь.  
Кровати бедные разбросаны,  
колючий стосвечовый свет  
и ослепительные простыни –  
как будто март, как будто снег...  
Такие тёплые со сна,  
обрадованные, словно дети,  
торфушки – и подушки эти,  
где сладкая ещё слюна...  
В тех женщинах была открытость,  
какая-то, скажу, умытость –  
не оттого ль, что чёрен труд?  
Здесь были тряпки и корыта,  
и дети были... Только быта  
привычного не знали тут.  
Хоть и немало мужиков  
в бараках здешних выспалось,  
но как-то не предвиделось  
семейных очагов.

\* \* \*

А хлеб есть хлеб,  
и водка – водка,  
и в этот час барак живет,  
и стол стоит так шатко-ходко...  
И вот какая-то молодка  
не выдержит и запоёт,  
потом – ладошкой по столу! –  
и по полу, и по суху  
мелко дробит и плывёт.

... Чудный замок стоит  
под луной златою.  
Рыцарь с дамой сидит  
словно брат с сестрою.  
Молодцы красилі:  
что намалевали!  
Девки что приобрели,  
что огоревали!  
Не болото, не лопату,  
не торфушку конопату...

\* \* \*

Все совершалось – было – шло –  
от ясного и целого.  
И в полутьме белым-бело  
белье сиянья белого.  
Шло  
разделение мужчин  
по бабьей справедливости.  
Повремени, приличья чин,  
погибни от стыдливости,  
но в эту пору не мешай...  
И женщина – ещё не старая –  
меня с подружкой оставила –  
Татьянку, мол, не обижай...  
И на матрасике на тесном  
я на краю прилёг-присел –  
и мне был выделен удел  
на празднике безвестном.

\* \* \*

Оно так, да не так,  
не как говорится.  
Темнота, теснота...  
Как дела, рыцарь?  
Ставень тёмного окна,  
узкая трещина.  
Тебе нынче суждена  
первая женщина.  
Вот каков твой удел,  
каково таинство:  
и лица не разглядел  
Танькиного.  
А на воле светло  
под большой луною...  
Мягкой мглой заволокло  
поле торфяное.

Только тёмные кусты,  
только тени тёмные,  
только с лунной высоты  
семь бараков –  
Тёплое.

Чёрный скат – белый скат –  
крыши чёрно-белые  
все заиндевелые.

Спит работа, люди спят,  
один движок постукивает,  
он пыхтит, не устаёт,  
он по ночам отпугивает  
нежить топей и болот.

\* \* \*

И оказался я похож  
на её братишку.  
– Я видала, ты мало пьёшь,  
а яхватила лишку.  
И я узнал, что Тёплое –  
место хоть куда,  
что ранние осенние нынче холода.  
А в Горьком жить и в Тёплом жить –  
не один ли свет,  
если у тебя нигде  
никого-то нет?  
Если брата посадили,  
дурака набитого,  
сбился, дурачок, с пути  
без отца убитого...

И слушал я свою сестру –  
толковую, не пьяную.  
Про всю артель торфяную  
узнал бы я к утру..  
В углу лежали дочь и мать  
на койках, тесно спаренных,  
и тоже спали с парнями,  
и чтобы это понимать,  
душе

был нужен

труд:

при матери! при девочке!  
За простыней в придельчике  
зачем-то спички жгут  
дивизионный писарь  
и бригадир:  
– Юрка! Не дури жа!

\* \* \*

Как дела, рыцарь?  
Много лет пройдёт,  
народится-вырастет  
новый маленький народ  
в этой сырости...  
Эта топь-сирота,  
эта грязь – не грязная.  
Что лежишь – сирота?  
Что лежишь не празднуя?  
И лежит твоя сестра  
поверху холодная  
и до самого утра  
благородная.  
Да ты оставь, человек,  
оставь племени  
этой девке, человек,  
этому времени!  
Девка ли не хороша?  
Ну так что же?  
Или тело и душа  
не одно и то же?

\* \* \*

– Прости меня, – сказал я Тане.  
Я из барака как из бани,  
одевшись, вышел. Был мороз  
октябрьский. Низок и белёс,  
туман болотину окутал.  
Сияло чистое крыльцо.  
Рябое гневное лицо  
горело в небесах, как будто  
увидело внизу Содом,  
и синий свет стоял столбом.  
Передо мною на ступеньке  
какой-то человек сидел  
по-птичьи – голова в колени –  
и еле слышно сопел.  
Мальчишья шея...  
– Слушай, малый,  
проснись, простынешь! –  
Сонный взгляд.  
– О-хо... Сидела и заспала...  
Скажи, сколь времени, солдат.  
И я узнал – свою подругу,  
ту, не старуху, ту, что руку  
пожала мне, оставив нас  
с Татьяной, с Танькой в добрый час.  
Платочек серый, пальтецо...

Она меня узнала тоже  
и улыбнулась, и лицо  
красивей стало и моложе...  
Нет, не красивой – а прекрасней!  
И виноват был странный свет,  
и за стеной барака праздник,  
и то, чему названья нет –  
пронзительное понимание  
другой, незнаемой души –  
внезапно, в неживом сиянье,  
в такой болотине,  
в глуши...  
И я поцеловал крест-накрест  
её прекрасные уста...

Далёко изогнулась насыпь –  
какие низкие места! –  
до сосняка бежал, шагал я,  
по щебню гулко топтал,  
с разгону розгой обжигало –  
рос на дороге чернотал...  
И с неба мне стереть хотелось  
рябое круглое пятно.  
Лицо прекрасное светилось –  
другое

ведало  
оно.

\* \* \*

– А озеро черным-черно,  
и берега зыбучие,  
и островки плавучие  
непонятно, отчего  
кругами ходят, ходят... Слышь,  
там трава колышется,  
а ветра нет. Сидишь, глядишь,  
а он и движется, и движется...  
Пойдёшь за клюквой, за брусникою,  
да в озеро уткнёшь глаза.  
А долго, слышь, глядеть нельзя  
в такую воду дикую.  
А у нас веселó  
в Тёплом. Только сыро.  
Да одной тяжело.  
Мне бы сына.

Владимир Леонович – Сергей Яковлев

## Будем живы!

8 февраля 1997 г.  
Парфеньево Костромской обл.

Дорогой Сергей Ананьевич!

Я не ошибся, надписывая Вам книгу<sup>1</sup>. Теперь считайте меня своим *другом*. Пока мы говорили с Вами в Вашем кабинетике, я это уже понял нутром. Потом – «Письмо из Солигалича»<sup>2</sup>. А теперь – крохотная статейка в «Сев. правде»<sup>3</sup> (вырезала и прислала Вера Арямнова), великолепная по счастливой точности чувства – к ней же слова слетаются сами. Безусловно, всё так. Игоря можно было потрогать рукой, зная, кто и что он такое. Ты, Моцарт, Бог...

А уж на нашем-то разоре, на нашей-то мерзости запустенья...

Вот и Ваше слово сию минуту таково же – рядом с ефрейторским окриком некоего П. Гришина...

Ведь этим людям Дедкова уже не прочесть! (Я перечитываю его с наслаждением, со слезами.) *Не вместить* не то что русской нашей бесконечности, а и самых простых вещей, обиходных для нормального и порядочного человека.

Да, Игорю было одиноко – одиноко и сейчас. Оглядываюсь кругом: Фазиль... Кто ещё? Да и Фазиль, в силу отзывчивости, оказывается в к.-н. ихней тусовке.

У меня, кроме лирики, за душой ничего. А лирика такова: примите мою радость. Я *радый* Вам, как на моём Севере говорят. И ещё так: «я ему *обрадела*»...

Очень, очень рад!

Храни Вас Бог!

Владимир Леонович

29 июня 1999 г.  
Кострома

Дорогой Сергей Ананьевич!

Собирался-собирался Вам написать – а навстречу звонок Н. Муренина<sup>4</sup>: Яковлев ищет Леоновича...

<sup>1</sup> Книга В. Леоновича «Явь». Была подарена автором в ноябре 1996 г. в стенах редакции «Нового мира» с надписью: «Согромной симпатией, переходящей в более высокое качество – с радостью – Сергею Яковлеву».

<sup>2</sup> Сергей Яковлев. Письмо из Солигалича в Оксфорд. Роман. – Новый мир, 1995, № 5.

<sup>3</sup> Сергей Яковлев. Дар гражданина. – Северная правда от 9.01.1997 г. С. 2. (Реплика в защиту присвоения Костромской областной научной библиотеке имени И.А. Дедкова.)

<sup>4</sup> Муренин Николай Владимирович – литератор, редактор журнала «Губернский дом» (Кострома).

Я и правда пропал для 9/10 приятелей и знакомцев, а друзей на свете почти уж не остаётся.

№ 1 – номер пробный, его приняли, ничего<sup>5</sup>, и всё бы ладно в перспективе, да деньги губ. администрации получают из рук вздорной бабы Галины Ив. Ивановой: хочу – дам, хочу придержу, а принесите материалы: те ли, так ли составлены... Т. е. лезет не в своё дело, и приходится, после попытки воспитать её, «Нач-ка Департамента к-ры», в духе культурного сотрудничества компетенций – ставить ей скромный ультиматум: или работаем каждый своё – или простимся на 1 или 2 №. Эта НЕРОБОТЬ СОТОНЬСКА как была по рукам работающего человека – так и продолжает.

Приходится ей писать:

Поиграла шука с блесною  
А Галина Иванна со мною.

Я за жабры тебя держу,  
В пасть разинутую гляжу –  
Там зубов, зубов... Ай да пасть!  
Ай да пасть – воровская власть...

и т. д.

Объясняю ей, что *моим* цензором *она* быть не может; что смешно, когда нет узды на порнографию и другие виды растления народного, цензурировать – или как – последних интеллигентов, затеявших издание «СП – К» в память И. Дедкова. Пишу ей, что Дедков – мой цензор и соавтор – не она же!

Но эти дамы у власти невменяемы.

Так что благое начинание рушится. Быть может, глава городской администрации Коробов, слывущий интеллигентным человеком, переймет газету?

Если нет...

Один из вариантов: вернуться в Подмоскovie, продолжить работу с «репрессированными» рукописями – царство небесное авторам! – и грамотно объявить голодовку Вашему однофамильцу, А.Н.<sup>6</sup>, обещавшему *трижды* снизойти к судьбе реп. лит-ры, репресслируемой и сегодня, т. к. сокращена должность секретаря Репкома – нашей реп. комиссии – связного и ангела – и вечные бедняги опять «без права переписки» и в отрыве от писателей, занятых собою преимущественно.

Не вам одному дело до «СП – К». Ещё Б. Черных (он на Востоке, издаёт на Амуре «Русский берег»). Ещё Н. Алёшкову (издавал и возобновляет «Звезду полей» в Наб. Челнах). Ещё Анат. Кобенкову – Иркутск, 24-полосная роскошная «Зелёная лампа», кому-нибудь ещё.

Рад Вам писать – рад буду Вашей весточке... Проклятая шука!

Жизнь продолжается – будем живы!

Ваш В. Л.

<sup>5</sup> Речь о первом выпуске газеты «СП – Культура» – приложении к костромской областной газете «Северная правда», которым занимался в то время В. Леонович.

<sup>6</sup> Яковлев Александр Николаевич, в то время председатель Комиссии при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий.

12 июля 1999 г.

Дорогой Владимир Николаевич!

Сердечное Вам спасибо за весточку и за газету. Название, конечно, неудачное: «СП» навеивает мысль о совместном предприятии или, что не легче, о Союзе писателей (во всяком случае, я долго гадал, что бы это значило), а «Культура» – это что-то привычно слабое, чересчур спускательное и всегда дотационное, если не сказать казённое. И ведь название – давит! Но Вы обнадеживаете его вышучиваете.

С удовольствием прочёл обе Ваши статьи и репортаж Веры Арямновой о дедковских чтениях. Стихи Фёдора Волкова – это (для газеты) выдающаяся находка. Швед-музыкант показался глуповатым, так что на него как будто и бумаги жалко (костромской; лучше бы изводил столичную). Если бы я, к примеру, добровольно уехал из страны (чего не бывает), то постеснялся бы учить оставшихся. Впрочем, это понятно как дань времени. Село Воронье, где прошел праздник «Играй, гармонь!», я знаю, там живописные руины колокольни с воронами на ней (из года в год наблюдаю эту картину, проезжая в Солигаличи). Остального не успел изучить. Пилотный номер, видимо, всегда подlezит в дальнейшем реструктуризации, и первое впечатление (пожелание) моё как читателя несколько парадоксальное: поменьше бы культуры, той самой.

Где нутро русского человека, влачащего свою жизнь на костромской земле? Почему вместо Лесковых и Розановых о человеке этом продолжают судить (говорить за него, как в советские времена) большие и маленькие Г.И. Ивановы?

Одnodумов и нынче хватает, а вот писать о них некому.

Я взялся формировать отдел очерка – всего-навсего – в журнале «Родина», и вот – нет очерков! В такое-то жуткое время, когда жизнь сама прёт на бумагу. Утрачена интонация жизни, и никто не хочет, как говаривал Достоевский, «задумываться». Владеют интонацией только старики (Солженицын с Астафьевым, например), но они устали, да и не слышат их почти.

Посылаю Вам «Общую газету» со своей статьёй о Дедкове и Костромё. Был соблазн процитировать в ней, помимо прочего, следующее наименование: «Департамент культуры, кино (?) и исторического наследия администрации Костромской области» (я его ещё в апреле приметил и выписал для себя), но постеснялся, пощадил их самолюбие. А теперь, после Вашего грустного письма, вижу, что напрасно.

Не отчаивайтесь. Печать наша вся в глубокой яме, и едва ли какая-нибудь администрация заинтересована в том, чтобы помочь ей оттуда выкарабкаться. Надо придумывать что-то другое: собирать по копейке, как на храм. Благодарные читатели-то ещё есть.

Знаю, сколько работы с газетой, и всё же решаюсь напомнить: Вы обещали что-нибудь написать в «Родину». На пол-листа или чуть более. Если нужно, будет у Вас тотчас фотокорреспондент. С Мурениным мы договорились (по телефону), что «Губернский дом» будет коллективным корреспондентом журнала «Родина», хотелось бы и другие провинциальные журналы к этому привлечь, реально собирая таким путем Ассоциацию родственных журналов (старая идея) – не поможете ли с адресами? Напомните, Владимир Николаевич, при случае Муренину, что обещанного материала жду – срочно (пусть шлёт на редакцию). И с Олегом Лариньым<sup>8</sup> срочно нужно связаться, его вещь в работе, а адреса у меня нет. Что делать? Если вдруг объявится, попросите его, пожалуйста, позвонить мне...

Можно ли Вам звонить, хотя бы по казённому? В какие дни и часы?

Я больше работаю дома, на службе – изредка.

<sup>7</sup> Сергей Яковлев. Родина живущих здесь. – Общая газета № 26 (308), 1 – 7 июля 1999 г. С. 16.

<sup>8</sup> Писатель, общий знакомый, проводивший лето в костромской деревне.

Мы с женой (она в стихах смыслит больше моего) часто открываем подаренные Вами книжки и радуемся: тому, что появились у нас новые любимые строки, что есть на свете настоящий живой поэт, что вообще, как любит этот поэт говорить, – «жизнь продолжается!»

Ваш

Сергей Яковлев.

**2 августа 1999 г.**

**Кострома**

Дорогой Сергей Ананьевич!

Если я засяду за очерк для Вас, пройдет неделя, а хочется ответить Вам поскорее.

...Комсомольский секретарь Г. Иванова осталась таковым и в кресле начдепа. Я от неё ушёл, написав памфлет «Убиение младенца» (от Грозного и Годунова – и до Г. Ивановой – наш обиход), пересылаю его для «Книжного обозрения», где недавно было моё интервью с Борисом Евсеевым – тот просил *чего-нибудь*. О газете, что сажусь на кол, он знал, но банальной истории убиения не знает. Так на же! Вам-то вряд ли это понадобится (?), но если бы, вдруг... Это слишком на всё похоже, но меня зацепило всерьёз, я послал этой даме три филиппики, а в газете напечатаю для узкого круга (жене не показывайте, Бога ради!).

Поиграла щучка с блесною,  
А вот эта штучка со мною –  
Тут и сказке конец,  
Тут и рыбке пи-  
ши пропало,  
А мне и горя мало!

Хожу по Костроме и угадываю по лицам моих читателей, их немало. И досада моя велика...

**24 декабря 2001 г.**

**Кострома**

Дорогие мои! Серёжа и Люда!

Здоровья вам, мира вам и всяких радостей в Новом году. Надеюсь, в нём побываем мы в Солигаличе. Надеюсь, испечёт Люда праздничный пирог – праздник мы всегда найдём!

Серёжа, повтори мне, пожалуйста, адрес той *bon vivante*, что летом живёт в Совеге, а зимой в Питере<sup>9</sup>. В Питер я съезжу к другу.

Как сотрудник «Предлога»<sup>10</sup> я завис. Если дадут мне статус собкора, прорубающего окно в Поволжье, вопросов не будет. Если не дадут, они возникнут. Но в обоих случаях и в контексте наших мечтаний о журнале рассчитывай на меня.

<sup>9</sup> Речь идет о Е.А., тогда известной В. Леоновичу по моим рассказам (позже, побывав в Солигаличе и на Совеге, он познакомится с ней лично). – С.Я.

<sup>10</sup> Литературно-художественный альманах, издаваемый Г. и А. Гордонами (отцом и сыном). Одно время В. Леонович входил в редколлегию этого издания, впоследствии вышел из неё по принципиальным соображениям.

Я в снегах, в бессоннице и спячке...

(Строка ненаписанного стихотворенья.) И, в общем, в состоянии затора (залома) скопившихся неразрешённостей.

Мелькнул в Москве дважды (вечер Жигулина и проездом в Минск на Дни культуры – позвал Саша Эбаноидзе<sup>11</sup>). Мелькнул – а надо посидеть, как то прилично и привычно нам, землякам.

Обнимаю вас!

Будем живы!

Володя.

18 мая 2002 г.

*Дорогой Володя,*

*вернувшись из Солигалича, где был с 1 по 11 мая, получил твою телеграмму с поздравлением<sup>12</sup>. Спасибо. Как узнал? Я ведь скрываюсь, никому про свои даты не говорю.*

*На чтения выехать не смог<sup>13</sup>, но узнал подробности от Тамары Федоровны<sup>14</sup>. И одну из важнейших – что ты обосновался в Костроме. Дело в том, что я уже много месяцев пытаюсь установить с тобой связь, с тех самых пор, как ответил на твоё новогоднее письмо (отправив ответ «на деревню дедушке» – по адресу, указанному на конверте), приставал с этим и к Т.Ф., и вот она вернулась из Костромы с доброй вестью – и не спросила у тебя адрес!*

*Напиши, наконец, где тебя искать. Может быть, и телефон есть? Приложи на всякий случай планчик, как добраться от центра, мы ведь летом довольно часто спуем на машине из Москвы в Солигалич и обратно. Хорошо бы повидаться и в Москве, будем рады тебе (оба) в любое время дня и ночи. Соскучились.*

*Я заканчиваю свою очередную эпопею листов на 20, которую не знаю пока, куда определить. С журналом «Родина» дела плохи (и сам журнал в нынешних условиях почти обанкротился, три месяца уже не платит сотрудникам и авторам, да и мне там тяжело). Не оставляю замысла о журнале русского провинциального очерка. Софос щедро финансирует какие-то межсумочные издания, а под нашу (либерально-почвенную) идею денег, конечно, не даст. А я уже вижу этот журнал: на газетной бумаге, вроде старой «роман-газеты», и чтобы истрепанные подшивки пылились на каждом солигаличском чердаке... Дешевое народное издание, которое начнет (увы, с азов) возвращать русской литературе читателя. Или, наоборот, читателю – русскую литературу.*

*Стороной (из интервью с Т. Жирмунской) узнал о выходе книжки Яна Гольцмана<sup>15</sup>, деньги на которую собирали якобы в Германии (?). Самой книги не видел.*

*Удалось ли тебе установить контакт с питерской совеганкой Е.А. Назаренко? Если моё зимнее письмо не дошло, могу повторить её координаты, а летом (с июля) она будет, конечно, в Солигаличе. В мае ездили из Солигалича в деревню Одноушево, что на полпути к Совеге, там возле разрушенной деревянной фермы бьёт замечательный родник. Давно не видавший чужих людей житель этой деревни вышел поглядеть, как мы набираем воду, а*

<sup>11</sup> Эбаноидзе Александр Луарсабович, главный редактор журнала «Дружба народов».

<sup>12</sup> К юбилею.

<sup>13</sup> Речь идёт о ежегодных Дедковских чтениях в Костроме.

<sup>14</sup> Дедкова Тамара Фёдоровна, вдова И.А. Дедкова.

<sup>15</sup> Гольцман Ян Янович (1936 – 1999) – поэт и прозаик, публиковавшийся в 1990-х годах в «Новом мире». Его книга «По воде земной» посмертно издана в Москве в 2002 г.

после всё не отпускал, рассказывал о своей жизни. Связь между Солигаличем и Советой – автобус два раза в неделю (а дорога приличная, в любую погоду проезжая).

Надеюсь на частые летние встречи и жду исчерпывающей информации для связи. А то вон ведь куда писать приходится...

Обнимаю!

С. Яковлев.

**29 мая 2002 г.**

**Кострома**

Серёжа, я вот-вот появлюсь в Москве: для «Предлога» составил и дополняю теперь свой угол в журнале (~1/3 объёма). Сюда вставляю 2 зёковских прозы – о Воркутинском театре (А. Клейн) и колымских бедолагах (забыл имя), 1 рассказ Веры Арямновой (рады были твоей рецензии<sup>16</sup>), разные разности – поклон Астафьеву (из «Дня и ночи» красноярского и «Зеленой лампы» иркутской, которая *гаснет*...) и стихи (Рыбинск, Н. Новгород, Курск, Красноярск). Придумал себе статус собкора по провинции, а она неохватна. Впрочем, и ты в Москве – провинция, и к тебе буду приставать: дай прозу! Пометим её Солигаличем. Но не 20, понятно, листов, а путевой огонёк к Сергею Яковлеву: пишет! даст ещё!

В Костроме провёл три вечера: Мандельштаму, Пастернаку, Маяковскому. Было немногочисл. собрание в честь С.В. Максимова. Вечер Ходасевичу сделаем в 1-й половине июня.

На радио согласился вести 2 раза в месяц «Светёлку» – говорить с умным гостем. (Ибо как Тютчев избегаю оставаться 1 на 1 с собой. Проклятое сердце жить не даёт...

Серебряный тяжёлый кубок  
похож на колокол молчащий.  
Кто я? Что я?  
Я без неё обрубок  
кровоточащий...)

...поговорить с умным гостем. Уже говорил с А. Гордоном в Москве. Тот увозит фильм (где я пою «Огородника») в Сочи, а в августе надеется представить его в Костроме. Книга Яна для тебя есть. Ладно, не терпится повидаться. Вот-вот...

Будем живы!

Ваш В.

**18 сентября 2002 г.**

Дорогой Володя,

это не письмо, записка. Вернувшись из отпуска в конце августа, много раз пытался до тебя дозвониться, но к телефону в Костроме почему-то никто не подходит (ни утром, ни вечером). Т. Дедкова была в Костроме на праздновании юбилея и сказала, что тебя там не видела.

<sup>16</sup> Сергей Яковлев. «Сбылись усилия и сны» (о стихах костромички Веры Арямновой). – Литературная газета № 29 (5841), 18 – 24 июля 2001 г. С. 7.



В. Леонович в гостях у С. Яковлева.  
Солигалич, 2002 г.



Встреча в Москве. 2001 г. (Из личного архива  
С. Яковлева.)

*Продолжается ли сотрудничество с «Предлогом»? Здесь тебя ждёт папка Короленко. Завёл предварительный разговор с Аннинским насчет его переписки с Дедковым (сославшись на твой интерес), он готов это обсуждать. Ещё ждут летние фотографии с Совеги и – плавки, забытые под Кинешмой...<sup>17</sup>*

*Вера Евдокимова (моя старшая сестра из Сергеева-Посада, чья книга стихов у тебя должна быть) провела этим летом две недели в деревенском доме близ могил<sup>18</sup>, в гостях у брата Володи, и вечерами читала там подаренную ему тобой книгу, не могла оторваться. Результатом бдений стал автограф, каковой переправляю тебе, как есть. (У Веры твоей книги нет, а ей очень хотелось бы иметь.)*

*Держал в руках, листал книгу Гольцмана. Если есть лишняя – отложи, пожалуйста, для меня, она мне очень дорога.*

*В «Родине» дела неважные. К сожалению, по своему статусу и генетически этот журнал не может быть свободной трибуной, а сейчас многое бы хотелось сказать – и о делах с Белоруссией, и с Грузией, и о другом, ещё более важном. Атмосфера давящая: словно властная шантрапа отыскала наконец в людях какой-то обесиливающий, обезволивающий их нерв (с помощью западных спецов, что ли?) и вот тянет, тянет... И опять – вседозволенность шантрапы (как в худшие годы при Ельцине, то есть внаглую, без фиговых листков), открытое и пошлое глумление над людьми. Тоже генетика.*

*Откликнись!..*

## **Декабрь 2002 г. Кострома**

Дорогие Серёжа и Люда!  
С наступающим Годом!

Сегодня вам позвоню, а пишу на тот случай, если вас не будет.

Мой год уходит – он неимоверно тяжёл. Не дай вам Бог такого никогда. Чтоб не думалось так:

<sup>17</sup> В июне 2002 г. В. Леонович в четырёхдневной поездке со мной на машине побывал в Солигаличе, на Совеге и в кинешемских краях (на родине моего отца). – С.Я.

<sup>18</sup> Наших мамы и отца, покоящихся на деревенском кладбище под Кинешмой. В. Леонович во время поездки посетил это кладбище. – С.Я.

море уходит вспять  
море уходит спать<sup>19</sup>.

А дай вам Бог лучшего чем был у вас.

Я объездил полгубернии: Вохма (Никола), Пышуг, Чухлома, Нерехта.  
Промелькнул в Москве – летали в Ереван и Карабах. Московское чувство:

Когда же через шумный град  
Я пробираюсь торопливо...

и т. д. до конца<sup>20</sup>.

Но чем тяжелее мне Москва, тем нужнее и легче Кострома. На радио у меня передача «Светёлка» (тебя бы залучить!), намечается студия при театр. мастерской – назову ТТ – творческий трёп – и студия при Технолог. ун-те. Мой трёп кому-то нужен.

Зачем не дал адрес сестры? Я бы ей написал. А не написавши ей, не писал и тебе.

Вместо открытки посылаю тем, кому хочу послать, какой-нибудь стишок. Ты любишь прозу – вот тебе про майора.

Люде сейчас повыбираю...

Вот попалось – про собаку. Был такой пёс – в Японии ему памятник. О трудности моего (7-го, а не 17-го) года – эти стихи.

Обнимаю вас крепко!

Берегите себя!

То есть друг друга!

Ваш В.

*От кого: Сергей Яковлев*

*Кому: Владимир Леонович*

*Дата: Thu, 25 Jan 2007 17:44:03 +0300*

*Володя, вчера сгоряча написал тебе о своем «увольнении»<sup>21</sup>. Получил ли? Теперь, почувствовав себя свободным, впервые прочел твой замечательныйopus о брянском поэте.*

<sup>19</sup> Из В.В. Маяковского:

море уходит вспять	С тобой мы в расчете
море уходит спать	И не к чему перечень
Как говорят инцидент исперчен	взаимных болей бед и обид.
любовная лодка разбилась о быт	

<sup>20</sup> Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Пророк»:

Когда же через шумный град	Глупец, хотел уверить нас,
Я пробираюсь торопливо,	Что Бог гласит его устами!
То старцы детям говорят	Смотрите ж, дети, на него:
С улыбкою самолюбивой:	Как он угрюм, и худ, и бледен!
«Смотрите: вот пример для вас!	Смотрите, как он наг и беден,
Он горд был, не ужился с нами:	Как презирают все его!»

<sup>21</sup> Из журнала «Коростель», выпускавшегося в 2006 – 2007 гг. редакцией в составе: Гарри Гордон, Владимир Леонович, Сергей Яковлев (учредитель – движение «Образ будущего» во главе с Александром Гордоном).

## ХАЧИКО

Пес ждет хозяйку, а хозяйки нет.  
Хозяйки нет уже 17 лет.  
Собачий век, по счастью, не длиннее.  
И пес приходит на аэродром,  
чтобы сидеть на месте, на одном  
и том же, потихоньку камня.

Ваятель выбрал черный диорит,  
который нам о вере говорит,  
напоминая ~~заодно~~ в масти.  
17 лет. Да нет, не может быть!  
Ночами ясными по-волчьему выть,  
по-человечьи поскулить в ненастье...

*о собаке*

Потом, потом, в невероятный год,  
но к статуе старуха подойдет,  
как будто на недельку улетала.  
Пршепелявят губы: Хачико...  
И вот когда свободно и легко  
выходим мы из камня и металла!

Весь долг отдав, из долговой тюрьмы  
на волю, чорт возьми, выходим мы  
и - будь он проклят! -  
сходим с пьедестала.

Поэт необыкновенный, и это чудо, что ты таких находишь. И ещё одно чудо: откуда ты знаешь М.П. Еремина, которому посвящено одно из стихотворений? Откуда он его знает?.. Это был мой любимый профессор в Литинституте. Он оставлял меня у себя в аспирантуре, думать над Некрасовым и Достоевским (не получилось – ректор тогдашний воспротивился).

Не знаю, что теперь будет с твоей статьей, да и со всем остальным. А с другой стороны, задумывалось: как может какой-то Гордон «уволить» меня от собственного (нашего с тобой) детища, вынашиваемого годами? При чём тут вообще Гордоны? Их доля – анемичный и бесполезный «Предлог». В конце концов «Коростель», каким он сложился, – интеллектуальная собственность, а покушающийся на неё – разбойник. Пусть они с этим клеймом и останутся, ревнивцы несчастные.

Всегда твой

С. Я.

**От кого: Сергей Яковлев**

**Кому: leonovich@safe-mail.net**

**Дата: Wed, 20 Jun 2007 23:47:06 +0400**

Дорогой Володя,

вышла наконец долгожданная и многожды обещанная моя книжка, где много про тебя, про Дедкова и других достойнейших. Называется «Та самая Россия. Пейзажи и портреты». Всё это было опубликовано в разных местах, и ты это, конечно, читал, но в целом виде производит особенное впечатление. Повидаться бы да отметить, вот только где? Не будешь ли здесь?..

Не знаю, застанет ли тебя ещё это письмо дома, да и в адресе не очень уверен. Напиши, когда получишь. В начале месяца ездили под Кинешму, теперь уже на свежую могилу брата Володи. Он лежит там же, с родителями. Прости, что не заглянули к тебе, – не было и часа свободного.

Твой С. Яковлев.

**От кого: Владимир Леонович**

**Кому: sergeiyak@rambler.ru**

**Дата: Thu, 21 Jun 2007 12:45:17 +0400**

Серёжинька!

Рад выходу твоей – нашей книжки.

«Коростель» – моя горечь. Работаю вслепую.

Журнал – дитя, требующее уйму забот. Белинский: умру на журнале и под голову велю положить книжку «Отеч. записок». Цитировал это Твардовскому – к обоюдной радости, обоюдному вздоху.

Осенью буду говорить с Гордоном – поймет ли он тебя, меня, Белинского, Твардовского?

Твоя книжка хорошо названа: «та самая...»

Что журнал наш – руины, верно. Но ещё не сегодня.

В деревню собираемся, пожалуй, в июле уедем.

Адрес мой – этот же – верному человеку Алексею Попову.

Не у вас ли моя библиотечная книжка «Нижняя Дебря»? Библиотека требует.

Будем живы!  
Люде – цветы весны и лета!

(По поручению Владимира Николаевича его «электронный почтальон» Алексей.)

*От кого: Сергей Яковлев*  
*Кому: Владимир Леонович*  
*Дата: Thu, 21 Jun 2007 22:53:04 +0400*

*Володя!*

*Отыскалась «Нижняя Дебря», но – не библиотечная, а с дарственной надписью кому-то. Ты давал Людмиле для перепечатки, с отмеченными стихами. Уточни, как нам ей распорядиться. От Людды сердечный привет.*

*Что ж – на лето, получается, разъедемся, и пусть не далеко, но глухо? Ты хотя бы адрес оставь.*

*Гордоны как упрямые дети. Решили мне доказать, что могут и «сами». Не понимают (не желают знать), что журнал живёт идеологией. У них идей ни на грош (да и откуда, да и боятся...). А власть упорно идеологизируется, и ей нужно срочно противопоставить (сопоставить) что-то своё и здоровое. То, о чём я твержу много лет – русскую классику, либеральную демократическую почвенность, дедковскую традицию. Для них это – чужое и непонятное. Поэтому они меня блокировали, а потом и вовсе...*

*А что до «руин» – где номер? Ты его видел? На сайте картинка полугодовой давности, ничего нет. Сейчас по времени должен бы сдаваться уже следующий, третий за этот год (такой график я выдерживал). Не говорю уже о том, каким это выйдет, если выйдет, – не стану и заглядывать...*

*Сил тебе, а малышке<sup>22</sup> – здоровья. Книжка тебя дожидается.  
Твой С. Я.*

**8 марта 2008 г.**

**Илешево Кологривского р-на Костромской обл.**

Здравствуйте, мои милые!

Мало кому хочется послать стихи или как их там – тексты (дрянной эвфемизм). Но написанное давно и поновлённое только что вам посылаю. М.б., порчу черновик? Пастернак, говорят, портил свои юношеские стихи – старческой рукой.

ЕВТУШЕНКО ГОДУ В 65-М

*Шиллеру моей юности.*

Он выглядел неукротимо.  
Помолодел, опал с лица.  
Мортира телеобъектива  
его следила без конца.

<sup>22</sup> Дочь В. Леоновича Мария.

Ища опоры и робея,  
свои записки теребя,  
себя сильнее и слабее,  
весь, как стихия, вне себя,

кружился он, хрипел, шатался  
на сотнях слабеньких пружин,  
пока из горла вырывался  
повелевающий им джинн,

он колыхался как костёр,  
был ярок словно на прощанье,  
уже – пожар, ещё – актер,  
уже правдив как завещанье...

Его челнок, легок и утъл,  
скользит на гребне под уклон.  
Толпу с народом перепутал  
не первый, не последний он.

Дитя толпы, толпе он верит,  
езде скользит, во всём сквозит,  
всё перелюбит, перемерит  
весь карнавальный реквизит,

и кажется, любая в пору  
ему заслуга и вина...  
Да нет, не ищет он опоры –  
ему опора не нужна.

Ему как вечному мальчишке  
нужна волна – лететь, скользя,  
поймав уклон, меняя книжки...  
Но так в России быть нельзя.

Нельзя? Нельзя. Нельзя – а надо! –  
ему? толпе? Вот и живи...  
О страшная арлекинада,  
и тем страшней, что на крови.

Читалось Дедкову, но ещё черновое, где было и про Маяковского.

Это – как и объект – чёрно-белое, двуликое, но такова природа Е. «Я разный...» и т.д.  
Дедков повторял: арлекинада. Только это и принял, кажется...

Благодарность вам, что призрели меня, вахлака: Люда в компьютер спустила  
мои книжки, чего я век бы не сделал. (Странная пассивность, почти отторжение  
«З дела поэта», по Блоку. *От-торженье* не требует лишнего предлога: отторжение  
*от*. В древности это понимали.)

Вот и теперь – буду посылать вам разное, можно? Лесневский с меня просит  
книгу, а мне одному этого не одолеть. У Вики руки связаны материнством и хозяй-  
ством. А я, как Гомер, мог бы описать свой день с 4 утра:

В 4 утра  
в чём мать родила.....

и перечесть, что да что приходится делать кроме бумажных дел.  
Обнимаю вас крепко!  
В.

**Март 2008 г.**  
**Кологрив – Кострома**

Серёжинька,  
я всё венгал, а только вот сию минуту в автобусе Кологрив – Кострома прочитал твоё – мне. Эти 2 статьи<sup>23</sup>. Уже в 1-м приступе, на 1-м твоём периоде... и до конца почти не высушал.

Сквозь слёз.

Меня пронимает правда. В данном случае – правда твоего сердца. А не читал я столько времени – боясь перебора. Перебор – порча. (А есть – кто питается им.)

Вот тебе блеф:

Недавно я в рабочую тетрадку  
переписал старинную загадку –  
о как ты близок и родим,  
как хорошо, что непереводем,  
язык могучего средневековья –  
«Что злейше есть хулы и блядословья?»  
Отгадка мелкой буквицею: лѣсть –  
и повторяю: злейше, злейше есть.

(Макаръев, стоим.)

Впрочем, это мелочи. Пафос всего, что я успел прочесть = мысль о России. И ты о ней думаешь в паре со мной, с Васиным (какая мешанина!), с умницей Кураевым (какое лицо!) и т. д. И особенно с Дедковым, не прочитанным, не оценённым. Если не получится твоя презентация, то уж постарайся приехать в апреле на очередные чтения Д. (Тему я позабыл, но не в теме смысл этого огонька, то вспыхнет, то тлеет. Для меня тема – одна: *выход в жизнь* из всех писаний Д. (У Цветаевой: из Пастернака выход в мысль, внутрь; из Маяк. – на площадь.) Во что сегодня вышел и во что вляпался Игорь. Кстати, посмотри «Др. нар.» № 1 (а я вдруг смотрю на себя: ну и зануда, всё про одно да про то ж! *Gútta savát lapidém*<sup>24</sup> – а у меня не в *lapidém*, а всё в дерьмо). Пошлю тебе стишок, а лучше прочитаю, он кончается криком 6-летней девочки: ВЫ! ВСЕ! ГОВНЫ!

Вот я и в Костроме. Завтра презентация книги П. Романца о Чернобыле, Байконуре, Спитаке, где он был действующим лицом. Многого стоит!

Открыл книжку Оскоцкого, мне подаренную, – «Полемика». И – странный отсыл: Яковлев борется до крови с теми, кого считает сволочью, – а писать бро-

<sup>23</sup> В книге: Сергей Яковлев. Та самая Россия. Пейзажи и портреты. – М.: Логос, 2007.

<sup>24</sup> Капля долбит камень (*лат.*).

сил. Может, и не бросил (?), но слишком уж заборолся, а это влияет на слово, на чистоту воображения, на стиль, на здоровье. Сужу по себе, по тому, какая дрянь наполняет бессонницу. Надо бороться со своей борьбой – а?

Гениально: с мельницами.

Потому что ничего общего у меня с культурным начальством Костромы, ни одного попадания: моего в них, ихнего – в меня.

Ладно. Обращусь к бумаге. Много старого становится новым. Пережить бы себя лет на 50 – 100! Язык позволяет на это надеяться. (Но: пишу, а эмоций никаких. Почему? Да потому, что знаю, что через 50 лет войду в сознание тех, для кого пишу.)

**24 июля 2010 г.**

**Илешево Кологривского р-на Костромской обл.**

Серёжинька!

Посылаю тебе свидетельство моей письменности<sup>25</sup>.

Жив курилка, не жив ли – а пишет.

Цитирует сам себя – без кавычек – по Кологриву сойдёт. А уж Яковлев в свой журнал не пустит.

Но:

Святое место – с. Николу – я распространил на Вохму, где жил и светился Лёня Попов. Его книжку, т.е. *книгу* из 5 книжек с моим предисловием издает мой Коля Герасимов<sup>26</sup>. О Николе, о том звонаре<sup>27</sup> там подробнее, но *сосёт*: ещё и ещё надо писать Genius Loci... Вот коли напишу – тебе pošлю. Пусть, кто прочтёт, остановится и о *своих* святых подумает. Ведь на них же стоит «эта страна».

Продолжаю хвастаться:

– Володя, разреши собрать денег тебе на дом.

– ... (Пауза.) Разрешаю, Галинька (Корнилова).

От Коли получаю 200 000. Я ему как отец, что-то в него вдохнувший за 2 года в Николе. 200 тыс. – как раз квартира в Кологриве.

(Это я напуган своей доходстью прошлой зимой = негодностью жить деревенской жизнью, когда всё – на Вике<sup>28</sup>, на шее, на руках и ногах.)

<sup>25</sup> В письмо вложена газета «Кологривский край» от 13 июля 2010 г. со статьей В. Леоновича «Возьмите в долг, не откажите!» к 100-летию А.Т. Твардовского.

<sup>26</sup> Попов Леонид. Территория близкой души. – Сыктывкар, 2011. – 464 с. Книга издана с послесловием (не предисловием!) В. Леоновича «Гений места».

<sup>27</sup> Из послесловия В. Леоновича к книге: «Волгд. г. Ник. у. на Вохме, построена в 1784 г. церковь, на месте, ГДЕ СЛЫШАЛИ ЗВОН; в 1845 г. она сгорела СО ЗВОНОМ». Это словарь Даля, статья ЗВЕНЕТЬ. Небольшое усилие воображенья – и горит деревянная звонница, и звонит, и звонит звонарь, уже подпекаемый жаром, и радуется старик ТАКОЙ СМЕРТИ. И кладет вечную печать ГЕРОИЧЕСКОЙ СВЯТОСТИ на село и десятки деревень вокруг, на весь Никольский уезд с Вохмой вкуче».

Из стихотворения «Памяти отца Феодосия Чулкова, священника Николо-Вознесенской церкви»:

Записывает вездесущий Даль:

сгорела церковь старая *со звоном*,

сгорел и безмянный тот звонарь,

в огне звонивший... С Богом повезло нам.

<sup>28</sup> Виктория Нерсесян, жена В. Леоновича.

Ещё похвастаюсь: из 60 тыс. Горьковской премии<sup>29</sup> 30 отдал на книгу Оли Коловой и Елены Балашовой (Чухлома) – такая высокая по формату и двухконечная, т.е. двухначальная, и два предисловия – моё и В. Крупина...

Ещё похвалюсь: имя Н.К. Крупской исчезло с фасада Костромской библиотеки. А ось, имя Дедкова появится на пустом месте...

Так чем же я *хвастаюсь*?

А тем, что не дали мне помереть мои Ангелы. Тут следуют имена, факты, вещи. После всего того болеть и тем более помирать – с моей стороны было бы свинством.

Dixi.

Крепко вас обнимаю.

<sup>29</sup> В 2010 г. Владимир Леонович стал лауреатом Горьковской литературной премии в номинации «Мои университеты». Известие об этом застало его на больничной койке. Сказались хроническое недомогание (сердце), небывало студёная зима, тяжёлый быт в старом деревенском доме.

*В эти годы В.Н. Леонович нередко гостил у нас дома в Москве. Вот несколько его записей в семейном альбоме:*

Принял я этот дом с  
мыслями о культурном (оппо-  
зиционном) костромском фонде  
имени Дедкова, о "Костромской  
Библиотеке", где уже витает дом  
Яковлева. Как всегда, пошёл  
с Колупово в деле таком  
моём и радужном.

Рад и вдохновлён!

В. Леонович  
20 авг. 05

# Лужинская Декларация

Июнь 2002

Сыпучие отвалы, пустыри,  
Залатанные огорды, —  
И годот поздне — фнурги  
Мгновения Свобды.

Как в медленном кино,  
Я переплыл городское поле...  
Я знал давно,  
почем Любовь и воля.

Все меньше лиц. Все больше спич.  
Земли и неба ширь.  
А дух соблазна нестерпим  
Как шаматырь...

Вот когда их, лиц, всё меньше, то  
всё дороже каждое. Когда фильм коллдует,  
начинаешь ценить и понимать тепло.

Что ж, возмем и унесем это туда,  
откуда брали его мы, откуда возмем  
его потомки.

Это я пишу оторвавшись от Дневника  
Игоря Дедкова (осень 91г.) — он смотрит  
на нас со стеной кабинета.

Едем в Солигалич.

И по твоей, Сережа, просьбе: →

Игги не можешь? —  
Бети.

Безага не можешь? —  
Лети.

Лететь не можешь? —  
Не яги.

Понять не можешь? —  
Прости.

Александр

От кружки кафе, фалом Веников,  
 Моур под хлестанье гучит  
 И в падкий класе по тронки вобирова  
 Стан коридорелики влачит.

Цуркне бедошакими маками,  
 Почав утретний ледок,  
 Со всеми сельскими собаками  
 Сускается в широким пот.

Молнимся у колода е петного  
 Ядова для мотва сагот,  
 Чурба стопото омовенното  
 Сунитва вобирова корот.

То коридору, чурба пока голу,  
 Поставуцему тамното вбок,  
 Стену к любимому 10-му:  
 У нас сегодня крадник - БЛОК!

Увалу ја дървим секунду спучаю  
 И твърдо шагивам в класе,  
 Где нахтер доброту конюшнето  
 И нълб еше не улгласеб.

# Ружинская фелетра

Глаза по плышке! Коса Ветрианава,  
 Дзеб дзевятый макушка  
 Насмарку... У сгоу как фюмантаны,  
 Кожа сгулагу точыраф.

Мне надо сближуб да вб сновасоу  
 У згу фужуб передо мной,  
 Эге бейдта колкой фелетрафоса  
 На бунде девятки одубе.

Коде лаубе... Бледносуб аф бессоткино  
 К черёмуховам холлодам...  
 Не спрашуба мн жебе споминубся  
 К 17-ти глуми годам?

Мои зрехи, надебле, зромахи  
 Моё смитенуб мн когда нуосубе?  
 Мебе мн, как букет черёмухи,  
 А обшумал? Не можуб быубе!

Сноветиле справа-даубе не

правде, но блоку:  
 Ура если я, заводчик твой,  
 Сожмю оборотный путь,  
 Вернусь домой - уличенный?  
 Убьют смелый ли меня зритель?

Д. Л. янв. 04 -

Квадратура болшевикского круга  
 Корнетная система добра  
 Литыхен - Питер - Тюльки - Калуга -  
 Соловки - Солмахи... ура!  
 Никуда Новгород - Пудож - Парфю -  
 Все родное! - а ты говоришь.  
 Это была наша трёхвёрстка -  
 Зага - бродя - куда - жимовье...  
 Наших друзей алмазная горстка  
 Наме прутестю, бот - ботиче.

Д. Л.  
 17 июня 04  
 сегодня в Кострому

## Тамара Жирмунская

### О себе:

*Москвичка, закончила Литературный институт им. А.М. Горького. Автор 13 книг стихов и прозы. Главной своей работой считаю многолетний труд о Библии и русской поэзии, от Тредиаковского до Есенина (вышли три издания), а самой задушевной – лирические стихи и поэму о Матери Марии (Е.Ю. Кузьминой-Караваевой). Лауреат Союза писателей Москвы в номинации «Поэзия» (2002).*

## «Основа простым-простая»

\* \* \*

Вынув из урны хлеба кусок,  
бабка его завернула в платок.  
Кто его бросил и кто оплевал,  
я не увидел и не назвал.  
Но по тому, как взглянула она,  
я ужаснулся: будет война!

Это шестистрочное стихотворение Владимира Леоновича я поместила в моём аккаунте «Фейсбука» ещё при жизни поэта.

Года полтора назад завела там собственную антологию стихов недооцененных поэтов моего поколения. Чтобы расширить круг их почитателей...

Разумеется, цену Леоновичу знали коллеги и стихолюбцы из Москвы, Петербурга, ещё нескольких крупных культурных центров России, жадные до поэзии читатели Грузии, читвшие его и как оригинального поэта, и как виртуозного переводчика. Его читали и высоко ценили в городе, где он появился на свет и куда всегда стремился душой: в Костроме и вокруг неё.

Но «Фейсбук» – мощная социальная сеть, охотно посещаемая теми, кого я называю «технарями», «технократами»... – короче, сменой искушённых читателей.

Когда-то прозвучало набатом «Это сладкое слово – свобода!» – название популярного кинофильма В. Жалакявичюса, сюжетно взятого не из отечественной, а латиноамериканской жизни. Где-то в изножии у «свободы» притаилось известное нам чуть ли не с младенчества, примелькавшееся слово «война», но кто мог предположить, что они, эти книжные слова, вырвутся, как джинны из бутылки, из чрева повседневности и пойдут крушить мирную жизнь, всё отвоёванное, отстроенное, политое кровью и потом наших предков и старших родственников?

Поэты многое чувствуют наперед. Я без труда нашла в последней книге Володи стихи-тревоги, стихи-предупреждения о том, что наступит после относительно стабильного бытия, хотим мы этого или не хотим...

\* \* \*

Свобода берет своё,  
свободно произрастая.  
Мы сотканы из неё –  
основа простым-простая.  
Свобода берет своё.

Ликующее дитя,  
опека – смена конвоя.  
Что делать? Слишком живое  
для жизни это дитя.

Но истина такова,  
что жизнь сама для свободы  
еще не вполне жива.  
И вот вам мои заботы,  
обязанности, права.

И, нежный гений её  
лелея и охраняя,  
живу, гляжу на неё,  
дышу, как старая няня,  
которой житьё-бытьё  
уже не своё – ничьё.

Неожиданное стихотворение о свободе! Вместо ликования – опаска.

Не трусость, о нет, – за Владимиром Леоновичем так прочно и закономерно закрепились определения «смелый», «безоглядный», что даже нет нужды распространяться на эту тему. Вместо «шапкозакидательства» – трезвое, взрослое, умудрённое взвешивание всех рисков, таящихся в этом сладком слове. Не лобовое, не назидательное, а истинно поэтическое. Оказывается, свободу можно приравнять к «дитяти», слишком живому для консервативной жизни. И поэт при свободе не глашатай *громких* прав («Не дорого ценю я громкие права, От коих не одна кружится голова...» – А. Пушкин), а «старая няня», давно знающая, что почём, и озабоченная в первую голову своими обязанностями и урезанными правами, живущая жизнью не личной, а всеобщей, как выражаются дети...

Когда и как появился Владимир в нашем кругу – высокий, стройный, без малейшего жирового довеска, с руками мастерового, с приветливой улыбкой, обращённой к дамам (я была одной из них), – не могу вспомнить. Лента памяти лучше всего сохраняет «картины» (в театральном значении слова) и главных действующих лиц.

В больших эстрадных праздниках поэзии, всколыхнувших в начале шестидесятых Москву, он, по-моему, не участвовал. Или я с ним не совпадала. Не помню его в роли глашатая ни в Политехническом, ни в Зале Чайковского, ни в Лужниках. Пересекались на встречах в «Магистралах», где у него всегда была сольная партия. Основатель и неутомимый ведущий этого самого известно-



В. Леонович с мамой Ольгой Алексеевной.

Алексеевна. Она – в курсе всей его жизни, его литературной работы, его знакомств и дружб. Каждая новая гостя кажется ей соискательницей женского счастья. Сегодня это Алла Коркина из Молдавии. Поэтесса, в прошлом балерина. Я её хорошо знаю. Она – землячка моего мужа Павла Сиркеса. Говорим на нейтральные темы: поэзия, Кишинёв, трудности адаптации в Москве. По нашей просьбе Володя читает стихи. Впервые слышу «Имя прадедово»:

...Припаду ли когда на паперти  
к твоему надгробью?  
Я, обязанный матери  
сильной кровью,  
между мусора прусского  
и родимого благосвинства  
пе-ре-нял жилу русского  
духовенства.  
В эту жилу вбежала  
и запенилась кровь отцовская:  
там Мицкевичи, там Варшава –  
воля польская.

Как он читает! По-строчно. Разрубая и раскладывая строки по строю-смыслу, всегда насыщенному, подчеркивая голосом необычные слова и созвучия (благосвинства – духовенства), приберегая самое неожиданное для концовки: Мицкевичи, Варшава. Так, уверена, у него само собой получается. Но «само собой» – это когда у поэта мощный завод, и пошлб-поехало как будто без приложения авторской воли...

А вот и другая встреча у Леоновичей. Малолюдная. Володя, Фазиль Искандер и я. В семье Фазилия родился сын. Поздний. Горячо желанный. Между собой мы называем его Сандро из Москвы. Год рождения сына – 1983-й. Фазиль звонит с Володиного телефона жене Тоне. Спрашивает каким-то особенно свежим голосом: «Ну, как он там?» Столько заботы в этом мужском баритоне. Ненадолго ушёл из дому и уже волнуется. Слава Богу, с младенцем всё в порядке. Я чувствую, что Володя радуется счастью своего коллеги, как радовался бы своему собственному.

Запомнился этот эпизод ещё и потому, что вспыхнул разговор об Эдуарде Асадове. Он был тогда весьма популярен не только у девятиклассниц, но и у чита-

го в то время ЛИТО Григорий Михайлович Левин как будто робел перед ним, хотя и другие «солисты» у него были отборные: Булат Окуджава, Николай Панченко, Ян Гольцман.

В поэтической среде в то время присягали на верность чрезвычайно легко. Кто на один вечер, а кто и до гроба.

... Мы с мужем у него в гостях: Володя был в долгой поездке и недавно вернулся в своё старое московское гнездо, где его страстно ждала мама Ольга

тельниц значительно старше. Мы, коллеги, все трое, были в общем едины. Давать ему оценку с точки зрения поэзии – кошунственно. Это милосердный Володя за всех нас сказал. Многие люди впервые открывают для себя внешкольную, внепрограммную лирику. Естественно, что авторы доступных текстов на болевые нравственные темы – семейные, любовные – пользуются повышенным спросом. У Асадова к тому же драматическая биография: инвалид войны, потерял зрение, сжимается сердце, когда он выходит на сцену в своих чёрных очках. Кому же и хлопать оглушительно, как не такому герою?.. Фазиль вдруг вспомнил асадовскую строчку, где звезды сравниваются со снежинками. И добавил: «Бедненький! Он так давно не видел ни звезд, ни снежинок...» А я невольно подумала: в сердце настоящих поэтов всегда есть место состраданию...

...Когда Владимир Николаевич попросил меня вести его творческий вечер в московской Некрасовской библиотеке, я пришла в замешательство. Я уже слышала его устную новеллу о Галактионе Табидзе и понимала, что он не преминет повторить её для библиотечной аудитории. История нестигаемого великого грузинского поэта, отказавшегося опорочить имя другого великого поэта, Бориса Пастернака, и добровольно принявшего смерть – одна из самых сильных и вечных вариаций на тему «Поэт и Власть» (две прописные заглавные буквы).

Да и Володины стихи, особенно последних лет, несли в себе политическую крамолу, не всегда видную читателям со стороны, но ощущаемую внимательными коллегами и особенно теми, для кого «сыск» такого рода стал чуть ли не основной профессией. Мне рассказывали, как волнуется Володина мама перед большими его выступлениями.

Что касается меня, я и сама висела на волоске. В 1979 году была исключена из Союза писателей СССР за намерение уехать вместе с мужем и дочерью за рубеж на ПМЖ. Больше меня не печатали, фамилия моя не упоминалась, заработать хоть что-то литературным трудом помогали друзья, доверявшие мне своё имя. За работу, сделанную мной, им платили гонорар, и они отдавали мне деньги... От намерения эмигрировать я тогда отказалась сама, но тянулась и тянулась волокита с восстановлением в ССП. Исключенная из монолитных писательских рядов, я была вроде «поручика КИЖЕ» – для литературных чиновников и власть имущих меня как бы не существовало.

Может быть, Володя, редко бывавший в Москве, не знал подробностей моей биографии. Может быть, то был жест милосердия с его стороны. Но и без этих соображений отказаться вести его вечер в Некрасовке я никак не могла. Всю жизнь грызла бы себя за отказ.

Вечер прошёл с успехом, при большом стечении слушателей. Володя пламенно рассказал про Галактиона, прочитал много рискованных стихов, бесстрашно отвечал на вопросы.

Не знаю, как называется у психологов перенесение «мандража» с одного объекта на другой, но, поставив себя на место Володи, испугавшись за него, я почти успокоилась на свой счёт. Утром села на раннюю электричку, поехала в подмосковное Пушкино, в Сретенскую церковь Новой Деревни, к своему духовному отцу Александру Меню. Всё описала ему, не скрыв и своих страхов, попросила замолить тёмные силы, грозящие Володе и мне. Он обещал.

Ожидаемых неприятностей не последовало...

У меня сохранилась программа благотворительного вечера «Терпение свобо-

ды», организованного Мюнхенским обществом «Спектр» 3 ноября 2011 года в пользу Владимира Леоновича. Деньги нужны были на покупку дома для поэта и его близких. Ведущие вечера: поэт Наталия Генина и я.

Небольшой читательский зал Библиотеки Толстовского фонда полон. Самого автора здесь нет. Но его голос – с нами. Присутствуют человек тридцать. Все, как принято тут говорить, русскоязычные. Мы с Наташей чередуемся. Всю техническую часть осуществляем и контролирует поэт Андрей Рево. Прежде чем Н. Г. прочитает отрывки из поэмы Леоновича «Твардовский», я стараюсь ввести слушателей в курс предстоящей беседы. Сообщить собравшимся в зале людям, очень разным и по образованию, и по осведомленности в литературном процессе, что связывало *народного* поэта Александра Твардовского и поэта-шестидесятника Владимира Леоновича. Если отвечать коротко, то связывала их долговременная взаимная любовь.

Наталия Генина читает отрывки из поэмы. Рассказывает о своей многолетней дружбе с Владимиром Николаевичем. Он открыл ей Грузию и грузинскую поэзию. Она была начинающим переводчиком, Леонович – уже мэтром в этом деле. Его шефство было донорским, но необременительным.

Звучат и звучат стихи – и в авторском исполнении, и в исполнении коллег поэта. Реанимирована даже запись голоса Леоновича по телефону. Зал смотрит видео: В. Л. в гостях у А. Гордона.

В заключение вечера А. Рево ставит диск, на котором Вл. Леонович поёт песню на свои слова и музыку:

...Только раз я живу, только раз я умру,  
а потом я воскресну во Имя Твоё...

Объявляя о благотворительном вечере поэзии директору Толстовки Татьяне Ершовой, мы с Наташей Гениной, разумеется, не скрыли от неё, что на особый денежный прирост не рассчитываем. Библиотека от этого никакой материальной выгоды тоже не имела, кроме обычной платы за вход в несколько евро с человека. Но разве «сеять разумное, доброе, вечное» – не долг любого культурного учреждения? Особенно за границей. Спасибо, что Татьяна Константиновна нас поняла, поддержала...

Одновременно с нашим вечером журнал «Сноб» поместил объявление за подписью живущего в Мюнхене композитора, музыканта, преподавателя музыки Владимира Генина: «ПОМОГИТЕ ПОЭТУ!» В. Г. просил помочь деньгами Владимиру Леоновичу, которого знает и высоко ценит больше 30 лет. Так сложилась судьба, что пожилой поэт с женой и двумя детьми живёт в глубине России в деревенской халупе, не приспособленной к зимним условиям. Есть неподалёку пригодный для жизни дом. Сравнительно недорогой. Но и таких денег у семьи нет.

В. Г. заканчивал своё объявление коротко: «Буду рад, если кто-то откликнется».

И читатели откликнулись. На указанный номер счёта стали поступать деньги. Удивительно, что деловые успешные люди, расчётливые и сухие, по мнению большинства, не просто поддержали инициативу композитора, но в своих откликах цитировали стихи Пушкина, стихи и переводы Владимира Николаевича. Так, Елизавета Титанян написала, что с 18 лет знает и любит стихотворение Галактиона Табидзе в переводе с грузинского Владимира Леоновича:

И море с берегом спаяла.  
Шесть месяцев сожрал январь –  
Такого не бывало встарь.  
То оглушительно и пылко  
Гремела, как камнедробилка,  
То затихала сразу вся,  
Сугробы синие кося.

Зиме я верил и не верил,  
Но глубину прилежно мерил,  
И не оказывала дна  
Порою эта глубина...

Довольно быстро необходимые деньги были собраны<sup>1</sup>. И наш дорогой друг Володя ушел в мир иной, оставив своих близких в добротном доме.

\* \* \*

С поэзией нашей что-то происходит. Она всё меньше волнует немногочисленных ныне читателей... Написала это и сама себя одёрнула. Вот, скажут, нашлась ещё одна «бабушка русской поэзии». Давно ничего не пишет и в критику ударилась... Во-первых, что-то иногда пишу. Заполняю, так сказать, лакуны в будущем «Избранном». Вещественных черновиков не имею. Но в памяти сохранились не доведённые до кондиции строки, неиспользованные ударные концовки. И то и другое, разумеется, в моей субъективной системе координат. Во-вторых, критика, тем более огульная, не мой жанр. Радуюсь каждой чужой живой строке, каждой не заёмной, естественной рифме. Но что изощряться в стиховедении на пустом месте?

Не лучше ли привести хоть одно эталонное стихотворение – смотрите, детки, как писали ваши предки! И такое стихотворение у меня в запасе есть. Автор его – Владимир Леонович. Напечатано впервые, если мне не изменяет память, в «Новом мире», при главном редакторе Твардовском. А он, великий поэт, к стихам относился как верующий к иконе, на которую может посягнуть недостойный. Не случайно повторил эти новомировские стихи Володя в своём итоговом сборнике «Сто стихотворений» (М.: Прогресс-Плеяда, 2013). Это было прощанием и с Александром Трифоновичем, и с теперешней формой существования...

### ВОЗЛЕ СТАНЦИИ ИНЯ

Воздух тесный, воздух мглистый  
пахнет мылом и водой.  
На пружине на сталистой  
между небом и землёй –  
деревянное корыто.  
Лубяная колыбель  
белой марлицей прикрыта.  
Человеку шесть недель.  
Деревянная теплушка,  
мокрой простыни клочок.

<sup>1</sup> Были и другие источники помощи. См., напр., письмо В. Леоновича С. Яковлеву от 24.07.2010 – наст. изд., с. 182–183. (Примеч. ред.)

Стирка – сушка,  
 стирка – сушка.  
 Тихий мальчик-грудничок.  
 В этот полдень, в эту стужу  
 навещаю я её.  
 Почему живет без мужа –  
 это дело не моё.  
 Ничего она не просит:  
 и вагончик не сквозит,  
 и газетку ей приносят,  
 и печурка не дымит.  
 Не насмотрится на сына.  
 В «монтаже» одна. Давно...  
 Смотрит белая равнина  
 в запотелое окно.  
 Надо мальчику кормиться,  
 надо сесть ко мне спиной.  
 Этот воздух материнства,  
 одинокий и грудной,  
 этот запах – горклый, кислый...  
 «До свиданья» второпях.  
 Эта зыбка на сталистой  
 на пружине, на стропях.

Где же горе, где обида?  
 Двери настежь, в горле ком.  
 Вся равнина,  
 вся залита  
 материнским молоком!  
 Спи, младенец мой прекрасный,  
 среди бела-бела дня,  
 среди чудного пространства  
 возле станции Иня.

Володя успел прислать мне свою книгу. С необычным посвящением: «Тамаре с радостью, что написала о своих людях, как мне не написать. Обнимаю тебя крепко, но осторожно: косточки...» Видимо, кто-то из общих знакомых рассказал ему о моей последней книге воспоминаний и моём недавнем переломе. Этим бережным объятием и хочу закончить своё объяснение в любви. Спасибо, дружище!

## Виталий Шенталинский

### О себе:

Окончил Ленинградское арктическое морское училище. Две зимовки в Ледовитом океане, на острове Врангеля. Пять высокоширотных экспедиций по изучению животного мира Арктики. Это – первая профессия.

После факультета журналистики МГУ работал литредактором на радио и телевидении, спецкором журнала «Вокруг света». Издал десять книг. Печатался в «Новом мире», «Звезде», «Знамени», других толстых и тонких журналах. Приобщился к древнему русскому слову, переводил с церковнославянского рукопись XVII в. «Статирь».

Организовал и вёл Комиссию по наследию репрессированных писателей России, открывал секретные архивы Лубянки. Об этом трилогия: «Рабы свободы», «Донос на Сократа», «Преступление без наказания».

## Страдник

Меня спрашивали: «Вы с Леоновичем – друзья?» Больше чем друзья. А кто тогда?..

Мы были товарищи по судьбе, точнее сказать не могу. Многие годы нас связывало дело, которое, мы это понимали, больше каждого из нас и больше каждого на Земле, через него мы приобщались к миру больших величин. Это дело – исторический шанс! – называлось Комиссия по наследию репрессированных писателей, или «Репком», как окрестил её Володя (в пику «ревкому»). «Репрессированная комиссия».

Это была не Комиссия – миссия. А работа эта – страдой, по накалу и неотрывности. И Володя идеально для неё подходил, поскольку был поэт-страдник, а не эстрадник, – от «страда» и «страдание».

Но об этом – позже. Сначала – как мы с Леоновичем узнали друг друга. Конечно, через стихи, задолго до личного знакомства. Когда-то давным-давно я прочёл у Галактиона Табидзе:

... Боже мой, какая мука,  
Блажь какая и блаженство –  
Изваять – увы, из звука –  
Вас, о Ваше совершенство!..

Это пронзило. Сердце дрогнуло и отозвалось. Это же формула самой поэзии, лучше не скажешь! Чей перевод? Владимир Леонович... Так впервые прозвучало для меня это имя.

С тех пор я не пропускал мимо глаз и ушей ничего из того, что он писал, хотя печаталось мало – редкими, яркими вспышками, подборками стихов в толстых журналах. И не сомневался уже, что он – замечательный русский поэт, один из лучших в наше время.

Что мне кажется особенно ценным в его поэзии? То, что он соединил в ней натуральность, свободное дыхание, простор, близость к природе – с элитарно-

стью, предельным мастерством, когда писать плохо, как он однажды пошутил, – «Аполлон не позволяет». Это редкое единство.

У него ощущается перетекание жизни по всему древу поэзии – от глубочайших корней через ствол, листу – и до плодов-семян.

И ещё – сочетание злости дня и добра дня, жгучей публицистики и высокого, почти библейского пафоса, колокольного звона. Сейчас в основном пишут без всякого пафоса, утомительно ёрничают и пародируют – это мода такая, а ведь, как говорила Цветаева: «Без пафоса поэта нет». Разумеется, речь тут о внутренней, драматической или трагической серьёзности, а не о голословной патетике или псевдофилософии.

И вот встретились однажды лицом к лицу. Это было, когда я задумал вступить в Союз писателей, в 1983-м. Первую рекомендацию мне дал Анатолий Жигулин, с которым мы тогда подружились. Вторую – Володя Леонович. Уже там, в этой рекомендации, он делал акцент на трагической теме нашей истории, словно предвидя наш будущий союз.

«Стихи Виталия Шенталинского появились не на пустом месте, – писал он. – Поэтически обживая Север, они трудятся в счёт погашения нашего нравственного долга перед ним. И возникли они, я думаю, из чувства Справедливости... Поэтическая родина Шенталинского – в Магадане вышла первая книга стихов и книга прозы – родина трудная и высокая... Да, здесь была любовь, здесь прошли годы работы, здесь живут или похоронены товарищи, здесь осталась юность – хоть и поздняя – и её святые обеты.

И я кричу: да проклят буду  
Своим народом, как Иуда,  
Когда забуду хоть на час,  
Как стихла речь, как плач угас...

Стихи о Лидице написаны человеком, претворившем боль Колымской земли, – о чём ещё говорить?..»

Мне необходима была тогда профессиональная поддержка: после многолетних Северов, Дальних и Крайних, я только ещё обживал Москву, был совершенно вне литературной среды, и официальная литература меня активно в себя не пускала. Володино доброе слово стало яичком в пасхальный день. Однако не всё тут было просто.

Один из секретарей Союза писателей буркнул мне:

– Зря вы взяли рекомендацию у Леоновича, многие против вас проголосуют из-за него. Почему? – Тут он не сразу нашёл слово. – Ну, он слишком... демонстративен.

Примеры его «демонстративности», вернее – пассионарности, я наблюдал потом часто. Ну, к примеру, идет общее собрание Московской писательской организации. Тишь и гладь и Божья благодать. Вдруг слово просит Леонович, решительным шагом вымахивает к трибуне. И говорит примерно следующее:

– Я хочу сказать вот о чем. За последнее время мы дали оклеветать, исключить из Союза писателей, изгнать за рубеж как антисоветчиков целую группу наших коллег, отнюдь не худших. – И далее следует перечень имён, начиная с Солженицына. – Когда-нибудь нам будет стыдно за этот позор. Спыхватимся, да поздно. Так давайте покаемся сейчас в своем рабском положении и попробуем выпрямиться...

Гробовая тишина. Вскрикивает председательствующий, казённый глава московских писателей Феликс Кузнецов, пылая, как полотнище флага, и начинает орать:

– Леонович! Не забываетесь, мы как приняли вас в наш союз когда-то, так можем сегодня и выгнать! Нам такие члены не нужны! Я лишаю вас слова!..

Позже нечистая сила не раз и не два сталкивала нас с этим пресловутым персонажем.

В разгар перестройки, в июне 1989 года, мы с Володей и с сочинителем песен Сашей Дуловым поехали по путевке Бюро пропаганды художественной литературы (была такая приснопамятная организация при Литфонде, чуть-чуть подкармливала) в Архангельск и на Соловки (должен был ехать ещё и Анатолий Жигулин, но не смог по болезни). А Володя отправился туда из Карелии и начал свой путь пешком, переходя с одной железнодорожной ветки на другую, ночевал в лесу.

– Как тебе там было?

– Да ничего, – улыбнулся, поёжился, – дремал у костра. Звуков много, спать не давали...

В Архангельске все наши выступления сняли, хотя уже и афиши висели, – чтоб не занесли тлетворное влияние столицы. Ну а уж Соловков нас никто не мог лишить! И вот там, на Соловках, произошёл случай, который кажется теперь символичным.

В первый же вечер мы с Володей обходили монастырь по крепостной стене. Уже смеркалось, под навесом – тьма. В какой-то момент будто что-то уперлось в грудь.

– Знаешь, – говорю, – давай дальше не пойдём. Завтра, с утра, вернёмся на это место и пойдём дальше...

– Ну давай!

Наутро мы поднялись сюда и увидели: впереди, метрах в трёх от того места, где мы вчера остановились, в полу – неогороженный многометровый провал, и там, на дне, торчат шампурами нам навстречу железные штыри...

О том, что могло бы случиться, – лучше не думать.

Теперь мне кажется – это был некий знак нам: ребята, погодите, не спешите исчезать, поживите, вы ещё не всё сделали...

В ту пору мы только создавали наш «Литературный мемориал» – Комиссию по наследию репрессированных писателей. И нам перекрыли кислород: власти на наши зовы и вызовы – безмолвствовали, выжидали. Именно там, на Соловках, пришло решение – обратиться с открытым протестом к граду и миру. И сделали бы так, да остерёг после возвращения Юрий Карякин:

– Ни в коем случае! Вылетит птичка, её и подстрелят. Терпите, давите, вместе со временем... Нужна выдержка, нужна критическая масса.

Его тактика оказалась верной. Комиссия в конце концов состоя-



Анзер, Соловки. Рис. А. Калмыковой.

лась, была официально утверждена, на её заседания стали слетаться энтузиасты со всего Союза, двери архивов, со скрипом ржавым, начали приоткрываться, к нам потянулись люди, хлынула почта и с ней – рукописи...

Володя неистово, с жаром и страстью устремился в эту работу. Репком – как некое задание свыше. Приходил, стерёг и пополнял наш редкостный, единственный в своём роде архив, готовил публикации, работал в нашей крохотной комнатухе в Доме Ростовых на Поварской, на которую всё время покушались, шёл драться за неё с литературным бандитом Пулатовым, воевал с противником нашего дела – Феликсом Кузнецовым... Чиновного этого гибрида Володя заклеил как Феликса Михалкова.

А противников у нас и, главное, нашего дела было немало. В том числе в дрсированном аппарате писательского Союза. Один из помощников Карпова, первого секретаря, ярый сталинист, не раз заворачивал искавших нашу Комиссию:

– Слишком много ходят, пора закрывать...

Да и сам Карпов, назначенный тогда формально председателем нашей Комиссии, был сталинистом – правда, скрытым. Тогда-то он возглашал:

– Я бюрократ эпохи Горбачёва!

Позже, когда Горбачёва сместили, выпустил толстый, пышный том «Генералиссимус» – панегирик вурдалаку-вождю. Меня он однажды спросил подозрительно:

– На кого вы работаете?

– На репрессированных писателей, Владимир Васильевич, разве не видите?

Сыпались угрозы в письмах: «Какую змеиную злобу таят в себе отпрыски предателей родины – вот такие все они, Шенталинские-Амалинские эти, и их множество, которые чернят нашу историю и И.В. Сталина! История осудит тех, кто платит чёрной неблагодарностью товарищу Сталину. Всё было справедливо...», «Всё вернётся, и вы ещё об этом пожалеете...»

Верещал телефон:

– Хочу вас предупредить, чтобы вы остерегались. За вашим домом постоянно следят...

И обрыв, гудки. Профилактика.

По существу, мы – а в нашу Комиссию вошли Булат Окуджава, Анатолий Жигулин, Олег Волков, Виктор Астафьев, Юрий Карякин, Юрий Давыдов, и это ещё не все, крепкая дружина! – задумали нечто небывалое, опережали его величество государство. Отечественный Нюрнберг не состоялся – да, у власти для этого кишка тонка. Так пусть это будет наш Нюрнберг, тот, на который мы сегодня способны, суд над тоталитарным строем, государственным террором... Памятью, словом – другого оружия у нас нет. Наш Нюрнберг – устами самих жертв репрессий, которые только и имеют право на такой суд. Они, жертвы, не должны кануть в забвение, должны воскреснуть. И заговорить. А на скамье подсудимых – бывший преступный режим, его судьи и палачи.

И каждый свидетель на этом суде драгоценен.

Это была работа по спасению исторической памяти, «работа горя». Ибо без памяти нет сознания, а без сознания – человека. Есть цивилизованный зверь.

Ответ общества на историческую трагедию и вину неадекватен. Требуется перенос значений, следующий шаг в сознании. Не «Совершенно секретно», а «Хранить вечно» (два клюющих друг друга грифа, прикованных к следственным делам).

Чтобы номера перешли в имена. Чтобы знание стало сознанием.  
 Не смерть, а воскрешение. Не рабство, а духовное сопротивление.  
 Никаких громких лозунгов мы не провозглашали, но именно это имели в виду.

Как бросался Володя спасать из забвения, вместе с рукописями, и сами эти неповторимые судьбы, и прекрасные, как звезды, человеческие образы! Увлекался ими сам, увлекал других. До того, что однажды его дочка, помогая в перепечатке, даже произнесла:

– Папа, я хочу в такой лагерь!

Вот пример его работы в Репкоме – один из многих, но красноречивый. Январь 1990 года. Получаем письмо со стихами Ольги Александровны Сарынчовой, погибшей в казахстанских лагерях в 1943-м. Прислала внучка. Володя ей отвечает:

*«... Спасибо, что позаботились о стихах бабушки... Что Вам сказать? Несколько стихотворений можно напечатать, присовокупив к ним биографическую, Господи прости, справку. Это – чтобы откликнулся кто-нибудь, кто ещё здесь и может прочесть и откликнуться.*

*А не осталось ли у Ольги Александровны записок, каких-либо документов? Вырастают, видите ли, некие своды, где трудно различить одно от другого, но бесспорно, что пополняется грандиозный обвинительный акт, что растёт как бы Фавор духа и света на тех же Казахских равнинах, что восстанавливаются культурные традиции, которые казались оборванными. Всё дорого и уместно в росте этих сводов, всё крепит друг друга. В будущей библиотеке нашей Комиссии (по литературному наследию репрессированных) это приобретёт первичный порядок в условности карточек и аннотаций. Это необходимо и для того порядка, о котором Ольга Александровна написала еще в 1910 году:*

*Верить, что кому-нибудь нужны  
 Наши слабые порывы, наши сны,  
 Слезы и мученья...*

*Если фигура того старого казаха на молитве перестанет быть нужной – перестанет быть нужным падшее человечество и самому себе, и Миропорядку.*

*Итак, биографическую справку, заметки, если есть, фотографию.*

*Не буду из суеверия ничего Вам обещать – буду ждать Вашего письма».*

А свидетели страшной эпохи редели, таяли на глазах. Вместе с Володей мы хоронили Лидию Корнеевну Чуковскую – по обе стороны гроба. Ездили вместе с ним в Суздаль – поклониться святым церквам и тюрьмам. Такая ведь у нас традиция на Руси: монастыри в тюрьмы и тюрьмы – в монастыри, не разорвёшь! И в Елабугу – к божественной Марине и открывать памятник расстрелянным...

Встречались после лета:

– Ну как ты?

Володя показывал руки-корни, в рабочих узлах:

– Да вот часовню поставил... В карельской деревне Пелус-озеро, на погосте, часовенку Рождества Богородицы, с крестом:

### НЕПОГРЕБЁННЫМ

потонувшим, сгоревшим, безвестно пропавшим  
 в окаянные лагерные и военные годы

всем

### КРОВ ТЕПЛО ПАМЯТЬ

сострадалицы нашей Пресвятой Богородицы Девы  
 АМИНЬ



Старый дом в Илешево, где В. Леонович уединялся для работы. Рисунок А. Калмыковой.

На донце от потира выбил слова самой душевной молитвы: «СПАСИ СОХРАНИ ВРАЗУМИ»...

Душа за родину у него болела постоянно, не отпускала. Брал её, родины, боль на себя, отвечал на её раны своими. Не мог привыкнуть к этой боли, очерстветь.

Помню, как он гордился Кологривом за то, что там в местном парке врезали в громадный валун медную пластину памяти репрессированных. И как через несколько лет страдал, гневался в печали, когда пластину эту выдрали, и валун зиял, изувеченный, четырьмя пустыми дырками. А папка с делами и именами репрессированных земляков и вовсе пропала бесследно.

В 1999 году вышла в свет многострадальная наша с Володей книга «За что?» в издательстве «Ключ». Это целая история! Тут рядом с нами была Алла Калмыкова – преданная милостливая и нежная подруга Володи, мать его сына и добрый ангел. Никто не знает так и не любит так всё им написанное, как она, и когда он читал стихи, вместе с его губами всегда шевелились её губы... Алла – сама поэт и редактор – взяла на себя самую трудоёмкую, невидимую работу над книгой «За что?» – редактирование. И сделала это так, как не сделал бы никто.

Несколько лет собирали деньги на издание – в фонде Солженицына, фонде Бёлля, у голландцев... Как ликовал Володя, когда привез из Харькова вступительное слово для книги Бориса Чичибабина (увы, как оказалось – последний его текст)! И вдохновенно написал своё предисловие – «Из тяжести недоброй», поверяя смысл и текст нашей книги библейскими мотивами.

Помню свой разговор с Анатолием Приставкиным:

– Как книга? – спрашиваю, когда она вышла.

– А предисловие!

– А книга?

– И книга, конечно. А предисловие! Хочу пригласить Леоновича поработать в нашей президентской комиссии по помилованию...

Этой книгой Володя очень гордился. Пытался продавать – в пользу Репкома, вполне безуспешно. Больше раздавал, дарил, сияя.

Была ещё одна большая работа вместе, когда испанское издательство «Галаксия Гутенберг» задумало серию книг «Трагедия культуры» о судьбах наших писателей-классиков двадцатого трагического века и предложило мне её вести. Вступительное слово на этот раз написал Булат Окуджава, Володя взял на себя том Ахматовой – составление и предисловие (тут тоже умным помощником стала Алла Калмыкова). Передавая мне рукопись, писал:

«Виталий! Кажется, всё на месте и упор – на лейтмотив всей серии: жизнь под сапогами. Прочти медленно, вычеркни то, что и испанец должен знать, добавь пару имен (в «философский пароход»). Документы – в конце, мемуары – в конце. С Богом!»

Книга, как и вся серия, вышла в Барселоне (увы, не на родине, где в это время гламурная публика тряслась над «Антиахматовой»).

В счастливый момент я познакомил Володю с Сашей Бурлуцким – своим старым другом ещё по Арктике. Кстати будет сказать здесь об этом подвижнике, спасателе природы.

Когда мы познакомились, он работал главным лесничим в заповеднике «Остров Врангеля». (Лесничий – там, где нет ни одного дерева! Но таково штатное расписание, министерству виднее.) Саша был грозой браконьеров и колючим критиком начальства, нашим спасителем в прямом и переносном смысле. Мы – экспедиция Института охраны природы и заповедного дела – тогда изучали на острове белых медведей. На карте острова есть «Ручей Бурлуцкого» – это в его честь. Потом Саша работал главным лесничим заповедника «Кивач» в Карелии, где уж леса хватало, а в конце концов сделался фермером – в костромских краях, в благословенном Давыдове, бывшем во времена оны имением дальней пушкинской родни. Там и обосновался Бурлуцкий с женой Тоней, сыном Юрой и внуками. А его постоянным гостем сделался, с моей лёгкой руки, Володя Леонович, поскольку этих двух людей на земле явно друг другу не хватало. Живал подолгу, писал и помогал по хозяйству – в основном в покосах да в плотничьем и печном ремеслах, до которых Володя (вот уж диковина для поэта!) дюже охоч.

Только его, живого поэта, и недоставало Бурлуцкому для задуманного им ещё раньше Пушкинского праздника в Давыдове! Праздник этот расцвёл, поскольку Володя стал неизменным и самым значительным его участником. Памятником дружбе с Бурлуцким стали посвящённые ему Володиные стихи...

Последнее письмо от Володи звало: «6-го у Бурлуцких увидимся»...

Да, судьбу не перемудришь, она замышляла совсем иное.

После ухода всё выглядит символичным, всегда переоцениваются и отношения, и человек. В жизни Володя иногда мешал мне видеть его. Так часто бывает.

Теперь тело Володи – там, в костромской глубинке – рядом с Ефимом Честняковым, в 15 метрах от его могилы.

Но в ушах стоит его голос, его песня, посвящённая Анатолию Жигулину, нашему общему другу, и всем политзэкам тех страшных времён, которые позади не за горами – а может, спаси Господи, и впереди.

Кабы дали три жизни да мне одному,  
я извёл бы одну на тюрьму Соловки,  
на тюрьму Соловки, на тюрьму Кольму,  
твоему разуменью, дитя, вопреки.

По глухим деревням Костромской стороны  
исходил бы другую, ХОЗЯИН И ГОСТЬ,  
на студёной заре ранней-ранней весны  
в сельниках мне так жарко, так чутко спалось!

Ну а третью отдал бы чёрно-белым горам,  
и друзья бы меня величали: Ладо...  
Сколько раз бы я жил, столько раз умирал,  
ну а как умирал, не видал бы никто.

*Поздравление из Завала*

Я бы так умирал, как заря ввечеру,  
уходил-пропадал, как больное зверьё...  
Только раз я живу, только раз я умру,  
а потом я воскресну во Имя Твоё.

Все три жизни свои Володя Леонович прожил сполна.

Прикладываю к этому поминанию своё стихотворение «Завал-за-Кряжем», которое он любил. И письма свои из деревни Илешево начинал словами: «Привет из Завала-за-Кряжем!», по имени моей архангельской деревни.

### **ЗАВАЛ-ЗА-КРЯЖЕМ**

Окна погашены. Люди ушли в города.  
Спи, деревенское детство моё, навсегда.

На улице, где играл я, выросла трын-трава.  
Едомы и кулиги, пропашие острова!

В деревне Завал-За-Кряжем – отсюда не разглядеть –  
Умер последний житель по прозвищу Васька-Смерть.

Тридцать медведей свалил он, десять деток имел.  
И отлучался из дому только для ратных дел.

Был на войне гражданской и на двух мировых,  
Да за колючкой колымской – но это промеж своих.

Все разлетелись птицы из своего гнезда.  
Снег над землей кружится. Неслышно идут года.

Васька перед женою, ослепший, сидит как пень:  
«Нюрка, скажи, ради Бога, ночь теперь али день?»

Всё надоело Нюрке, ей и самой невмочь:  
«Не всё ли одно, Василий, день теперь али ночь?»

В деревне Завал-За-Кряжем так же встает рассвет.  
Вспыхнули окна разом, только людей в них нет.

Киснут грибы в кадушке – некому закусить,  
Воют печные вьюшки – некому затопить.

Деревьями шепчет деревня над моей головой:  
– Как поживаешь, город, гордый сыночек мой?

## Владимир Сморчков

### **О себе:**

Более 30 лет занимался журналистикой: в костромской «молодежке», на радио, в журнале «Губернский дом», в «Северной правде». Отмечен званием «Заслуженный работник культуры РФ». Сейчас весь в краеведении. К сожалению, все чаще приходится обращаться к мемуарам об ушедших людях, с которыми сводили судьба и журналистская профессия.

## «Как рад, что успел – что несметно порвал рукавиц...»

*К Владимиру Николаевичу Леоновичу в моём представлении наиболее применимо пушкинское «самостоянье человека».*

*Первые довелось мне увидеть и услышать его в ноябре 1980-го, когда Игорь Дедков пригласил Леоновича выступить перед членами нашего литературного объединения «Молодые голоса». Тогда и поразила бесстрашная самостоятельность мысли и стихов, которые в те годы не оставляли никакой надежды на их публикацию. Это, кстати, весьма смутило Игоря Александровича, и в его дневниках можно прочесть об этой встрече такую фразу: «...надеюсь, что доносчиков в тот день среди слушателей не было».*

*Вторая наша встреча и уже личное знакомство состоялись в Москве на сороковом дне краеведа Дмитрия Фёдоровича Белорукова, 30 ноября 1991 года. Это было уже другое время, и стихи Леоновича я часто встречал на страницах толстых журналов, особенно «Знамени». Посетовал в разговоре, что многого из услышанного тогда, в 1980-м, я в этих подборках так и не нашёл. Владимир Николаевич на это усмехнулся: «Значит, время ещё не пришло. А вы, Володя, оказывается, внимательный мой читатель». Тогда мы и договорились о том, что надо как-нибудь встретиться и поговорить обстоятельно.*

*Но разговор состоялся лишь через несколько лет. Первые годы в парфеньевской деревне Леонович жил довольно уединённо, был занят обустройством на новом месте, в Костроме появлялся редко.*

*Сохранившаяся в моём звуковом архиве беседа, скорее – монолог, перемешанный неподражаемым чтением поэтом своих стихов (здесь привожу лишь одно стихотворение, не найденное мной ни в одном из сборников В. Леоновича), состоялась в 1996 году. На ее основе была подготовлена передача, познакомившая костромских радиослушателей с возвратившимся к родным пенатам земляком. Предлагаю читателям её фрагменты. В качестве заголовка выбрана строчка из звучащего рефреном стихотворения «Рука сочинителя».*

– Владимир Николаевич, так сложилась ваша жизнь, что она всё время между столицей и провинцией. Причём провинция никогда для вас не ограничивалась лишь областными центрами. Сейчас – деревня под Парфеньевом, а перед этим были деревни на Севере, а ещё раньше – вохомское село Петрецово... Хотелось бы сейчас, когда противостояние столицы и провинции особенно отчётливо, услышать от вас, в чём это отличие и противостояние. Уж вы-то судить об этом имеете право...

– Вы знаете, когда раскалывалась не только страна, но и отдельные образования внутри страны, раскалывался и Союз писателей, меня подмывало подойти к Черниченко и сказать: «Юрий Дмитриевич, прими меня в Крестьянскую партию. Хотя я ни в какой партии не состоял, а вот в эту я бы пошел»... Так как я слова «партия» боялся, как и слова «союз», – я не подошёл. Но если угодно будет на Страшном суде спросить меня: «Какой линии вы придерживались?» – я бы сказал: «Я старался придерживаться линии крестьянства».

Я родился в городе, в Костроме (хотя и на Пастуховской – улице с крестьянским именем). Тем не менее я старался именно своими руками попробовать, что такое крестьянский труд, и понять, что же у нас сумели разорить. Крестьянская жизнь разорена. Если сушат верховое болото, то река мелеет и свой исток теряет, исток у неё отодвигается куда-то к устью. Если нет земледельца, любящего землю, то скудеет культура в самом корне своём. Россия – страна, которая всегда питалась чистыми соками верховых болот, чистыми соками народной культуры. Это общая мысль. Но эту общую мысль я выходил ногами, выработал руками и седьмым потом, который застилает уже глаза.

Деревня пропадает, остаётся там несколько старух – нет мужиков, мужики в городе. Я – чужак, столичный, литератор, писатель. Я крышу крою, печку кладу, избу могу поставить. Мне нужно было это умение, повторяю, для того, чтобы понять, что такое крестьянский труд, его плоть и его дух. Человек создан как универсальная организация: ему приставлены руки, в руках протянуты жилы, приставлена голова. В нем всё, абсолютно всё должно работать. А не то что человек занял сидячее положение, выросла большая голова, но в той голове не те отделы. Должна быть гармония всего. И я, став инвалидом Советской армии, постарался восстановить свои силы. Сердечко уж не получилось восстановить, оно так и сипит, хрипит и перебивается. Но теми силёнками, которые остались, я всё-таки старался жить именно этой крестьянской жизнью.

Игорь Дедков, мой покойный замечательный друг, писал Провинцию с большой буквы. Он жил тридцать лет в провинции. Я больше тридцати лет жил и там и сям: и в Грузии, и в Казахстане, бывал и в Татарии, потому что требовала этого моя переводческая работа. А для души, для всего остального была деревня.

Я люблю это всё. Понимаете, мне интересно, как рубится изба или часовня, как всё вскапывается и удобряется, как всё произрастает, наконец. Это огромная нравственная наука, которую не дают университеты, а даёт только непосредственный труд, усталость от этого труда. Достоевский говорил: надо пострадать, а я говорю: надо потрудиться. В чём огромная беда нашего времени? Отвыкли от труда, перестали уважать труженика – стали уважать того, кто не трудится. Навыки остались привилегией одиночек. Они удивляют мастерством, но ведь печально, что это – одиночки, что на одиночках опять мы выезжаем: один с сошкой, семеро с ложкой.

Я знаю, что по лицу земли нашей раскиданы люди, которые стали понимать смысл физического труда. Когда в поте лица человек работает, пот начинает застилать ему зрение. Уходят мелкие вещи, они перестают тебя волновать, но остаются контуры и суть вещей крупных. Так что от усталого рабочего человека можно ожидать настоящего представления о том, что совершается. И в этом благо физической усталости.

Конечно, какой-то ещё фундамент умственный надо успеть заложить. Пока ты в школе, пока ты учишься. Мне вот посчастливилось жить в деревнях и слушать деревенский великорусский язык, не утративший многих признаков и многих

наследственных черт древнего русского языка. И я бываю счастлив, когда это слышу, потому что вспоминаю сразу уроки старославянского, чтение древнего русского языка. И у меня это сопрягается. И тогда я чувствую, что время не разорвано, и ощущаю эту культурную общность. И просто беден тот, кто не может это представить.

Массовая культура – это культура бездельников, которым надо себя чем-то занять – чем-то, заменяющим истинную жизнь. Истинное переживание от настоящего произведения они заменяют воздействием на какие-то печёночные области, поясные и ниже пояса. Как они себя обманывают, как они себя обкрадывают! Это люди, которые уже никогда не будут трудиться...

Да, конфликт между провинцией и столицей есть. И он начинается с отношения к труду. «Довольно, Ванюша! гулял ты немало, Пора за работу, родной!» Такое обращение к мальчику шестилетнему у Некрасова. И какое-то трудовое действие уже у этого мальчонки в ручонках. А потом его сажают на лошадь, и он держится. Асфальтовые дети ничего этого не имеют, их оберегают от труда. А то, что в школе им предлагается, – это псевдотруд. И они это очень быстро понимают и относятся спустя рукава.

– *Здесь уж поистине «всё это картонное было»<sup>1</sup>...*

– Ох, я бы к Некрасову опять вернулся... Очень многие не знают, от чего они свободны. Именно Некрасов в нашу эпоху как бы развивающегося как бы капитализма... Но у него лучше сказано, чем я пытаюсь сказать:

Подождите! Прогресс подвигается,  
И движенью не видно конца:  
Что сегодня постыдным считается,  
Удостоится завтра венца...

Всё это прямёхонько туда и идёт. Потому что стыд растерян, совесть – об этом нет и понятия... И это – свобода? Эта свобода – не та свобода, ради которой мы мучились всю жизнь. А ведь так оно было. Не этого мы хотели. Вот у Игоря Дедкова в дневниках об этом... Пожалуй, это Игоря и подкосило. Он ведь работал не ради этой дешёвой и бесстыдной свободы. Я думаю, что эти разноцветные дешёвки с нашим народом не сладят. Они, при всём своём напоре, всё-таки захлебнутся, потому что наш народ наделён огромной духовной силой. Её не видно и не слышно, но она в каждом таится. И лапки поднимать не надо...

Тут уже прямые отношения личности с тем, что творится. У меня совершенно чёткое и выстраданное убеждение: если я позволю себе кого-то на своём загривке везти, то меня уже нет. Это будет кто-то другой, у которого согнулась и уже никогда не распрямится выя. Прочту стихотворение, несколько заносчивое, но серьёзное всё-таки. Оно называется «Памятник». Традиционное – от Горация, через Державина и Пушкина.

Себе по праву и по нраву,  
как повелось от римлян, сам

<sup>1</sup> «На эту картину так солнце светило, / Ребенок был так уморительно мал, / Как будто всё это картонное было, / Как будто бы в детский театр я попал!» Из стихотворения Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» (*Примеч. ред.*)

воздвиг я памятник на славу –  
охлопал стог и очесал.

На памятнике разумею  
коровье слово обо мне:

«Он был поэт, не гнул он шею  
в рабовладельческой стране.  
Когда что делать, знал и делал,  
брал в руки вилы и топор,  
в страду отечества не бегал  
за недосугом за бугор».

Вот моё отталкивание от образа жизни «элитарных» слоев нашего цеха. Полное отталкивание. Я не признаю такой жизни – олимпийской, столичной, разъездной. Мне она противопоказана. Я в ней растворяюсь, меня в ней не будет.

– Сейчас куда – в столицу или в деревню ваш путь?

– Сейчас я еду в деревню. Мне надо побыть среди белых деревьев. Когда страда меня не занимает, занимает другая страда: надо отписаться, отделить то, что у меня внутри, сделать тем, что уже на бумаге.

А еду я в Белоруково, это пока условное название, или название впрок. Потому что Дмитрий Фёдорович Белоруков – замечательный краевед, и на землях, которыми когда-то владели Белоруковы, где были их картофельники, где стоял и работал винокуренный завод, сейчас – деревня с официальным названием Льнозавод. Но какой это льнозавод? Одни слезы. Был когда-то завод с варварской технологией, от которого люди задыхались. Но сейчас и от него остались рожки да ножки: крыши разобраны, всё растащено. С упадком русских льнов упали заводы, упала культура льна – эта великая культура русского народа.

Название-то безликое у деревни осталось, но каждый из жителей лицо своё имеет. Сейчас восемь дымов по утрам поднимаются – восемь человек там живут, девятый – я.

– У Белорукова жизнь так сложилась, что большую её часть он прожил в Москве, а душой остался здесь и много для родной земли сделал. Чувствую, что вас-то здесь привлекают те люди-подвижники, которые, несмотря на все трудности, пытаются что-то делать для своей земли, для её культуры, и не только местной, но вносят свой вклад и в культуру российскую...

– Совершенно верно. Я думаю, что для Дмитрия Фёдоровича его обращение к старым архивам, к истории своей малой родины было актом покаяния за то, что он был вынужден покинуть в отрочестве родные края. Покаяние – очень продуктивная сила в человеке, если уж она просыпается, она его подвигает. И вот она подвигла Белорукова на 25-летний труд. Он исследовал прошлое костромских деревень. Мне посчастливилось два месяца выправлять какие-то погрешности в языке его рукописи, и я рад, что так вышло, потому что те акты, которые бывший военный инженер находил в архивах и теперь прочтёт читатель, – это золото, золото подлинника: какие были установления, какие нравы, что случалось с нашими предками в XVI, XVII веке и позднее.

Без подвижников русская земля не стоит – это сказано давно, потом эту мысль повторил Солженицын в «Матрённом дворе»: без праведника не стоит ни город, ни село, и земля не устоит тоже. Я рад назвать Ивана Куделина из Николо-Поломы. Это защитник русского льна. Хотя битва проиграна, он не устает напоминать, пропагандировать. Он любит ленок, знает обширнейший словарь этого производства. В Аносове живёт Татьяна Иноземцева, своим трудом она построила дом, организовала питомник садовых культур. Ей, как Юрацию, эта многотрудная работа не мешает заниматься литературой, писать стихи и прозу, работать в районной газете. Её прекрасно знают в области. Вот в Матвееве Оля Колова трудно живёт, потому что у неё не всё в порядке со здоровьем. Но у неё много времени, которое даром не проходит: она много читает, много пишет, вот недавно в Костроме, слава Богу, вышла её книга стихов.

В Костроме тоже есть замечательные люди. Я, к сожалению, пока немногих знаю. Мне завидно, что у вас есть такой человек, как Александр Бугров. Я знаю литературную Москву и с уверенностью могу сказать, что в столице, увы, такого подвижника, собирателя и такого, в частности, знатока литературы и поэзии нет. Так что надо поклониться ему за энтузиазм и умные труды.

*– Владимир Николаевич, землякам интересно узнать, как складывалась ваша жизнь, как вам удаётся столько успевать сделать?*

– Меня не принимали даже в МГУ: ну что вы будете делать в университете, вы же инвалид, вы только будете в академических отпусках... Ага, подумал я, меня списывают и хоронят. Я могу пойти в военкомат и сказать: вот я был в армии, был в таком-то военном заведении, мне полагается пенсия... Нетушки. Белый свой военный билет я положил в долгий ящик и не внял благоразумным докторам. Стал учиться. Потом через два года перешёл на заочное, уехал в Сибирь и стал работать. Я не велел себе чувствовать себя инвалидом.

Я рад, что успел поработать и плотником, и печником, и учителем в школе – не буду перечислять всего. Но главное, мне посчастливилось понять, что любой труд освящён неким ореолом, о котором словами сказать невозможно. И жизни без производительного конкретного труда, результаты которого я могу пощупать руками, я больше просто не мыслю.

Что нам светит в нашем положении, которое многие считают безвыходным, трагическим, катастрофичным? Действительно, с одной стороны, так. Но вот попробуйте втянуться в какое-нибудь дело, может быть, рискованное. Когда это совершается с вами, вдруг обнаруживается в разных местах несколько ваших союзников, единомышленников. То, что противников много обнаруживается, это уже банально. Но то, что чудесным образом обнаруживаются союзники, даже ваши братья, если говорить возвышенно, – вот это счастье, подарок судьбы. И тот, кто действительно делал настоящее дело в жизни, это на себе прекрасно чувствовал.

*– Вы-то когда это особенно почувствовали?*

– Давно очень, когда работал в многотиражке одного завода. Мы там делали что хотели. А мы – это университетские ребята, закончившие МГУ. Там для поселка в 50 тысяч жителей работали покойный Сергей Дрофенко, Гарий Немченко, ныне известный прозаик, Геннадий Емельянов, ныне кемеровский

писатель, Анатолий Ябров, тоже известный сибирский писатель, Володя Глов, который потом в «Огоньке» работал, замечательный человек. Мы выпускали газету «Металлургстрой». Как раз тогда Хрущёв высказался об искусстве со своей партийной колокольни. Он погромил многих, у некоторых дрожание гортани до сих пор. Мы, посмеиваясь, комментировали его подвиги на идеологическом фронте: как он побеждает абстракционистов, как он учит нас прекрасному. Но это всё было втуне. Потом подошло время, когда чествовали Маяковского (ему должно было 70 лет исполниться). И я написал статью «Живого, а не мумию» и опубликовал в трёх «подвалах» нашей газетки. Через какое-то время редактор «Кузнецкого рабочего» сокрушил нас отповедью в своей газете: наша публикация оказалась диверсией, мы не признавали верховного суда над искусством. В статье о Маяковском я защищал гонимых тогда Евтушенко, Вознесенского, позволял себе какие-то завиральные идеи насчёт пророческой миссии поэта. Короче говоря, всё это кончилось разгромом газеты, разгромом редакции Идеологической комиссией ЦК. А знаете, что это тогда означало? Клеймо на всю жизнь. Мы страшно переживали этот момент. В то же время открылось столько людей, понимающих, что в действительности произошло, кто кого бьёт, кто наши, а кто не наши, – что для меня это оказалось праздником, а не поражением. И в мою книжку трудовую мой друг Ябров Толя вписал благодарность – вопреки ожиданиям начальства, что на мне будет поставлен крест.

Это было начало 60-х. Я хотел уехать в низовья Оби, в Самотлор и продолжать какое-то культурное дело в рабочей среде. Но перевёл стрелку Серёжа Дрофенко, и я оказался вместо Сибири в Грузии, куда увёз меня светлой памяти Александр Межиров.

Я стал переводить грузинские стихи, немного работать в журнале «Литературная Грузия». И занимался этим лет десять...

– А что было связано с Петрецовской школой?

– Сюда я попал уже после грузинских лет. Сначала съездил в какую-то школу около Судиславля. Увидел там разрушенный храм и понял, что мимо этих развалин мне будет тяжело ходить... Тогда мне предложили село Никола. Это самый северо-восточный угол Костромской области. Приехал в Николу. Там тоже был полуразрушенный храм, потому что успели в 30-е годы срубить колокольню и алтарный купол. Но он действовал как столовая, а в алтаре была мастерская. А ещё раньше здесь была школа. Ну что ж, можно было мириться и жить. Но всё равно смотреть на это...

Храм походит на остов  
опрокинутого корабля на мели,  
на угоре погоста...

На это чудище и был похож Никольский храм, когда-то совершенно прекрасный, потому что у меня осталась его фотография, и знаменитый ещё тем, что в словаре Даля есть словарная статья «звон», и любопытный человек может в ней прочитать, в каком году «сгорела со звоном» церковь Николы-Вознесенья на Вохме. А много ли мне надо? Раз сгорела церковь со звоном – значит, звонарь там звонил. Она горит – он звонит, он бьёт в набат, он там, наверное, и остался. Ну как же в таком месте не жить и не работать, когда освящено оно таким удиви-

тельным событием – судьбою этого безымянного звонаря? Кто-нибудь напишет о нём балладу – он этого достоин.

В Петрецове я выпустил два десятых класса моих любимых. Это были замечательные ребята. Из них я не знаю ни одного, который бы вёл себя недостойно в последующей взрослой жизни. Нина Большакова работает в музее Островского в Щелькове, Саша



Никольский храм. Рис. А. Калмыковой.

Поляков охраняет природу в Тихвинском заповеднике, Вова Герасимов в Коврове на заводе, тоже получил высшее образование. Коля Герасимов окончил МГУ. Он пренебрёг партийной карьерой, когда ещё партия не была развенчана, хватило у него души, чтобы понять, что это не его. Будучи партторгом всей «Комигеологии», он вернулся в поле, и поле его наградило: он нашёл марганец на Северном Урале. Сейчас это магнат марганцевый, человек, от которого многое зависит в российской металлургии. Коля и подарил мне мою собственную книгу, потому что наши беспомощные издательства подвесили три мои книги в Москве... Вот такие у меня ученики. Как написал Винокуров: «Художник, воспитай ученика, Чтоб было у кого потом учиться».

Не могу не сказать ещё о Коле Герасимове. Этот человек чудом оказался на свете, ибо в 1933 году его отца, тоже Николая Николаевича, оторвали от груди матери. Мать этапом послали на Печору, а грудного младенца оставили в деревне Ключи, его выкармливали другие кормилицы. Жива была мать или нет – никто не знал. Ей повезло, она вернулась. Но могло и не быть ни этого Коли, ни его брата Саши, который тоже окончил университет, сейчас морской геолог в Мурманске, ни брата Толи, который сейчас в Костроме, учит ребят физкультуре. Вот такой замечательной семьи могло не быть. Случилось чудо: мальчика выкормили в 33-м страшном году, когда тысячами люди умирали от голода. Я считаю, с помощью чудес – однако рукотворных – мы и выбьемся наконец...

– *Дальше была снова Грузия?*

– А Грузия меня и сейчас не оставляет. Я много переводил грузинских поэтов. А потом снова столица. Это 70-е годы, те годы, которые меня не кормили. Одно дело, если ты пишешь нечто мертвотное, заказанное и проходимое. Другое – если у тебя существует и совершается в строчках жизнь. А жизнь, вы знаете, она живая. И она всегда не ко двору тем, кто занят её причёсыванием, кастрацией и всяческими уродованиями. Я не годился для литературного существования. Поэтому я много занимался литературными консультациями, ответами на письма, внутренними рецензиями. Это всё не выходило ни в какой свет. Это была работа литературного раба. Я не сетую на эту работу: когда отвечаешь на письма многих людей – чувствуешь, кто чем живёт на твоей родине. А родина велика и разнообразна.

В это же время я стал выезжать на Север. Сначала в деревню Липовицы, недалеко от погоста Кижы, потом в деревню Пелус-озеро, недалеко от Пудожа. Это Заонежье, исконно русский край. В Пелус-озере я прижился и считал себя жите-

лем и крестьянином этой деревни – в то время когда все-то крестьяне или убралась на погост, или пришли в ветхость и доживали последние дни. Ну а молодого поколения, естественно, там уже не было. Мы знаем судьбу русской деревни, не мне вам её рассказывать. Но я чувствовал, что, пока живы мои старухи и старики, я должен там жить и делать то, что они уже не могли. Вот этим я и занимался с удовольствием, как крестьянин последнего призыва.

– А сейчас – парфеньевская деревня?

– Сейчас я живу широко. У меня две деревни. Одно поместье осталось в олонекских краях, я поставил там себе дом на берегу. И построил часовню Рождества Богородицы, потому что последние старухи заботились о прежней часовне, пришедшей в ветхость.

– Но деревни как таковой уже нет?

– Деревни не существует. Но есть некоторые обстоятельства: во-первых, близко проходит дорога на Плисецк, на космодром; во-вторых, наше Пелус-озеро – самое большое и самое чистое в округе. Земли там, обработанные, вскормленные, не полностью ещё заросли. И, конечно, жизнь там возобновится – но моей задачей было поставить вот эту печать, заверить эту надежду. Поэтому и стал рубить часовню на погосте. А чтобы не забывали, я написал там, что часовня поставлена в память Екатерины Игнатьевны и Елизаветы Ивановны Калининых. Погост посещают, могилы обихожены. В часовне висят рушники, иконы, стоит светец, кладут денежки на храм в Петрозаводске. Это место не дикое, освящённое. Можно прийти и помянуть своих, помолиться, опомниться. Опомниться – главное.

Это были три года счастливой, рискованной и очень трудной работы. Надо было валить сосны, которым 50–60 лет, некоторые застревали... Но Богородица помогла – на восьми валунах эта часовня так и стоит. И будет стоять.

Мы – народ романтический, легковёрный, не слишком политически воспитанный. Мы склонны доверять красивым фразам, великим обещаниям. И когда все наши надежды рушатся, мы не вспоминаем о нашей легковёрности. Я бы хотел, чтобы каждый понял, что созидать Россию, возрождать её нужно начиная с самого себя, со своей комнаты, со своего дома, со своего участка. То есть быть на земле человеком – это главное.

## Ольга Колова

**О себе:**

*Родилась в д. Григорово Парфеньевского р-на Костромской области. Работала в сельской библиотеке. Автор трёх поэтических сборников и книги историко-краеведческих очерков о селе Матвеево, где прошла большая часть моей жизни, о людях этого села. С 2012 г. живу в Костроме.*

## Учитель и друг

## «...ДЕСЯТОК ДУШ, ЧЕТЫРЕ КОРОВЁНКИ»

Владимир Николаевич впервые посетил Парфеньево в сентябре 1986 года, в дни восьмидесятилетнего юбилея нашего земляка, известного этнографа, поэта и прозаика С.Н. Маркова<sup>1</sup>. Приехал он тогда с группой московских и ленинградских писателей на открытие литературного музея Сергея Николаевича, устроенного в доме, где какое-то время проживала семья Марковых.

Красота парфеньевской природы, открытость и доброта людей, живущих неспешной, размеренной жизнью, расположили его к себе; появилось желание приобрести здесь дом, чтобы было где отдохнуть от столичных шума и суеты. Не сразу, но всё же дом был найден в двух километрах от Парфеньева, в посёлке Молодёжный. В просторечье это место называли «Льнозавод», по существовавшему в советские времена небольшому предприятию. Вокруг него и образовалась деревенька, которую к 80-м годам населяли лишь старики, бывшие когда-то работниками этого предприятия. Ко времени приезда Владимира Николаевича от льнозавода остались лишь развалины.

... Семь домов, десяток душ, четыре коровёнки.  
Лён-заводик развалился и давно затих.  
Прошлого остатки, полова – одонки.  
Кабы только не обидеть стариков моих.

Стариков-слабаков зайцы залягают...  
Всё бегом ты, бабка Ольга, – панешь на бегу!  
Добегут до пенсии – дальше не смогают,  
но велит им родина – через не могу<sup>2</sup>.

Бабка Ольга – Ольга Александровна Трушнева, старейшая жительница Льнозавода, соседка Леоновичей, помощница и поверенная во всех хозяйственных делах. У неё хранились и ключи от их дома, когда хозяева уезжали.

<sup>1</sup> Сергей Николаевич Марков (1906–1979) – русский советский поэт, прозаик, историк, географ, путешественник, архивист, этнограф. Действительный член Географического общества СССР (1946). Член Союза писателей СССР (1947).

<sup>2</sup> Стихотворение В. Леоновича «Белоруково».

В. Леонович и «бабка Ольга» – О.А. Трушнёва.



Старикам Леонович помогал как мог и чем мог. В его умных и умелых руках спорилась любая крестьянская работа. Хорошо владея топором, мастерком, косой, он поправлял старикам заборы, крыши, клал печи. Особенно любил косить и делал это вдохновенно. Из Москвы отправлял посылки с лекарствами и продуктами, ухитряясь делать это даже тогда, когда такие посылки из столицы были запрещены.

Заходя ко мне в холодную и сырую матвеевскую квартирку, не раз предлагал: «Ольга, давай я тебе печку сложу!» Но я не решалась на это, надеясь поменять жильё на более светлое и просторное, представляя, как трудно мне будет оставить в нём печку, сложенную руками самого Леоновича. Позднее мне удалось купить квартиру, где помимо центрального отопления имелась ещё и печь. Владимир Николаевич, приезжая, любил растапли-

вать её лучиной, которую перед тем нарезал топориком, превращая растопку печи в ритуальное действие. Потом подолгу сидел у открытой топки, глядя на играющие в ней языки пламени, похваливая тягу.

## ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Ну а первая моя встреча с Владимиром Николаевичем произошла солнечным тёплым днём, 20 июня 1996 года. На этот день планировалось очередное собрание нашего районного литературного объединения «Надежда» с выездом в гости к поэтессе Татьяне Иноземцевой. Сбор был объявлен у библиотеки. Выйдя из машины, я сразу заметила среди собравшихся на крыльце наших литераторов незнакомца. Он стоял, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. Стоял в какой-то сосредоточенной, глубокой задумчивости, никем и никому не представленный, в то время когда все окружающие оживлённо приветствовали друг друга, делились новостями. И эта его отстранённость невольно интриговала; слышался шепоток: «Кто это?» Но в ответ было лишь пожатие плечами. В автобус мы сели в полном неведении, кто же всё-таки с нами едет.

В деревне Аносово дом нашей ведущей поэтессы стоял далеко в стороне от дороги, и я с огорчением поняла, что путь мне с моей палочкой предстоит не из лёгких. Ближайшая спутница подхватила меня под руку, однако вскоре отвлеклась, оставив одну. Преодолевая самостоятельно одно из препятствий, я пошатнулась, но меня успели поддержать чьи-то сильные руки. Спасителем оказался наш незнакомец. После этого он уже не отпускал меня ни на секунду и полностью взял на себя обязанности сопровождающего по усадьбе Татьяны Иноземцевой, которая сразу же предложила нам прогулку по своему удивительному саду. Будучи известным агрономом-садоводом, она творит в своих угодьях чудеса, прививая грушу к яблоне, облепиху к рябине, выращивает в северном климате абрикосы и прочие экзотические для нас фрукты-ягоды.

Мой спутник сразу заметил, что мне сложно успевать за всеми по узким бороздам, и предложил просто прогуляться по более ровной части усадьбы. Увидев стоявшую за изгородью лошадь, он был приятно удивлён и долго любовался ею, жалея, что у нас не оказалось с собою сахара. А я досадовала на себя за то, что, зная о многолетнем пристрастии хозяйки к лошадям, не догадалась прихватить с собой из дома хоть кусочек...

И только уже собрав нас за накрытым столом в доме, хозяйка объявила: «У нас сегодня в гостях московский поэт Владимир Леонович».

Владимир Николаевич был немногословен. Коротко рассказал о московском литературном объединении «Магистраль», в котором состоял и активно сотрудничал десятки лет, об известных поэтах, входивших в это объединение, и о его руководителе Григории Левине. Из своего прочёл лишь короткое четверостишие. Мы же, смутившись перед таким знатным гостем, не посмели попросить его почитать ещё и сами присмирели. Помнится, на предложение хозяйки прочесть что-нибудь из новых стихов отважилась откликнуться только я. По реакции гостя было видно, что одно из двух прочитанных мной стихотворений – «В деревнях гуляют сквозняки...» – пришлось ему по душе. Позднее, когда зашёл разговор о нравственности, поэт сказал, что вся нравственность в этом моём стихотворении. Оно особо привлекло его внимание, о чём он признавался мне и через полгода. Но тогда он не выпускал меня из поля зрения, всегда стремясь быть рядом, чтоб оказать какую-либо помощь. А возвратившись в Парфеньево, вместе с Валерием Александровичем Андреевым (позднее ставшим нашим общим другом) проводил меня до остановки и посадил на автобус в моё Матвеево, всегда переполненный так, что и здоровому человеку пробиться в него было непросто.

## ГОСТИ НА ВЕЛОСИПЕДАХ

Через месяц Леонович через Валерия Александровича передал мне поэтический сборник своего друга Алексея Кондратьева. А в конце августа Леонович и Андреев приехали в село Матвеево на велосипедах: Валерий Александрович загорелся желанием показать новому другу любимые места, связанные с детством, а попутно и меня навестить. Деревня Григорово, куда на лето привозили к бабушке маленького Валеру, расположена в полукилометре от села. В этой деревеньке родилась и я, так что помимо общих интересов нас ещё объединяла любовь к этому милому и очень живописному месту.

Дорога на Григорово проходила мимо моего дома, и они решили сначала ко мне заглянуть, что для меня было совершенно неожиданно. Я как раз делала что-то у крыльца, когда издали послышался знакомый голос Валерия Александровича: «Ура! Ура! Она дома». Я взглянула на дорогу и увидела двух приближающихся велосипедистов. Ну, первого я уже узнала по голосу. А кто же второй?.. И, конечно, была очень удивлена, когда в приближавшемся спутнике Валерия Александровича узнала Леоновича.

– Оля, вы любите васильки?

– Да. Это мои любимые цветы, – искренне призналась я.

– Я так и знал, потому что они и мои любимые...

Я расспросила Владимира Николаевича об Алексее Кондратьеве – авторе присланной им мне недавно книги стихов, поразивших свежестью любовной лирики и лёгким остроумием.

И он рассказал мне о своём обездвиженном друге Алёше Кондратьеве, несмотря на недуг поддерживавшем всех своим неиссякаемым оптимизмом и волей к жизни; и о юной девушке Ане – тоже прикованной к постели, о которой писал, работая в редакции многотиражной газеты в Западной Сибири. Аня как раз и познакомила их: дала Леоновичу адрес Кондратьева. Стихотворение «Анюта», прочитанное им тут же, поразило меня глубиной сострадания, сопереживания и пронзительной болью от мучительного чувства беспомощности в этой чужой беде.

Когда он попросил показать что-то из моих стихов, меня удивила его манера слушать. Слушал он закрыв глаза и с таким отрешённым выражением лица, что казалось – ему это неинтересно и он полностью ушёл в себя. Меня и потом долго ещё смущала эта его привычка. Но когда чтение заканчивалось и он живо выражал своё мнение, было ясно, что он весь внимание и слух и ни одна мелочь не ускользнула от него в его глубокой сосредоточенности. Так же он прикрывал глаза, когда вдохновенно читал стихи, свои и чужие, и когда пел.

Пришедшая с огорода мама моя тоже была радостно удивлена приезду такого гостя и принялась хлопотать об угощении, а Андреев предложил Владимиру Николаевичу пока проехать до Григорова.

Вернувшись, оба были очень довольны прогулкой. Валерий Александрович рассказывал, что Леонович, потрясённый ширью уходящих за горизонт и обозреваемых на десятки километров лесных просторов, замер на месте и долго стоял в молчании, всматриваясь в эти необъятные дали.

Через полгода, когда я подарила Владимиру Николаевичу свой первый, только что изданный сборник стихов «Пугливая птица», он в письме-рецензии написал мне из Москвы, что понимает, откуда в моём творчестве возник образ птицы, потому как там, на нашей григоровской возвышенности, «царит идея планеризма».

А тогда, сидя уже за накрытым столом, он много и вдохновенно читал нам свои стихи. Читал в основном из захваченной с собой книги «Явь», делая для меня разные пометки и дополнения, а над некоторыми стихами, которые счёл близкими мне, прямо писал «Оле» или «для Оли». И, вручая мне книгу, надписал: «Оля, я рад Вам подарить всё, что будет Вашим в этой книжице. 22 авг. 1996 г.»

Выведав мои интересы и литературные пристрастия, Владимир Николаевич предложил привезти интересующие меня издания, которые я не могла найти ни в сельской, ни в районной библиотеках. Занеся в свою записную книжку целый список, сказал: «Ну вот, придётся ещё раз приезжать».

## МОЯ ШКОЛА – ВЫ

Приезжать пришлось ещё и ещё... Иначе, видимо, и не могло быть с его обострённым чувством долга. С его обнажённым сердцем, чутким и отзывчивым на чужое несчастье, чужую беду. А беда была. И называлась она – болезнь: тяжёлая форма ДЦП. А несчастье – одиночество. Одиночество ещё не вполне сформировавшейся личности, думающей, ищущей, пытающейся совершенствоваться, но в силу своего недуга обречённой на деревенский затвор. Единственной возможностью общения с творческими людьми были мои выезды в райцентр на заседания районного литературного объединения. Побывав на них, Леонович понял, что это далеко не всё, что мне нужно для роста и развития, – хотя и это не помешает, – но он может дать намного больше.

Приезжал он в то время в своё парфеньевское «имение», как иногда в шутку называл дом на Льнозаводе, примерно раз в два месяца. И в каждый свой приезд выкраивал мне денёк. А когда подолгу оставался в деревне, то навещал чаще. Я быстро и радостно осознала, что у меня появился наставник, Учитель, да ещё такой, о каком не могла и мечтать.

И каждый его приезд был для меня праздником, каждое письмо, бандероль с журналом или книгой – событием.

Его наставничество осуществлялось так естественно, ненавязчиво! Мы просто беседовали – дома, на прогулках, в гостях у друзей. Беседовали о литературе, о писателях – многих из них он знал лично; о поэзии, которую он старался открыть предо мной как можно шире, говоря: «Ты должна знать рельеф». Обладая великолепной памятью, он читал мне стихи В. Ходасевича, Б. Слуцкого, А. Межирова, Д. Кедрина... А однажды поразил чтением Гёте в оригинале. Раскрыв оказавшийся у меня на столе томик лирики немецкого классика наугад – естественно, там были переводы, – он совершенно свободно воспроизвёл первоисточник.

Рассказывал о встречах с Лидией Корнеевной и Еленой Чуковскими, с Н.Я. Мандельштам, с Анастасией Цветаевой, которую называл своей учительницей... Много говорил о любимой им Грузии, о Карелии, где поставил часовню и поклонный крест. Да о чём бы ни зашла речь, будь то история, философия, искусство и просто жизнь в любых её проявлениях, – Леонович всегда был интереснейшим собеседником. Причём он сам так живо всем интересовался и настолько был энергичен и юн душой, что в сочетании с его жизненным опытом, многосторонней образованностью, пронизательным умом и глубоко поэтической натурой общение с ним было истинным наслаждением. Он буквально очаровывал всех светом своей открытой благородной души.

Ко мне Владимир Николаевич обращался в манере девятнадцатого века – «Олинька», поясняя: «Так называли в семье Боголюбских младшую дочь – мою маму Ольгу Алексеевну, которая с семи лет пела на клиросе церкви Воскресения на Дебре».

К моим стихам относился очень бережно. Тактично, осторожно указывал на недостатки, погрешности, давал советы. А когда было за что похвалить, то делал это так, что похвала окрыляла, вызывала прилив творческой энергии. Ранние мои стихи часто «грешили» книжностью, красотой, надуманной философичностью. Живого, теплого дыхания жизни в них было мало. Но он сумел заметить, укрепить эту малость. Просто заводил разговор о народной речи, о местных диалектах, вовлекая в беседу мою маму – живого носителя богатства народной речи и культуры. Возникала иногда такая игра: он называл нам какое-нибудь вохомское<sup>3</sup> или карельское народное словечко, а мы должны были отгадать его значение; в свою очередь, мы с мамой загадывали ему словечко, употребляемое только в нашей округе. Всё это происходило забавно и всех веселило. Потом он читал мне свои «Записки»: «Писёмушко», «Агриппина»... После его «Писёмушка» в моем подсознании, видимо, что-то щёлкнуло: ага, значит, ещё и вот так можно писать! И буквально на другой день у меня появилось стихотворение «За чаем». Приехав в следующий раз и прочитав его, В. Н. был очень доволен и в волнении восклицал: «Ольга! Как я рад! Как рад!»

Позже, когда вышел мой второй авторский сборник под его редакцией, он выразил своё удивление: «Ольга, как ты можешь так писать?! У тебя же не

<sup>3</sup> Употребляемое в Вохомском районе Костромской области, где В. Леонович учительствовал в 70-х годах.

было школы! У меня была. А у тебя не было». «Ну как же не было, Владимир Николаевич, – в свою очередь удивилась я, – а вы?..» Он удивлённо поднял брови, хмыкнул, но возражать не стал.

## ЗАПИСИ

Те, кто слышал стихи Леоновича в авторском исполнении, кто бывал хоть раз на его поэтических вечерах, согласятся со мной, что это было ДЕЙСТВО, оставляющее неизгладимое, порой даже ошеломляющее впечатление. Не случайно он и называл свои выступления «концертами». Это можно было назвать «театром одного актёра» – настолько всё было зрелищно и артистично.

Мне посчастливилось быть слушательницей-зрительницей таких «концертов» много-много раз. Причём часто приходилось бывать единственной слушательницей, так как ДЕЙСТВО разворачивалось для меня одной. Терзаемая порывами восторга, я спрашивала себя: «Почему, за что ЭТО мне одной? Оправдаю ли я это? Отработаю ли?»

По счастью, у меня оказался под рукой магнитофон. Возможность записывать предполагала возможность воспроизводить, вновь и вновь наслаждаться звучанием понравившихся стихов, глубже осмысливать их и делиться ими с друзьями и знакомыми, с теми, кто мог это вместить и восхититься ЯВЛЕНИЕМ.

Да, в моём понимании этот поэт и человек, а вернее – Поэтище и Человечище, был и остаётся уникальным явлением, сходным с явлениями природы. Особенным явлением, вмещающим в себя сильнейший потенциал энергий физической, душевной и духовной природы, выраженных так ярко и деятельно.

К первой записи на магнитофон подтолкнул случай. Это было в праздник Благовещения, 7 апреля 1997 года. Недели за две до этого по областному радио прозвучал фрагмент выступления Леоновича в литературной студии Олега Губанова. Тогда на заявление, что модернизм возобладает в русском искусстве, Леонович ответил, что это не так и что некоторое равновесие, по крайней мере, нужно соблюсти. И прочитал стихотворение «У Нестерова»: «Воображением не богат, / на вернисаже / я погружался в «Чёрный квадрат». / Вылез весь в саже...» Стихотворение поразило меня своей глубиной и близким мне чувством пронзительной боли и любви к родине. Поэтому я с нетерпением ждала автора, чтобы услышать стихотворение ещё раз, предварительно вставив в магнитофон чистую кассету.

Едва гости, раздевшись, прошли в комнату, я изложила Владимиру Николаевичу свою просьбу. И он охотно прочитал стихотворение, хотя к магнитофону отнёсся с недоверием. Он и потом ещё долго хмурился, глядя на мои приготовления к записи, но всё же привык и, приезжая с новыми рукописями, спрашивал: «Ну, Олинька, где твоя техника? Я с отчётным концертом к тебе приехал».

Почти каждый его приезд ко мне был отмечен какой-либо записью на кассете. У меня набралось шесть кассет с записями его авторского чтения.

1997 год был у Владимира Николаевича особенно щедрым на стихи. В октябре он привёз с собой и прочёл мне много нового. Читал долго, вдохновенно и так эмоционально, что я боялась за него, казалось – он на грани нервного срыва. Одним из первых было прочитано стихотворение о Лине По (Полине Горенштейн, 1899–1948 гг.) – талантливой балерине, вследствие тяжёлой болезни

потерявшей зрение, но не отчаявшейся, а нашедшей в себе силы стать скульптором с мировым именем.

Этого стихотворения я не видела опубликованным ни в печати, ни в Интернете. Возможно, автор не закончил работу над ним, предполагая сделать совершенное. Как бы то ни было – стихотворение, на мой взгляд, замечательное. Жаль, если оно будет утрачено. Поэтому я считаю уместным привести его здесь целиком. И прошу прощения за возможные неточности в пунктуации – расшифровывалось оно с аудиозаписи.

## СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ

*Памяти Бориса Костюковского,  
помогавшего Лине По и многим-многим другим*

С семи, с одиннадцати лет  
уже ни выбора, ни торга:  
танцкласс – и всё. Прыжок, полёт...  
– А за руки тебе – «пятёрка».  
Что значит танцевать?

– Лепить!

И шёпот восхищённый: «Руки!..»  
И пальцы выплетают нить.  
Исчезнуть в кружеве и в круге  
исчезнуть.

Потому слепят

все контуры, что пальцы слепят.  
Исчезнуть с головы до пят.  
Ведь если умирает лебедь,  
смотреть не надо!

– Из-за рук

тебя не видно, баловница...  
Да. Остаётся только круг.  
Что значит танцевать?

– Молиться.

Сценическая полутьма  
вся сплошь изранена в итоге  
зигзагами светописьма,  
как Валтасаровы чертоги.  
– Ну, Поленька, ну так нельзя.  
Ну что же ты нарисовала?  
Антракт.

И медленно скользя

среди воздушного развала,  
взглянуть боится...

Полутьма

как полынья там ледяная.  
Плывет луна. Сойти с ума...  
– Да что с тобой? Ты не больна?  
– Я?



Кроме стихов я записывала и песни. Владимир Николаевич обладал красивым, сильным и, даже бы сказала, профессионально поставленным голосом, что подтверждали и мои друзья, связанные с театральным искусством. Он любил, хорошо знал и прекрасно исполнял русские, украинские народные песни, романсы; не раз я слышала, как он подпевал ансамблю грузинской народной песни. У него была, видимо, врождённая способность к имитации. Он запросто и совершенно естественно мог подстроиться под любую речь или пение, мог прекрасно пародировать. Исполняя русские народные песни, он часто подражал Шаляпину, что также получалось у него совершенно естественно и красиво. Несколько раз пел он мне фрагменты арий из итальянских опер. И раз так увлёкся, что не обратил внимания, как я нажала на «запись». Я слушала, затаив дыхание от восторга и счастья, что я это поймала и сохранию, но... Техника, увы, меня подвела. Когда на следующий день я решила проверить запись, её не оказалось. Что в тот вечер случилось с техникой, я так и не поняла. Повторить же «концерт» он наотрез отказался, «утешив»: «Я тебе лучше пластинку привезу». На мой вопрос, откуда в его репертуаре итальянцы, он ответил: «Просто мама пела это, а я с детства запоминал».

Память у него была удивительная! Он мог подхватить любую русскую или украинскую песню или романс и довести до конца, когда и сами запевалы умолкали, даже не ведая, что в песне есть ещё какие-то слова.

### «СВЕТЁЛКА»

А ещё мной велись записи «Светёлки». Эта двадцатипятиминутная передача звучала в эфире областного радио два года: с мая 2002-го по апрель 2004-го, два раза в месяц. Редактором её была Рузанна Севикян, а бессменным ведущим и хозяином «Светёлки» – Владимир Николаевич.

Радостно вспоминается, как каждую вторую и четвертую среду месяца из радиоприёмников звучала неспешная, вдумчивая речь свободно мыслящего и широко эрудированного человека, приглашающего к себе «на огонёк» интересных людей Костромы. (Да и не только Костромы: одним из первых его собеседников был телеведущий Александр Гордон.)

На беседы с Леоновичем в студию приходили работники музеев, преподаватели костромских вузов, священники, писатели. Нередко Владимир Николаевич посвящал всю передачу какой-то одной теме, одному человеку, о котором вёл рассказ сам, в одиночку, знакомя слушателей с его деятельностью, жизнью и творчеством. Так им были подготовлены передачи о Пушкине, Мандельштаме, Твардовском, Межирове. Отдельные выпуски посвящались И. Дедкову, В. Розанову. Неоднократно велась речь о поэтах Грузии, звучали переводы с грузинского стихов Галактиона Табидзе, Отара Чиладзе и других.

Являясь много лет членом Комиссии по наследию репрессированных писателей и будучи лично знаком со многими людьми, прошедшими тюрьмы и лагеря, он носил в себе боль чудовищной трагедии сталинизма, а потому не мог обойти в своих передачах тему репрессий, ставшую лейтмотивом многих «Светёлок».

Обидно было то, что передача выходила в эфир в обеденное время, когда люди не расположены к умной, требующей внимания и душевного сопереживания беседе. И автор программы ощущал отсутствие аудитории – не было резонанса. Всего лишь раз он с большой радостью зачитал мне письмо-отклик на передачу о репрессиях. Оно пришло от женщины из Макарьевского, кажется, района, родственник

которой пострадал от репрессий. Письмо было доброе, благодарное, и Леонович тогда был очень ободрён.

Зная, что я всегда сижу у радиоприёмника во время его передачи, он в эфире иногда обращался прямо ко мне, если обсуждаемая тема была мне близка. А приезжая, иногда слушал записанные передачи, замечая свои удачи или промахи. Досадовал: «Только ты и слушаешь “Светёлку”!» Когда передачи прекратились со всем и я спросила его о причине, он ответил: «Устал говорить в пустоту». А мне так было совестно перед ним за глухоту и безгласность, безъязыкость людей, что я сидела молча, потупив глаза.

## КАРТОШКА

Несмотря на свой солидный возраст и большое с армейских лет сердце, а вернее – вопреки всему этому, Владимир Николаевич был всегда энергичен, подвижен, лёгок на подъём. Он делился со мной опытом борьбы с болезнями, опытом душевного и физического выживания. Стараясь поддерживать себя в хорошей форме, он много ходил пешком, а в условиях города пренебрегал лифтом и транспортом.

Так и ко мне, бывало, пешком приходил и уходил так же. Не любил зависеть от автобуса, ходившего в нашу сторону всего два раза в неделю. Попутки подхватывали не всегда. Да он и «голосовать» не любил, считая, что порядочный водитель сам остановится при виде идущего с рюкзаком человека и предложит подвезти, а с непорядочными связываться нечего. А дорога, ни много ни мало, километров 25. Летом чаще всего приезжал на велосипеде. Причём велосипед был настолько стар и изношен, что в дороге то цепь срывалась, то шины спускали, то ещё что-нибудь приключалось. Бывало, предупреждает меня по телефону о том, что собирается ко мне. Я, беспокоясь, советовала подождать очередного рейса автобуса. Но он шутил: «А ты держи пальчики крестиком» – и приезжал на этой своей технике. Потом производил у крыльца ремонт...

А в рюкзаке неизменно были книги. Эта передвижная библиотека действовала постоянно. Одни книги приносил, другие, прочитанные мной, уносил и увозил обратно. Что-то оставлял, говоря: «Это тебе – навечно». Так «навечно» оставил мне поэтическую антологию Е. Евтушенко «Строфы века». Ну да и мои книги иногда «навечно» перекочёвывали к нему.

Навсегда запечатлелся в памяти такой эпизод.

В середине февраля 1997 года у нас с мамой украли картошку. Она хранилась в маленькой дощатой сарайке, в подвале двадцатиквартирного дома. Замок не тронули, а просто выломали доску со стороны сусека и выгребли почти всё, оставив с полведра мелочи. Предыдущий год был неурожайным на картошку, и мы всю зиму сэкономили её, берегли. К февралю осталось у нас шесть или восемь вёдер. И те пропали. А купить негде – у всех её мало. Узнав о нашем положении, близкие знакомые принесли кто кулёчек, кто сеточку картошки. Валерий Александрович привез ведро из Парфеньева, о чём, видимо, доложил Леоновичу.

И вот как сейчас вижу: появляется в дверях Владимир Николаевич с огромным рюкзаком, со вздохом облегчения ставит его на пол. Как он его тащил – уму непостижимо. Благо, всё же приехал на автобусе. Но от его деревни до автостанции километра три пришлось нести! На наше с мамой вопросительное молчание докладывает: «Картошка».

Два ведра крупной, отборной картошки без единого намёка на ростки. И это в конце мая! Она имела вкус и вид свежей, недавно выкопанной. На вопрос, где он

смог раздобыть такую картошку, ответил, что хранил её в земле, в яме, накрытой еловым лапником.

А сверху картошки была ещё солидная стопка книг. Без книг он ко мне не приезжал никогда.

## МЕДОВЫЙ СПАС В ГРИГОРОВЕ

Замечательно, что в этом человеке гармонично сочеталась любовь к интеллектуальному труду с любовью к труду физическому. И одно помогало другому: литературное его творчество наполнялось свежим дыханием жизни, более глубоким пониманием её, а труд становился более осмысленным и вдохновенным.

Мне много раз посчастливилось видеть его за работой: косьбой, клепанием кос, ремонтом печей и прочими хозяйственными делами. И надо сказать, что это было тоже своего рода ДЕЙСТВО: красивые, ловкие движения уверенного в своём деле человека. Работа в его руках не то чтобы кипела, но пела, как и сам он часто напевал, занимаясь чем-либо. Делал он всё добротнo, основательно, на совесть, как говорится.

В квартирах городского типа он не находил приложения своим рукам. Выручал старый большой деревенский дом Сафроновых – моих друзей в Григорове. Хозяева дома – петербуржцы: мать Нина Михайловна – заслуженная учительница на пенсии, а потому много времени проводившая в деревне, и дочь Людмила – актриса, режиссер, театральнoй педагог. Приезжали и другие их родственники и друзья, но настоящих мужских рук и мужского внимания дому не хватало. Поэтому здесь Владимиру Николаевичу было где приложить свои умение и смекалку. И он с радостью это делал.

Ещё в одно из первых своих посещений Григорова поэт загорелся желанием купить в деревне дом, настолько его поразила красота природного ландшафта, окружающего деревню, которая, расположившись на возвышенности, как бы парила над всеми лесными далями и просторами лугов. И сразу выбрал дом, впечатливший его своими большими размерами. Но владельцы дома назначили непомерно высокую цену: сумма вдвое превышала ту, которой располагал Леонович, и дом был обречён на дальнейшее разрушение. Зато в соседнем, сафроновском доме его принимали как родного. И он чувствовал себя там свободно, отдыхая душой.

Радушно принимали хозяева дома и друзей Владимира Николаевича – супружескую чету москвичей Проценко. Евгений Дмитриевич и Эмма Владимировна по инициативе Леоновича тоже купили дом на Льнозаводе и проводили там большую часть лета. А особенно желанными и ожидаемыми гостями Леонович и Проценко были в Григорове 14-го августа, в престольный праздник деревни – Медовый Спас, когда по многолетней традиции в доме Сафроновых собиралось множество друзей и родственников хозяев.

Как-то в конце лета у Сафроновых гостил парфеньевский паренёк Ваня. Он ни на шаг не отходил от Владимира Николаевича, стараясь быть ему помощником во всех делах. А тот показывал мальчику, как обращаться с косой на лугу, с мастерком на крыше баньки, где они перекладывали трубу. Обследовав все брошенные полуразрушенные дома в деревне, они притащили к крыльцу кучу старинных вещей (назначение некоторых из них было нам уже непонятно). Однако Леонович питал почтение к старым вещам. «Чем старше вещь, тем она духовнее», – любил он повторять слова Павла Флоренского. Хозяйка дома, увидав гору «рухляди» у сво-

его крыльца, возмутилась, всплеснув руками: «Куда и зачем это всё притащили?» Положение спасла Людмила, сказав, что давно мечтает устроить в одной из холодных комнат дома музей старинных вещей. Таким образом и раритеты были спасены, и «мальчишки» наши не обижены. А Людмила позднее осуществила свою мечту о домашнем музее.

## КОСТРОМСКОЙ «ГРУЗИН»

Я всегда поражалась, как легко Владимир Николаевич находил общий язык с любым человеком, независимо от его возраста, образования, положения в обществе. Он всегда был приветлив и душевно открыт в общении, проявляя искренний интерес к людям, к их заботам, чем быстро располагал к себе. Как-то ещё в начале нашего знакомства он признался мне: «Я разный, всякий: с плотником я плотник, с рыбаком – рыбак, со спортсменом – спортсмен, с инвалидом – инвалид, с русским – русский, с американцем – американец...» Рассказал при этом о своей встрече с С.Н. Марковым в Москве. По ходу их беседы Марков спросил, откуда Леонович родом. Владимир Николаевич ответил, что он из Костромы, к чему писатель отнесся с недоверием: «А по произношению-то не похоже». На что Леонович «заокал»: «Да, Сергей Николаевич, я *мо-огу* и по *ко-о-остро-о-омски*...»

Мне однажды довелось быть свидетельницей того, как Леонович был грузином. И грузины приняли его за своего. Да и не одна я была свидетельницей.

Дело было так. Моя соседка Марина – девица весьма легкомысленная – где-то подружилась с компанией грузин. А чтобы они могли с ней связаться, дала им номер моего телефона. И на какое-то время я превратилась в «девочку на побегушках». Это продолжалась неделю, может быть, две... Потом Марина удалась в неизвестном для меня и для них направлении, и телефон мой как с цепи сорвался. Грузины звонили по многу раз в день с одной и той же просьбой: «*Па-а-а-авит Ма-а-арин!*...»

Мои терпеливые объяснения, что Марины нет и вряд ли в ближайшие дни она появится, и просьбы сюда не звонить их не останавливали. Отключить телефон у меня не было возможности, и он трезвонил целыми днями. Поэтому, когда Людмила позвала меня на денёк-другой к себе в Григорово, я с радостью покинула свою беспокойную квартиру. А под вечер приехал Леонович. Не застав меня дома, он проехал к Сафроновым.

Когда, погостив в Григорове, мы с Владимиром Николаевичем пошли в Матвеево, Людмила с мальчиком Ваней решили прогуляться с нами. Как только открыли дверь моей квартиры, раздался звонок телефона. Люда сразу догадалась, кто звонит, и умоляюще возгласила: «Владимир Николаевич, спасайте Олю!»

Леонович взял трубку и довольно долго говорил по-грузински. Говорил так приветливо, душевно и даже вдохновенно, как будто песню пел. Его о чём-то спрашивали, он отвечал. Мы стояли с Людмилой посреди комнаты, затаив дыхание от восторга. Иван стоял рядом, удивлённо переводя взгляд с нас на говорящего и обратно. А он, наговорившись всласть, не кладя трубки обратился ко мне: «Они просят, чтоб ты сходила в последний раз и посмотрела, нет ли дома Марины. И больше они звонить не будут». Я была уверена, что соседки нет, но сходила, лишний раз убедилась в её отсутствии. Леонович доложил об этом грузинам и душевно с ними попрощался.

Дня на два в моей квартире водворилась тишина. Владимир Николаевич на другой день после разговора уехал. Через день снова пошли звонки. Но уже реже:

раза два-три в день. Я брала трубку, в ней было молчание. Мне стало понятно, что они ждут, когда подойдёт «грузин». И, сняв трубку после очередного звонка, я им попыталась объяснить, что «грузина» здесь больше нет и в ближайшее время он не появится. Было потом ещё несколько «молчаливых» звонков, после которых они, видимо, убедились, что я говорю правду, и перестали звонить.

## ПОМНИМ И ЛЮБИМ

Эти воспоминания я писала к годовщине смерти Владимира Леоновича. Но с этим именем так несовместимо слово «смерть»! Я познакомилась с ним, когда ему было уже за 60, а он был бодр, энергичен, вдохновен, крылат – порой совсем по-мальчишески. Выглядел всегда моложе своего возраста. И за все 18 лет нашего общения, можно сказать, совсем не менялся, разве что голова белела всё больше. Ранних фотографий его, сделанных в молодости, юности и детстве, я не видела. В моём сознании он как бы прописался в вечности: казалось, что он всегда был и будет таким, каким я его знаю. Только на последних фото, опубликованных после его кончины, заметно, как проступает старость. Поэтому горестная весть 9 июля прошлого года была для меня чем-то несуразным, несовместимым с этой личностью. На следующий день сквозь рыдания прорвались строчки:

### СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА

Где Ты сейчас? По каким путешествуешь весям?  
Тело лежит на столе... Но душа-то крылата!  
Только три дня здесь... А там – только ввысь, в поднебесье...  
Мало дано по земным прогуляться пенатам.

Где ты сейчас? В горной Грузии иль в Алазани?  
В старом Тбилиси с Булатом по улочкам узким  
Бродишь, как прежде? Тебе ли стерпеть, как слезами  
Мы омываем Тебя здесь, на севере русском.

В мёртвой карельской деревне у озера Пелус,  
Где Ты на старом погосте часовню поставил,  
Плакать уж некому, – там ли Тебе захотелось  
В уединенье побыть, вне канонов и правил?

Где Ты сейчас? Может, всё ж над родной Костромою?..  
Ближних друзей всех прощальным визитом одаришь?..  
Как бы хотелось и мне попрощаться с Тобюю!  
Помню всегда и люблю. Ты же знаешь! Ты знаешь...

*10.07.2014.*

И чем больше времени проходит с того скорбного дня, тем больше убеждаюсь я в правоте своего сердечного чувства, что такая душевная энергия, такой интеллект, такая яркая и своеобразная личность не могли просто раствориться, уйти в небытие.

Дмитрий Тишинков

## Владимиру Леоновичу

Живи до ста, Поэт от Бога!  
И пусть летят кукушки на ...  
Вела к тебе моя дорога,  
а довела до Пушкина.

Когда в один прекрасный вечер  
погас за неуплату свет,  
стихами, что я жил при свечке,  
ты заплатил за всё, Поэт.

Позволь в любви признаться робко.  
Но пусть об этом знают все.  
Конечно, будет в бронзе Бобка.  
Ты так мечтал об этом псе!

Ты сам, как пёс тот, из пожара  
выносишь нас по мере сил.  
А для предателей, пожалуй,  
ты пламенно невыносим.

До пса их, брат, – пушистых, лысых.  
И сколько б ты их ни долбал,  
они, как палубные крысы,  
линяют с корабля на бал.

Пусть усмехнётся кто-то криво:  
«Властитель бурь, не ерунди».  
А ты им – стих из Кологрива,  
в тельняшке рваной на груди!

*Д. Тишинков*  
06.06.2013г.



Леонович? Пушкин?



Уменьше слушать

Дружеские шаржи из архива  
О. Осорियो, дочери поэта.

## Сергей Кузнечихин

*Наслушавшись моих рассказов о рыбалке, Володя мечтал славиться по какому-нибудь притоку Енисея или Подкаменной Тунгуски. Его завораживала музыка названий сибирских рек: Дельтула, Кочумдек, Мойгушаша, Юдолома... Узнав, что мы плывём по реке неделю, а то и дольше, удивился – где же мы добываем столько наживки. Я объяснил, что ловим на искусственную «мушку», сделанную из перьев или волос. Легче всего срезать с бороды, а при отсутствии оной приходится резать ниже, с интересного места. К слову рассказал и расхожую сибирскую байку, что самые уловистые «мушки» получаются из женской «бороды». Он, с деланной серьёзностью, упрёкнул:*

*– Жестокий народ в Сибири, а я карельского хариуса не обманываю, кормлю натуральными червями.*

*Насколько жестокий – судить и сравнивать не берусь, однако достаточно жёсткий и, главное, весьма изобретательный. Да и хариус сибирский покрупнее карельского. На той же Юдоломе частенько попадаются килограммовые красавицы.*

*На рыбалку к нам Володя так и не выбрался. Пришлось угощать его стихотворной «ухой». Которая, кстати, написана очень легко.*

### УХА

*В. Леоновичу*

Махну рукой большому городу  
И на порожистой речушке  
Свою купеческую бороду  
В азарте изведу на «мушки».  
И будут хариусы чёрные,  
Голубогривые красавцы,  
Моей обманкой увлечённые,  
Из пены на неё бросаться.  
Взлетать...  
А дальше как получится.  
А дальше –  
кто кого хитрее.  
Пока научишься – научишься,  
От гнуса жадного зверея.  
Но в тот момент, когда удилице  
(По тамошнему, удилице)  
Согнёт в дугу с нерыбьей силищей  
Невидимый упрямый хищник...  
Вот уж когда оно запрыгает,  
Сердечко,  
Вот уж где – заскачет...  
Уха – не просто блюдо рыбное,  
Скорее, пир после удачи.  
А может – час восстановления  
Мужчин в былых правах и званиях,  
Растерянных за поколение  
В очередях и на собраниях.



## Алексей Зябликов

### О себе:

*Родился в Костроме в 1963 г.*

*Заведующий кафедрой культурологии и филологии Костромского государственного технологического университета, доктор исторических наук, профессор. Главный редактор научно-методического журнала «Костромской гуманитарный вестник». Член Союза писателей России, член правления Костромской областной писательской организации. Автор нескольких книг поэзии и прозы, 150 научных и методических публикаций, в том числе двух монографий. Лауреат муниципальной премии им. Д.С. Лихачева (2008). Лауреат областной премии им. И.А. Дедкова в сфере литературоведения и публицистики (2010).*

## Человек поединка

9 июля 2014 г. ушёл из жизни Владимир Леонович.

Мы были у него в начале мая. Приехали в Кологрив и застали поэта стоящим во дворе на ветхой лестнице: он прилаживал на сарай шест со скворечником, а маленькая Маня пыталась ухватить отца – чтобы не упал! – за ногу в выдавшем виды валенке. Потом Владимир Николаевич угощал нас пирогом с ревенем, с нескрываемой радостью и гордостью показывал нам самолично сложенную печку в крохотной баньке: на днях, говорит, и пробу сняли, попарились. Рабочий стол Леоновича в светёлке был завален книгами и рукописями – поэт не собирался умирать...

Владимира Леоновича отличает яркое и совершенно не типичное для нашего времени качество: он свято верит в то, что поэзия спасёт мир. Кто-то верит в то, что мир спасут глобализация или автаркия, нанотехнологии, доллар или рубль. Леонович убеждён: мир спасёт слово животворное, поэзия как последнее прибежище Божественного. Он хорошо чувствует логоцентричную суть русской культуры («Родина наша стихами дышит, как жабрами...»). Не случайно он так часто вспоминал строки Чичибабина: «А у меня такая мания, что мир поэзия спасёт». Причем поэзия, мир спасающая, – не поэтизм, не метафора. Это суждение наполнено конкретным смыслом. Доказательством тому звонок неизвестной женщины, сознавшей, что стихи Леоновича спасли её от смерти («Алло... Благословляю Вас...»). Доказательством тому нравственная жизненная позиция самого поэта. Что он ни делал: читал стихи, писал публицистические произведения, выступал на научных конференциях, боролся с чиновничьим недомыслием, строил часовенку в Карелии – во всём ощущались напор, мощь, неравнодушие, вера в слово спасающее.

В эпоху, когда к словам относятся как к семечковой шелухе, выплёвываемой в пространство, Леонович пытался вернуть слову то качество, которое оно имело во времена ветхозаветных пророков. Если вы слышали, КАК Леонович читает стихи (и свои и чужие), то всё понимаете. Каждое его слово объёмно, весомо. Оно звучит! Оно наполнено до краёв обертонами авторского голоса.

К слову Леоновича (не только поэтическому) прислушивались, кто-то его и побаивался, потому что Владимир Николаевич не маньерист, не эстетствующий

созерцатель – он человек слова и дела. Хорошо сказал о нём Валентин Курбатов: «Он нигде не опускает глаза перед злом, перед позором, перед нечистотой нашей истории и пишет её жёстко и болезненно, с непреобразённой горячностью, как если бы зло творилось сию минуту, а его руки были связаны и оставалось одно оружие слова». Такова философия «прямостояния», философия «нѣтъ» (обязательно через «ять» и «ер»!). Исповедующего её человека можно убить, но нельзя согнуть или сломать. Такова и поэзия Леоновича: она взывает к человеческой совести, к долгу, к поступку:

Вещей священный распорядок  
в житейский хаос превращён.  
Мой век земной обидно краток,  
НО ВЛАСТЬЮ ДОЛГА ОБЛЕЧЁН.

Личность поэта впитывает в себя несколько культурных традиций. Во-первых, это опыт духовидцев и книжников старой (допетровской) Руси. В Леоновиче ощущается харизма страстотерпца («Кабы дали три жизни да мне одному, я извел бы одну на тюрьму Соловки...») и вероучителя. Наверное, такими были средневековые странствующие проповедники: их рассказ о крестной дороге Иисуса собирал толпу горожан и селян, которые, сострадая мукам Господа, начинали натуральным образом рыдать. Такими были первые христиане, говорившие, глядя в глаза своим мучителям и палачам: «Не отрекись!» Кто-то из костромичей сравнил Леоновича со знаменитым героем Сервантеса. Вот уж нет! Если это и Дон Кихот, то изрядно приправленный протопопом Аввакумом. Сражаться с фантомами он не будет. Скорее уж заставит крутиться ветряные мельницы. Чтобы ржаной да пшеничной муки в деревнях было больше. Чтобы поспевали в русских печах ароматные караваи.

Сопричастен поэт и русской традиции XIX века, когда рефлексия аристократа искала опоры в народной культуре и разночинско-земской философии дела. Некрасов? Пожалуй. Отсюда быт – без ретуши («...а стужа в избе. Батька с маткой свалились в одежде»). Язык – без укладки и высушивания его литературным феном («Здрастуй Ванюшко мой сынушко бажонный...»). Пытливый интерес к родным преданиям и простому человеку. Впрочем, вряд ли Николай Алексеевич мог сработать топором избу и сложить печь. Леонович мог. Вместе с Боратынским он страдает «земному поселенцу», но и многого от него требует. От себя, естественно, тоже. Главное – пора приводить в порядок свою землю: уж слишком здесь набедокурено. Владимир Николаевич вместе с «Васильём Васильевичем» Розановым хорошо знает, ЧТО надо делать:

Натянем исподки, надвинем рабочие шоры,  
Не спрашивай, жить для чего и загнуться почём.  
Поставил избу – набивай кружевные подзоры...

Вернувшись из Москвы на родину – в Кострому (здесь он и гость и хозяин!), Леонович стремится дальше – в уездную и деревенскую глубинку, «в росу и в россыпи снегов парфянских», в кологривские леса, к волшебным честняковским увалам. Даже в губернском городе бывал лишь наездом. Какая уж там столица!

Ещё одно важное направление в творчестве Владимира Леоновича рождено печальными реалиями XX века: тоталитарными империями, неумными цивили-

лизаторскими потугами, гримасами урбанизированного мира, наступлением на природу и культуру. Человеку воздастся за рукотворные гнилые моря, «розлитые сдуру», за потопленные леса и порушенные святыни. За большевистские «юридические шлягеры», вроде указа о детском расстреле. За костромской архив, сгоревший вместе с фресками Гурия Никитина. Вот уже выужен из «орануса» последний из извечных русских вопросов – «почём?». У Леоновича есть на него твёрдый ответ: «Не купишь!» Не изведёшь во мне свободу. Богово кесарю не отдам!

Стихотворное посвящение поэта костромичке Ксении Котляревской названо очень символично: «Поединок». Сам Леонович – человек поединка. Поединок ведётся сразу на несколько фронтов: с невежеством и свинством черни, с меркантилизмом и эгоизмом, с великосветским, начальственным хамством и лакейством, историческим беспамятством.

Горькие строки написаны о Костроме и её людях:

Вы, прячась в бороду и ворот,  
 Годами жили не дыша.  
 Но быть должна на спящий город,  
 Где нет мужей, одна душа...  
 На весь родимый вшивый рынок,  
 Продажам-куплям вопреки...

Строки-то, в общем, оказались несправедливыми: сам Леонович никогда не прятался от врагов и проблем, значит, как минимум один «муж» в Костроме есть. Был...

Костромичи должны быть благодарны судьбе за возможность общения с удивительным человеком. Большим русским поэтом Владимиром Леоновичем.



А. Ябליков и В. Леонович. Кологрив, май 2014 г.  
 Фото предоставлено автором.

## Павел Корнилов

### О себе:

*Заместитель директора Костромской областной универсальной научной библиотеки. Организатор литературных вечеров и презентаций книг костромских писателей. Статьи в научных изданиях и массовой периодике, посвящённые жизни и творчеству авторов-костромичей разных эпох, а также библиотечной проблематике.*

## Поздний Леонович

Владимир Николаевич Леонович всю жизнь, по большому счёту, был верен в поэзии одним и тем же сюжетам. С бегом лет эти сюжеты уточнялись и открystalлизовывались, что-то уходило, конечно, появлялось и новое. Последний период творчества Леоновича с максимальной полнотой отражен в книге «Деревянная грамота». Но как-то трудно сосредоточиться только на книге, на позднем Леоновиче «печатного текста». Не отделяется его облик, каким он остался в памяти, от книжных страниц. А может, не стоит и отделять?

Я застал ещё «непозднего» Леоновича. В конце девяностых – начале нулевых это был крепкий мужчина, ему тогда не исполнилось и семидесяти лет. Возраста своего он не любил, знал, что производит отличающееся от даты в паспорте впечатление. От упоминания о дне рождения отмахивался, дескать, «ну что там говорить о пустяках». Возраст, казалось, сказывался только на глубине морщин на лице. Оно, лицо, делалось скульптурным и ещё более значительным.

О том, что разговариваю с «поздним» Леоновичем, я узнал однажды из его обмолвки. Он с печальной интонацией, словно бы про себя (а получилось – вслух), сказал:

– Старею, слабею, надо бы по-другому, а не получается.

Эти слова были произнесены года два до июля 2014-го. А потом была лестница в областной научной библиотеке. Я встретил его внизу, в фойе, и мы медленно стали подниматься на третий этаж. Он задыхался, тяжело переставлял ноги, останавливаясь на каждой ступеньке. Пытался обрести нормальное дыхание. Не получалось. Это был его юбилей – значит, июнь 2013 года.



Мы здесь, в Костроме, ловили с жадностью любые известия о его жизни там, в Кологриве. Донеслась молва, что Владимир Николаевич учит вёдра сами ходить за водой. И будто бы научил спускаться, а вот чтоб возвращаться... над этим колдует.

В один из редких его приездов в Кострому я имел неосторожность задать ему «неправильный» вопрос:

– Владимир Николаевич, что вы сейчас пишете – если, конечно, пишете?

Он встрепенулся, плечи, как это у него водилось, разогнулись, и он тут же дал мне выволочку.

– Па-а-ша-а, – растягивая гласные, сказал он. – Не смей спрашивать поэта, пишет он или не пишет. И тем более, что он пишет. Это его интимное дело. Об этом не говорят. Запомни хорошенько-о.

У Владимира Николаевича была запоминающаяся внешность. Худой, сильный, жилистый, – когда что-то не нравилось ему или захватывало, он расправлял плечи и устремлялся в разговор – как в воду с высоты прыгал...

Лицо. О нём приходится говорить снова и снова. Прорезанное узором морщин и – словно вытесанное из дерева, рельефное, с активной мимикой. Лицо человека, живущего интенсивной духовной жизнью. Лицо поэта. Подлинного Леоновича воспроизводят некоторые удачные фотографии и один графический портрет. Именно тот рисунок Юрия Бекишева с изобретённым для названия словом «Клеонович» оказался на обложке «Деревянной грамоты». Лицо поэта словно за завесой дождя: струи, складываясь в рисунок, прихотливую вязь, и приближают, и отдаляют, отделяют Леоновича от нас. Рисунок воспроизводит Леоновича как загадку, где ответ нам недоступен, спрятан. Или рассыпан по частям и чёрточкам, может – каплям в стихотворениях Владимира Николаевича.

Как и многие, я заметил, что в конце жизни Владимир Николаевич практически не читал на публике новых стихов. Из раза в раз повторял строки, ставшие классикой. А новое? Новое копилось, чтобы стать книгой, которая будет подписана в типографии в печать 29 июля 2014 года, спустя двадцать дней после ухода Владимира Николаевича.

«Деревянная грамота» прихотлива и извилиста. Леонович обладал своеобразным воображением. Вспомнив эпизод жизни, он не развивал его, не наделял конкретными чертами. Воображение извлекало из памяти ещё эпизод, другой, следующий; и они, цепляясь друг за друга, образовывали то, что мы называем стилем Владимира Леоновича. Но в этой произвольной игре воображения были свои незыблемые вехи и люди.

Среди них на первом месте стоял Игорь Дедков. «Пора издавать полного Дедкова». Это и совет, и требование, и, если хотите, завещание Леоновича. Он два десятилетия вёл напряжённый диалог с Дедковым, поневоле оказавшийся, увы, монологом. Воображение, уже своё, рисует сцену их прямого диалога. Сдержанный, корректный Дедков – и порывистый, на нерве, Леонович. Они исповедовали одни ценности, с разных сторон – исходя из темперамента и призвания – приходили к одним и тем же выводам и решениям.

Вспоминается общение с Владимиром Николаевичем. Если разговор затягивался, то непременно Леонович вспоминал Твардовского. В «Деревянной грамоте» о легендарном редакторе «Нового мира» сказано много. Его Твардовский – и герой, и жертва эпохи, а ещё символ интеллектуального сопротивления «общим местам» всё той же эпохи. О Твардовском Леонович говорил с любовью, неж-

ностью. Один на один поэт однажды поведал мне, что ему, Леоновичу, когда он рассказывает о близком знакомстве с Твардовским, почти в глаза говорят – «выдумывает». Леонович, помню, тогда радостно рассмеялся:

– Не верят! – воскликнул он и всплеснул руками. – Я же с ним... – Не договорил.

В таких случаях рассказ обычно обрывался и начиналось чтение стихов. Всё-таки он был поэтом.

Леоновича влекло к людям интеллектуального сопротивления. И Дедков, и Твардовский твёрдо и жёстко отстаивали свои позиции в извечной идейной войне, ведущейся уже не одно столетие в русской литературе. Леонович брал их сторону и тоже ввязывался в бой... В «Грамоте» поэт восклицает, выделяя эти слова едва ли не аршинными буквами:

Я знаю, что НЕЛЬЗЯ  
ТАК ЖИТЬ, КАК НАДО: НА ОБРЫВЕ.

Житейски такая позиция чревата остракизмом, но для творчества живительна и благодатна. Всю поэзию Владимира Николаевича можно считать вот таким посланием, пропетым «на обрыве»...

Леонович, нонконформист, избрал траекторию жизни, противоположную общепринятой. Воспитанный, выпестованный Москвой, он покинул столицу на пике литературной известности и творческого горения. Оказался в Костроме. Да – на малой родине, но ведь всё-таки в провинции! Стечение обстоятельств, но только ли оно заставило Леоновича покинуть потом и Кострому? Он поселился в лесной глуши, на краю обитаемого мира, дальше лишь тайга... Богемный круг, столичная сутолока вводили поэта от призвания, мешали ему. К концу жизни он нашел своих истинных собеседников. Ими оказались, не удивляйтесь, – деревья. «Дерево тебя видит. А что этот взгляд говорит, знаешь ты один». Этими словами Владимир Николаевич заканчивает «Деревянную грамоту». Он ушел от мира суеты, торопящихся людей, придавленных технотронными новинками, в мир кологривского приволья.

В последние годы жизни Владимир Николаевич, как мантру, повторял слова из своего стихотворения:

ИЛИ СПАСЁШЬСЯ СПАСАЯ,  
ИЛИ ПОГИБНЕШЬ ГУБЯ.

Это было символом веры позднего Леоновича, доброго и мудрого человека.

Он умер в разгар лета смертью праведника, во сне. Его смерть всколыхнула литературное сообщество и в Костроме, и в столице. Все переживали за Вику и малышку-дочь, как они будут жить без мужа и отца.

Через несколько дней после смерти Леоновича Вика приехала в Кострому. По делам зашла в научную библиотеку. Я увидел её на лестнице, не сразу узнал. Смерть близких никогда не красит человека. Мы обнялись, и я стал говорить какие-то слова соболезнования.

– Паша, не надо, не огорчайтесь, – сказала Вика. – Он умер летом, было тепло, всё цело, ему там хорошо.

Глаза Вики наполнились слезами, но она не расплакалась, наоборот, улыбнулась. Да, вот так, сквозь слёзы.

– Поверьте, ему там хорошо.



## Виктория Нерсисян

### О себе:

*Родилась в 1966 году в Узбекистане (родители – целинники). Школу заканчивала уже в Костроме, живя в семье своей мамы. После института работала библиотекарем, корреспондентом газет, даже помрежем в одном из театров Петербурга... У меня три дочери – Софья, Людмила и Мария. Живу на земле, где поселилась в 2007 г. и родней которой теперь не знаю – в Кологриве. Здесь окончил свои дни мой дорогой спутник и отец Маши – Владимир Леонович. Учусь крестьянской науке и народной педагогике Ефима Честнякова, ставлю небольшие спектакли по его пьесам и воспитываю дочек.*

# Из Кологрива с любовью

## ПОЧЕМУ КОЛОГРИВ?

Даниил Гранин, вспоминая фронтового друга, погибшего на его глазах, однажды сказал: «Думал, останусь цел, что-то такое важное в жизни своей сделаю, раз уж за двоих жить остался. И вот так ничего особенного и не сумел совершить» (это он-то не сумел!..).

Когда от рака умер Володя Нерсисян – мой муж, отец моей Люсеньки, я испытывала нечто подобное.

Уже тогда я бывала под Кологривом – ездила к своей институтской подруге Светлане Моисеевой, которая тоже овдовела и взяла на воспитание ребятшек из дома сирот. Мы уговорились поднимать их вместе. Нас со Светой объединяла любовь к путешествиям, к горам, к лесам, к рекам, к детям и к добрым людям. Кологрив был замечателен тем, что всегда хочется не «оттуда», а наоборот – «туда». Тогда уже в кологривское Шаблово приехали первые переселенцы из Костромы, из Москвы – хотели строить Детскую деревню на благо людям и в честь замечательного сказочника и художника Ефима Честнякова. Здесь же в то время затевался его музей (собирались народные денежки). Атмосфера царила вдохновенная. Света подала заявку в какую-то программу социального толка и тоже стала строиться в Шаблово. А я всё ещё жила в Костроме и собиралась с духом для переезда.

## 2005 ГОД

В Костроме я работала в самом скучном на свете Бюро технической информации, снабжающем бухгалтерии города бланками отчетности. Напротив находилось здание бывшей Гауптвахты, в котором располагался Литературный музей – это было самое любимое моё место. Люди собирались сюда на концерты, вечера, встречи литературные, музыкальные, на открытия выставок. То, что давал этот Дом его завсегдатаям, относилось к области человеческого достоинства. Приходящие чувствовали себя наследниками Костромы Дедкова и Шуваловых, Бочкова, Кильдышева... – Костромы особой, той, которую завещали нам наши

блистательные шестидесятники, богатые послевоенной жадностью к учёности, к красоте жизни, к искусствам. Из этого прошлого к нам шла бездна жизнелюбия, желания преобразить и обновить жизнь, обаяние неподдельного аристократизма. Мне кажется теперь, что стихи мне хотелось писать лишь для того только, чтоб иметь сюда «входной билет».

Планировалось появление некой литературной студии. Говорили, что вот-вот в город вернётся поэт Владимир Леонович, сам родом из Костромы, и можно ожидать хороших перемен.

И вот в подтверждение тому 16 ноября (в мой день рождения) состоялось первое заседание, где всех благословили что-нибудь читать, а Владимир Николаевич слушал и хвалил. Мы были очень приободрены и обнадежены.

Но скоро пронёсся слух, что наш музей собираются закрыть под каким-то чудовищным, абсурдным предлогом. Выглядело это полной наглостью, желанием задавить хорошее и живое дело. Владимир Николаевич уверил нас, что вместе мы не допустим такого своеволия чиновников, что у него богатый опыт такого сопротивления... И пошли сборы подписей, писем в защиту... Так мы с Владимиром Николаевичем стали знакомы друг другу.

## ТРАВМА НОГИ

Однажды вечером мне позвонил Серёжа Пшизов (приятель-художник) и сказал, что срочно нужна помощь: Леонович сломал ногу, лечиться не желает, где лежат его медицинские документы – не знает; в общем, нужно спокойно и деловито направить ситуацию в продуктивное русло. Я не раздумывала, мне был очень важен и интересен этот человек, я была рада помочь. Схватила в охапку четырехгодовалую Люсеньку и поехала на другой конец города. (Ногу ему, как оказалось, сломал Ваня Волков в дружеской потасовке – в полудраке. У мальчиков это бывает...)

Паника была напрасной – документы легко нашлись. (О, эта паника перед казённой бумажкой или любой конторой!) Ехать к травматологу он был вовсе не против, «если в хорошей компании и чтоб ни во что не вникать». Впрочем, по его мнению, вполне можно бы было и не лечиться и «хромать как Байрон»...

Так я стала бывать в этом доме. Мне нужно было свозить больного на перевязку или рентген, выполнить пару-тройку поручений по дороге (отослать письмо или сделать копию статьи, отвезти её по какому-нибудь адресу, купить в дом продукты).

В этом доме не было мебели как таковой, но вещи были расположены с уважением, цеплялись за сучки и коряжины, уютно размещавшиеся по стенам, где им хотелось. С любовью были устроены рабочие места, смастерены табуреты и столы. Книжки находились повсюду, каждая могла рассчитывать на своё особенное, для неё лишь уготованное место. Кроватью служила самодельная тахта. За всем прочитывалась мужественная простота и разумность. Иногда здесь бывало оченьлюдно и шумно – тогда обстановка напоминала студенческое общежитие. Штаб по спасению Литмузея постепенно обустроился в квартире Леоновича.

Сейчас передо мной лежит записная книжка, которую я подарила Владимиру Николаевичу вот в такой шумный день – второго июня, день его рождения, и там – мои ему стихи (альбомного жанра), которые иллюстрируют ту атмосферу:

*«Кто суете не внемлет – едет к морю и голову на камешки кладёт, / прогретые тем самым Зевсом, что облик подарил Максимилиану / Волошину. Он сам – немного Зевс. Но до него, до моря – мили, мили... / В другом потузеркальном мире, в краю другом, в столетии*

*другом / нам тоже нужен ЗЕВС и мастерская – ДОМ с подобным сумасбродным интерьером, / где в нежности дурашливой поэт ломает ногу (пусть теперь не Вам – другому). / Но чтоб сюда с заботами входить, по долгу ли, по праву ль опекуинства, / с заботой о ноге и об искусстве, и той и этому желая длинно жить. / Кто суете не вземлет – едет к морю...»*

В самой книжке сегодня оказалось только несколько записей, в том числе цитаты из статьи Иннокентия Анненского и ещё из Heine: «...Всё на свете улаживается для людей, если они мудры, т.е. не очень брезгливы». О, это про Володю (а может и про меня теперь): обожал притащить со свалки что-нибудь полезное (кусоч проволоки, или красивую дощечку, или старинную лампу, или пестерёк) – починить, почистить и заставить всех ахнуть. Любил дать вещи вторую жизнь. Увидев, как кошка лакает из питьевого ведра, толковал, что все мы тут родные и, значит, абсолютно стерильные друг для друга.

Очень быстро выяснилось, что оба мы страстно любим старинный романс, а впрочем, и современный – городской и деревенский. Пели самозабвенно. Кроме того, мне, например, хотелось расспросить его о Борисе Чичибабине, без чьих стихов я совершенно не мыслила обходиться и пропагандировала их всем моим близким и пела под гитару как умела. Так они, казалось мне, лучше запоминались. Всё, что Владимир Николаевич рассказывал, мне важно было запомнить, а после расшифровать то, что было для меня иной раз полным ребусом. А попутно возникало много всяких волнующих меня тем и фигур. Могу сказать, что ничего интереснее этих бесед жизнь мне не преподносила, я была бы счастлива бесконечно внимать и откликаться этому голосу до конца дней. Многие нам ещё недавно говорили: «Посмотреть на вас – будто вы давно не виделись, исскучались!»

Любой человек, которым Володя дорожил, здравствующий либо почивший, становился мне близким. И очень многие, приходящие в дом, немедленно попадали в дружескую ауру и сумасшедше-радостно здесь общались.

А по мере восстановления ноги выяснилась ещё одна общая радость – любовь к ближним и дальним путешествиям, не важно, пешком ли, на лыжах или на велосипеде. Владимира Николаевича не надо было хитростью и уговорами вытаскивать на всевозможные прогулки – это было превосходно!

– Ну и как ваша нога?

– Зачаврела... (Стало быть, не поправилась, но и не беспокоит теперь.)

Это слово я долго не могла запомнить и уразуметь, а очень хотелось – такое оно было интересное, точное и незаменимое в иных случаях.

## ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Так 33 года разницы возраста между нами совершенно сошли на нет.

С музеем, кажется, ничего не выходило. Сколько писем было направлено во всякие там административные отделы! Каждое письмо адресовалось как бы и к чиновнику, но, главное, к человеку, который находится (так хотелось думать) внутри него. Аргументы В.Н. подбирались убедительнейшие. Но в ответ приходили исключительно казённые, по общему лекалу выведенные, лаконичные до жестокости бумажки с отрезвляющими подписями и печатями. Иногда это были шедевры бюрократического жанра («Уважаемый Виктор Борисович!...» – это я, стало быть, и сразу понятно, насколько «уважаемый»).

Народ в Костроме в таких попытках быстро снижает морально и физически. Но только не Леонович. Ещё целый год в нашем музее проходили его поэтические встречи и вечера: он фонтанировал идеями и проектами. То возмечтал

возобновить тираж дедковской книги, то – поставить памятник пожарному псу Бобке, который спасал погорельцев в XIX веке в нашем городке (был полноценным членом пожарной команды), то ратовал в поддержку краеведческого альманаха «Костромская земля»... В Костроме всё трудно, как отписывались в своих ответах чинуши, – «в связи с недостатком финансирования».

И вот замаячил «Образ будущего» – некая организация, с помощью которой будто бы можно горы свернуть. Ну, горы – не горы, но кое-что... Устроена она была по способу выделения грантов (попросту – денег) на полезные общественные и даже самодеятельные программы. Возглавлял эту организацию Александр Гордон – сын старинного друга Владимира Николаевича, Гарри Борисовича Гордона, замечательного художника и поэта. Леонович естественным образом оказался в экспертном совете этой организации и регулярно наведывался в Москву на заседания. Мне лично стараниями Владимира Николаевича на полгода (примерно) была положена некоторая спасительная для меня ежемесячная сумма – свидетельство того факта, что я теперь была секретарём писателя (зарплату в Бюро в ту пору платить вообще перестали, и служба эта потеряла для меня всякий смысл).

«Кострома многонациональная – диалог культур» – такое официальное название носила одна замечательная идея Владимира Николаевича. Это была интереснейшая серия музыкальных, поэтических и художественных творческих встреч – Костромских вечеров. Сначала прошли вечера армянские: в филармонии – великолепный концерт дудука, в городском выставочном центре – вечер фортепьянной музыки под названием «Цвет танем» («Возьму твою боль»), на нём выступал пианист Валентин Матвеев-Вентцель; в кукольном театре – прекрасный вечер, посвящённый литературному переводу и русской литературе, имеющей отношение к этому краю: его готовили и вели мы с Владимиром Николаевичем. Он читал что-то из древних летописей, свои переводы Геворга Эмина... Ещё планировались и грузинские, и татарские, и еврейские вечера – мы занимались их сценариями и обустройством.

Конечно же, мне приходило в голову каким-то образом поддержать шабловцев, их (а теперь и мой) замысел – строительство Детской деревни. Не помню как, но проект был описан и представлен совету наилучшим образом. Речь шла о строительстве деревянных домов для двух семей и гостевого домика. Новый, 2006 год мы поехали встречать в Шаблово, испросив разрешения у местных жителей пожить несколько дней в пустующем уцелевшем домике.

## ШАБЛОВСКОЕ НОВОГОДЬЕ

Это теперь я знаю, что, чтобы в тридцатиградусный мороз пожить в промороженном доме, нужно его заранее несколько дней подтапливать. Только после этого он станет обитаем. Мы же приехали накануне новогодней ночи и – ну топить русскую печь: одна, другая, третья закладка... Налюбовались на таёжные дали, на огонь в печи, надышались вдоволь морозным воздухом. Попировали у друзей по соседству. Шабловские ребятишки в полночь запустили в дом раскрашенную чем-то красным собаку – 2006 год, видите ли, был годом «огненной собаки»... А потом направились в отогретый, как мы мыслили, свой домик. Спать решено было на полатах, поближе к печной трубе, где теплее. Расположились. Вдруг слышу – в трубе гул, вижу – искорки сыплются. Спрашиваю: что, так и должно быть?..

Тут Владимира Николаевича как ветром сдуло. Он тотчас оказался на чердаке, совершенно раздетый, и уже боролся с занимающимся огнём. Печной боров лежал на матице, она горела, горела и чердачная ветошь...

- Надень же валенки, куртку!
- Снегу давай! Живей! Больше!

Так прошла наша новогодняя ночь: я стояла на лесенке, еле-еле достающей до чердачного окошечка, подавала очередную порцию снега в ведре, а он закидывал и притаптывал огонь. (Так, понимаю теперь, прошли и все отведенные нам несколько совместных лет – это была «шабловская модель».) Он гасил пожар так самозабвенно, как будто от этого зависело, будет ещё жить на белом свете русская деревня или сгинет вовсе... И неважно было, что уже лет сорок в этом доме да и во всём Шаблове никто не обитал, а новопоселенцы сами жгли разрушающиеся дома...

А я хотела только одного: чтоб он надел хоть что-нибудь на свои худые плечи и валенки на ревматические ноги. Но принуждена была подавать и подавать ведра со снегом, прыгая туда-сюда на ходуном ходившей подо мной лесенке.

Испуг пришел позже – могли дом спалить, могли сами в том огне остаться, могло сердце не выдержать у больного человека... И вот чудеса – ничего не случилось, сдружили!

После этого случая мы не обсуждали, быть ли нам вместе. Были вместе, и всё. «Видишь – сапог, вот ещё сапог. Мы с тобой – два сапога из одной пары»...

## МАРУСЯ

Если кому надо родиться, тот уж обязательно родится, чего бы это ему ни стоило. Так устроен мир.

Я, признаться, трусила, конечно. Одно то, что мне 40 лет, уже озадачивает, а если ему – на 33 года больше? Какой старт для ребенка? Будет ли он здоровым? Ко всему, нас мало кто одобрял – крутили у виска и качали головой. Меня поддерживало только одно, что будущий папа был совершенно счастлив.

Мы уже решили, что дети расти будут в деревне – на свободе, на воле, на природе, это главное. Мы договорились, что возьмем ещё ребятешек на воспитание из детского дома и тогда с полным правом будем претендовать на жительство в нашей новой Детской (уже строившейся) деревне в Шаблово. Собиралась симпатичная педагогическая команда, уже появился музей Ефима – значит, и дело для всех нас будет. Всё само собой как-то удачно складывалось.

Это уже потом выяснится, что деток нам ни при каких условиях не дадут (мы не подходим по опекунским стандартам), что строительство в Шаблове заглохнет на половине (за участие в аукционе купли земли в брошенной всеми деревне с Гордона взяли миллион, что и съело все наши шабловские планы)...

«Умирать буду – буду вспоминать эту картину: ты смотришь на меня из окошка 4-го этажа родильного дома, а в руках у тебя нечто таинственное завернуто, размером с кабачок. Что со мной приключилось – не могу объяснить!»

Я же, глядя сверху, тоже увидела тогда нечто драгоценное: видела, как он руки широко распахнул – как весь мир обнять хотел, чтоб к сердцу прижать всё родное, что сберёт к тому дню, да так разволновался – рукой махнул и пошёл...

Я тоже, Лоденька, всегда с трепетом буду вспоминать ту минуту.

Могу с уверенностью сказать, что более счастливого человека мне ещё не приходилось видеть. Это была любовь с первого взгляда. Машуля тоже влюблённо

смотрела на отца с самого начала, успокаиваться могла только в его руках и под его взглядом. Вот он берет в руки этого ребенка и слышит: «Агкх!», что означает: «Ну наконец-то ты подошёл, слава Богу!» Он кутал малышку в свои свитера и с наслаждением проводил с ней каждую свободную минуту. Я тоже радовалась, глядя на всё это. Разве можно желать чего-то ещё? Пусть бы только это подольше длилось!

*Всех слов касалось – произнесены,  
Протоптаны, проношены, больны  
И не желали в чистоте родиться.  
А в комнатах разгуливали сны,  
Всех благодатей полные лесных,  
И прилетали к форточкам синицы.  
Глаза глядели, как глядят в огонь.  
А жизнь, ты вся – величиной с ладонь,  
Пришла и надоумила молиться.  
Тихайший мир, к покинутым местам  
Вернись, но дай слова устам,  
Чтоб им в родной ладони поместиться.*

Несмотря на любовь, ни один вирус не проходил мимо маленькой Машки. Пока мы не уехали в деревню, всё так и продолжалось. Расчёт был верный. Мы собрались и поехали. Поселились в Илешево (25 км от Кологрива, 8 км от Шаблово). Домик принадлежал о ту пору доброй нашей знакомой, куплен был с формулировкой «на дрова». Стоит он на прекрасном высоком берегу Унжи, и свет к нему течёт со всех далей, так что летом взгляд утопает в разнотравье, зимой – в синеве снегов. Жить здесь – родину обрести. Так Машенька и говорит всякий раз по приезду в Илешево: «Наконец мы приехали на мою родину!»

## **ДЕРЕВЯННАЯ ГРАМОТА**

Так можно назвать не только замечательную книгу, но и всю нашу деревенскую жизнь – это будет вернее всего. Такой ликбез для дачников, возжелавших поселиться на земле. Леонович многое понимал и уважал в крестьянской науке, а я только мечтала об этом. Впрочем, копать, таскать ведра с водой, разжигать огонь в печи можно и дилетанту, это я и постаралась взять на себя. Владимир Николаевич первым делом стал обустроить лесенку к воде и мастерить лодку (по типу байдарки). И в первую же осень мы могли уже перебираться через Унжу в бор за ягодами и грибами – потрясающими белыми грибами, каких мне в жизни не приходилось видеть. Ходили и не верили себе – в какой красоте довелось жить! А среди какого чудесного народа! Начать с того, что по приезду мы обнаружили в нежилом доме, в дровнике, добрую поленницу дровишек – подарок от ожидающих нашего приезда шабловских друзей.

Видела, с каким восхищением Владимир Николаевич слушал здешнюю речь, чувствовал себя в такую минуту именинником: «Ты слышишь, какой мотив нежный у этого говора, сколько угадываешь за этим характера – *андель-то её уж три поеньки дома не быу, а она у коровушки своей надрывалася*»...

Замечательные соседи-геологи, супруги Солнцева – низкий им поклон! – оставили в распоряжении В.Н. свой дом для обустройства там его рабочего кабинета

и библиотеки (сами они в то лето уехали в Англию работать и жить). Это был настоящий пятистенок, с большим двором, с двумя летними горницами и сеновалом, с замечательной кустодиевской террасой, выходявшей на черёмухи и к реке. Когда-то здесь проживала героиня честняковской картины – красавица Талина, певунья и забавница. В этом доме хотелось читать стихи, книги и беседовать о главном. Здесь обитали приезжавшие к нам друзья (некоторые из них вскоре купили в Илешеве дома – Оля Запольских, Люда Грибова). Здесь по утрам («По утрам я совсем молодой, к вечеру – старею») работал В.Н. – тогда среди его забот был журнал «Коростель» и вечная работа над очередным очерком или статьей в районную газету, в которой он почитал за честь публиковаться.

Оставшись без обитателей, дом стал стремительно гибнуть. Ничего не поделаешь – время немилосердно.

### НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ

Всё шло хорошо, но я боялась его поездок – возвращался почти всегда заболевшим. И сам он тоже никогда не хотел уезжать – хотя откликался на приглашения по привычке охотно, потом начинал тосковать и тревожиться. В 2010 году по просьбе Веры Арямновой В.Н. поехал в Казань. Вернулся с высокой температурой, и потом вся та зима прошла для него на печке. «Я чувствую, что ещё пару деньков отосплюсь – и встану на ноги!» Но мало что помогало. Зима выдалась не просто холодной – она была лютая. Домик наш против такого мороза оказался, мягко говоря, слабоват.

Заманили к нам заезжего доктора – тот покачал головой и велел собираться в Кострому, в клинику по поводу сердца. Стали хлопотать. Вдруг однажды вечером звонок: «Это Володины друзья, как там Володя?» Это были все те же Гордоны, потерявшие «Образ будущего», но не растерявшие сердечной чуткости. (Что их надоумило позвонить именно в ту минуту?!) Маршрут был скорректирован – Лодя направился в Москву, в Бакулевский центр, в Институт сердца. Такси не могло подъехать к дому из-за снежных заносов, и на своих ногах он должен был пройти метров двести. Я боялась, что не дойдёт, – так он был слаб. Перед тем как сесть в машину, обернулся на дом, еле вымолвил: «И ничего у нас с тобой не получилось...» Сердце сжалось в полном отчаянии. Стала собирать детишек, чтобы отвезти их к своим друзьям в Кострому, а самой ринуться следом, быть рядом.

– Ты не волнуйся, ко мне каждый день приходит Алёнушка.

– Я совсем не знаю – кто это?

– Это мать моего сына Сашки.

Я ничего ни о Сашке, ни об Алёне ещё не знаю, но, кто б она ни была, я уже ей очень признательна и благодарна. А сколько впереди у меня накопится благодарности к этой маленькой великой женщине!

Всполошились все московские друзья – приходили, волновались, хлопотали. «Чувствую себя на воздушной подушке», – это от напора дружеских усилий. Хороша была диво-больница: приезжаешь из средневекового Кологрива, который вовсе без медицины, – и попадаешь в «образ будущего»! Мало-помалу Лоденька приходил в себя.

Я смотрела на это счастливое воскресенье и думала только об одном: всё равно где, с кем, как – только бы ещё хоть несколько лет пожил этот человек на свете! Очень многие люди, близкие Володе, его друзья, к которым я сейчас обращаю этот рассказ, хотели тогда того же самого.



В. Леонович за письменным столом. Май 2014 г.

Так нам с Лодей было подарено ещё целых четыре года жизни, за каждый день которой я бесконечно благодарна.

Алёнушка с Сашей в то лето впервые приехали к нам в гости. Не замедлили заняться утеплением нашего дома. Потом мы вместе ходили за грибами, потом картошку копали, а когда Алёна стихи свои подарила, я даже не могу описать, что со мной произошло! Таких драгоценностей я ещё в своих руках не держала.

Я понимала, что походные условия жизни нам теперь мало подходят. И мы стали думать, как нам найти жильё в тех же полюбившихся нам краях, но благоустроенное, чуть поближе к цивилизации. Стали присматривать в Кологриве, обнаружили НАШ ДОМ, и как только появилась возможность, купили его и переехали. Помощь в этом деле со всех сторон была такая слаженная и ощутимая, что переехали мы почти безболезненно. Радуюсь возможности поблагодарить всех, кто нам помог в тот момент.

Наверное, это главное, что я хотела сказать сейчас. А всего не расскажешь.

Я очень редко пишу вообще, а стихи и того реже – какой я литератор? Но бывает, что и мне без этого не обойтись, и сейчас как раз такой случай. Прошу взыскательные глаза и уши простить мне эту дерзость.

*В безвременье и в безверье  
товарищами по беде  
вы стали, родные деревья,  
боры, да леса, да деревни,  
прильнувшие к светлой воде.  
Вы брали меня на поруки,  
вы в ранние лета цвели,  
нам не было дела до скуки,  
мы не покидали земли.  
Перо, но топор, но мотыга...  
Кленового войска порыв,  
Михаила Архистратига  
последний крылатый призыв.  
И корни, и кроны, и сучья –  
хранители от беды.  
Изгибы судьбы и излучья,  
и шрамы в слоях бересты.  
И снег лихолетья не тает –  
приручен, поручен земле.  
И боги горшки обжигают,  
и Лики в смоле и в золе.*



Могила В.Н. Леоновича в Илешево.

Фото А. Зябликова.

ДЛЯ ХАРАКТЕРА, ДЛЯ БЫТИЯ

Я шагнул ей навстречу. Она  
замерла и на шаг отступила,  
потому что смертельная сила  
иногда против нас не сильна.

Не сильна - да и мы не сильнее:  
шаг за шагом, на самую малость  
отступая - она ПРИБЛИЖАЛАСЬ -  
вот такая повадка у неё.

А сегодня ни с места. Стоит,  
распахнув ледяные объятия.  
Вот обнимемся - оледенит,  
и тогда... Оцените же, братья,

эту пару. А вам, сыновья,  
оставляю на случай, в науку:  
ШАГ ВПЕРЕД. А не сыну - так внуку -  
для характера, для бытия.

